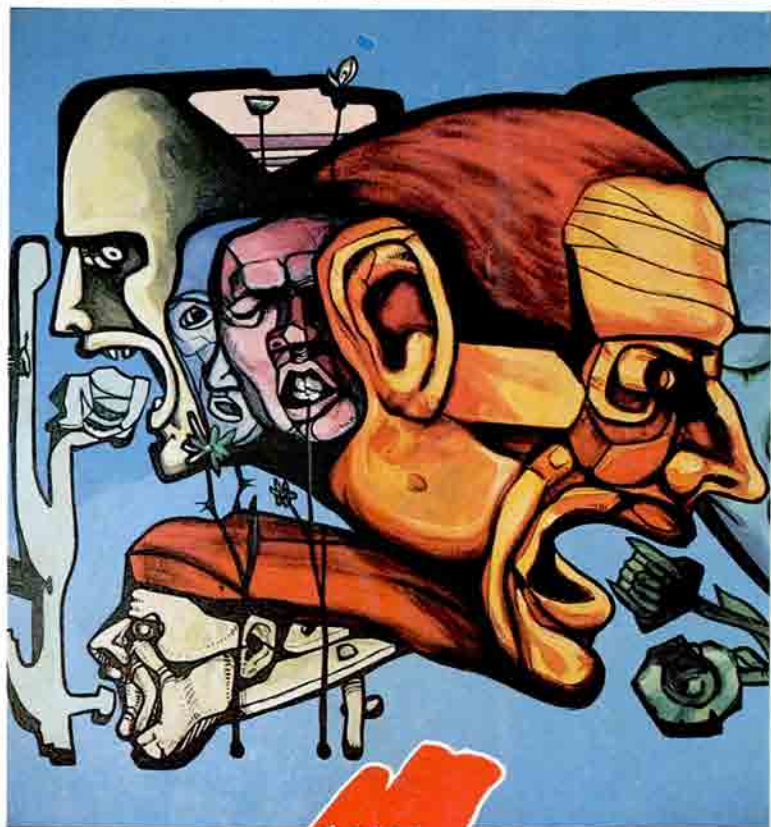


СМОНА

НИКОЛАЙ МОНАХОВ. ИНАКОМЫСЛЕНИЕ ПОД СУДОМ



ЭРНСТ НЕИЗВЕСТНЫЙ. ЛИК — ЛИЦО — ЛИЧИНА

ТИ ДЕ КАР. ЧУДОВИЩЕ

5'90

С «ОБЩАГОЙ» В XXI ВЕК?

(ЧИТАЙТЕ СТР. 134)

КРОВАВОЕ ДЕЛО



5'90 СМЕНА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ ЦК ВЛКСМ
Основан в январе 1924 года.

Главный редактор
МИХАИЛ КИЗИЛОВ

Редколлегия:

БОРИС ДАНОШЕВСКИЙ
(зам. главного редактора)
АЛЕКСАНДР КУЛЕШОВ
АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
ИОСИФ ОРДЖОНИКИДЗЕ
СЕРГЕЙ ПОПОВ
(зам. главного редактора)
ЮРИЙ РАГОЗИН
РОБЕРТ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
ЕВГЕНИЙ РЯЧИКОВ
ВАДИМ САЮШЕВ
ВИТАЛИЙ СЕВАСТЬЯНОВ
ВЛАДИСЛАВ СЕРИКОВ
ВИТАЛИЙ ФЕДОРОВ
(главный художник)
ТАМАРА ЧИЧИНА

Оформление

ИГОРЯ КЛЮЧНИКОВА
АРШАКА ОГАНЕСЯНА
Технический редактор
АЛЕКСАНДРА ГУСЕВА

Сдано в набор 10.04.90.
Подписано к печати 14.05.90.
А 00283. Формат 84×108½.
Бумага газетная «Тампресс».
Печать офсетная.
Усл. п. л. 15,54. Усл. кр.-отт. 17,64.
Уч.-изд. л. 23,10. Отпечатано
1 731 000 экз. (из общего тиража
3 331 000 экз.)

Заказ № 2177. Цена 70 коп.

101457, ГСП, Москва,
Бумажный проезд, 14.

212-15-07 — для справок

212-11-27 — отдел писем.

Ордена Ленина и ордена Ок-
тябрьской Революции типогра-
фия имени В. И. Ленина изда-
тельства ЦК КПСС «Правда»,
125865, ГСП, Москва, А-137, ули-
ца «Правды», 24.

Рукописи, фото и рисунки не воз-
вращаются. Рукописи объемом
более 1 авторского листа (24 ма-
шинописные страницы) редакци-
ей не рассматриваются.

5 (1507) МАЙ

© Издательство ЦК КПСС «Правда».
«Смена», 1990.

В НОМЕРЕ:

2

На первой
странице
обложки:
ЭРНСТ
НЕИЗВЕСТНЫЙ.
Пожиратели
цветов
(Читайте
стр. 248)



ПРОЗА

142

ГИ ДЕ КАР. ЧУДОВИЩЕ

Роман

12

АЛЕКСАНДР ЧАЯНОВ. ВЕНЕДИКТОВ, ИЛИ ДОСТОПАМЯТНЫЕ СОБЫТИЯ ЖИЗНИ МОЕЙ

114

АНДРЕЙ БЫЧКОВ. ВНИЗ-ВВЕРХ

Рассказ

ПОЭЗИЯ

50

ЕВГЕНИЙ ВОЛКОВ

67

МИХАИЛ АНДРЕЕВ

81

НАДЕЖДА ВЕСЕЛОВСКАЯ, АЛЕКСАНДР БОБРОВ, ЮРИЙ КОБРИН

МОРАЛЬ И ПРАВО

68

НИНА ЧУГУНОВА. АМНИСТИЯ

124

НИКОЛАЙ МОНАХОВ. ШЕПОТОМ — ВО ВЕСЬ ГОЛОС

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

4

СЕРГЕЙ ЛИТВИНОВ. МЕТРЫ НА ДУШУ

32

ПЕТР ХМЕЛИНСКИЙ. ЧЕЛОВЕК НА БОЛЬШОЙ ВОЙНЕ

55

АНДРЕЙ КУЧЕРОВ. РУБЦОВ С СОВЕТСКОЙ СТОРОНЫ

60

ГРАНТ АПРЕСЯН. КОМАНДИР ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ

134

АННА ЛИТВИНОВА. КРОВАВОЕ ДЕЛО

36,98

1941—1945. ФОТОДОКУМЕНТЫ

264

НЛО: СЛЕД В НИКУДА?

КУЛЬТУРА, МУЗЫКА, ИСКУССТВО

248

«К НАПИСАНИЮ РАЗРЕШЕНО». ОБ ЗРНСТЕ НЕИЗВЕСТНОМ
РАЗМЫШЛЯЮТ ЛЕОНИД ЖУХОВИЦКИЙ и ВЛАДИМИР БОНДАРЕВ

257

ЗРНСТ НЕИЗВЕСТНЫЙ. ЛИК — ЛИЦО — ЛИЧИНА

266

КРУГОВЕРТЬ. БЕСЕДА С ИГОРЕМ ТАЛЬКОВЫМ

СПОРТ

286

АНДРЕЙ БАТАШЕВ. СТРЕЛОК, ДОЧЬ СТРЕЛКА

87,275

ВАШИ ПИСЬМА

278

ЮМОР, ШАХМАТЫ, КРОССВОРДЫ

6•90

3

■ «Читая Хмелевскую, трудно удержаться от смеха» — считают польские критики. И вот уже более полувека вся Польша хохочет над остросюжетными занимательными детективными историями Иоанны Хмелевской — «Все мы под подозрением», «Что сказал покойник», «Все красное», «Роман всех времен», «Колодец предков».

■ Повествование в пародийных, с ловко закрученной интригой произведениях писательницы неизменно ведется от лица главной героини — двойника автора. Эта крайне неглупая дама вечно ухитряется впутаться в самые невероятные истории и оказывается в гуще загадочных событий, которые описывает с присущим ей юмором, а впоследствии столь же успешно разгадывает.

■ С одним из произведений этого цикла, повестью «Что сказал покойник», советские читатели уже знакомы.

■ Мы предлагаем вашему вниманию еще одну историю пани Хмелевской — «Все красное», изданную в Польше в 1974 году.

■ На этот раз действие разворачивается в тихом датском предместье, куда героиня приезжает навестить подругу Алицию, поработать и поскучать. Первый же вечер в Аллеред заканчивается таинственным убийством...

АНОНС:

Июль 1957 года: «ЦК КПСС и Совет Министров СССР... ставят задачу... в ближайшие 10—12 лет покончить в стране с недостатком в жилищах». (Из Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР.)

Март 1986 года: «Партия считает делом особой социальной значимости ускорение решения жилищной проблемы, с тем чтобы к 2000 году каждая советская семья имела отдельное жилье».

(Из новой редакции Программы КПСС.)

Бывает редкое невезение, как у одной моей знакомой семьи: живут вчетвером в однокомнатной квартире, а на очередь их не ставят, потому как по 10 квадратных сантиметров на каждого сверх «минимума». Есть у них надежда на новоселье?

Чтобы разобраться, приведу колонку цифр (думаю, любопытных, потому что получены они по результатам переписи прошлого года и пока нигде не публиковались).

Итак, в нашей стране проживают:

— в общежитиях — около 13,5 миллиона человек;

— в коммуналках — около 12,6 млн.;

— в квартирах (занимают меньше 5 квадратных метров жилой площади на человека) — 38 млн.;

— занимают от 5 до 7 кв. м на человека — 57 млн.;

— занимают от 7 до 9 кв. м на человека — 55 млн.

Замечу: жилье считается здоровым, если на душу приходится 9 и более «квадратов». Лишь при таких показателях жилищные условия не влияют на рождаемость и смертность.

Просуммировав, получим, что в нездоровых условиях обитают около 176 миллионов наших соотечественников. (В ГДР на одного гражданина приходится 27 квадратных метров жилья, во Франции — 36, в ФРГ — 43. А каждый житель США «расположился» на 64 «квадратах».)

До конца тысячелетия намечено возвести около 30 миллионов квартир и индивидуальных домов. Распределить их между почти 180 миллионами нуждающихся — все равно что семью хлебами и двумя рыбами накормить тысячи страждущих. Однако у Совмина нет возможностей Иисуса,

метры

потому останемся на позициях реализма. Значит, на каждую квартиру приходится по шестеро, живущих сейчас в нездоровых условиях, да еще и седьмой к концу века народится. Стало быть, кому-то из 180 миллионов придется отказываться. Кому?

Возникает **первый вопрос**: получат ли отдельные квартиры те, кто живет в сложных семьях? Например, Лена Ж. живет со свекровью. В комнате поменьше — она, муж да двое ребятишек. В комнате побольше — Лидия Ивановна. На шестиметровой кухне два холодильника.

— Обещают каждой семье к 2000 году квартиру. Так дайте нам с мужем. Разве мы с ней — семья?..

В документах Госплана СССР значит: «Семья определяется совокупностью трех признаков: совместное проживание, родство или свойство и общность бюджета». Вместе, Лена Ж., со свекровью живете? Да. Свойственник она вам? Да. Лицевой счет у квартиры один? Да... Стало быть, вы с нею — семья...

По-моему, честнее считать семьей лишь тех, кто хотел бы жить вместе. Давайте их квартирами обеспечим, предлагают специалисты ЦНИИЭПжилища. Исследование, проводившееся Госкомархитектурой СССР, показало, что из

каждых ста московских семей при получении квартир образуется — 113. (Данные по Москве, считают специалисты, можно с некоторой погрешностью экстраполировать и на весь Союз.) В этом случае необходимо дополнительно около 12 миллионов квартир...

И чтобы не строить «лишние» квартиры, сложные семьи в расчет не принимаются...

Можно задать и **второй вопрос**: «светит» ли свое жилье тем, кто живет в общежитиях? Госплан считает, что к 2000 году общая численность тех, кто, являясь членами семей, будет проживать от них отдельно, практически не изменится. Правда, тем одиноким, кто живет в общежитиях сейчас, квартиры все-таки планируется предоставить. Однако само существование «житья гуртом» под сомнение не ставится.

Специалисты ЦНИИЭПжилища опять-таки предлагают: давайте избавим от унижительной жизни в «казенном доме» хотя бы рабочих-одиночек.

— Наши исследования свидетельствуют, — сказал заместитель директора этого института, кандидат архитектуры Евгений Павлович Федоров, — что общежития противопоказаны мужчинам старше тридцати и женщинам старше двадцати пяти, потому что они необратимо изменяют личность: «закоренелые» общежитийцы уже не спо-

НА ДУШУ



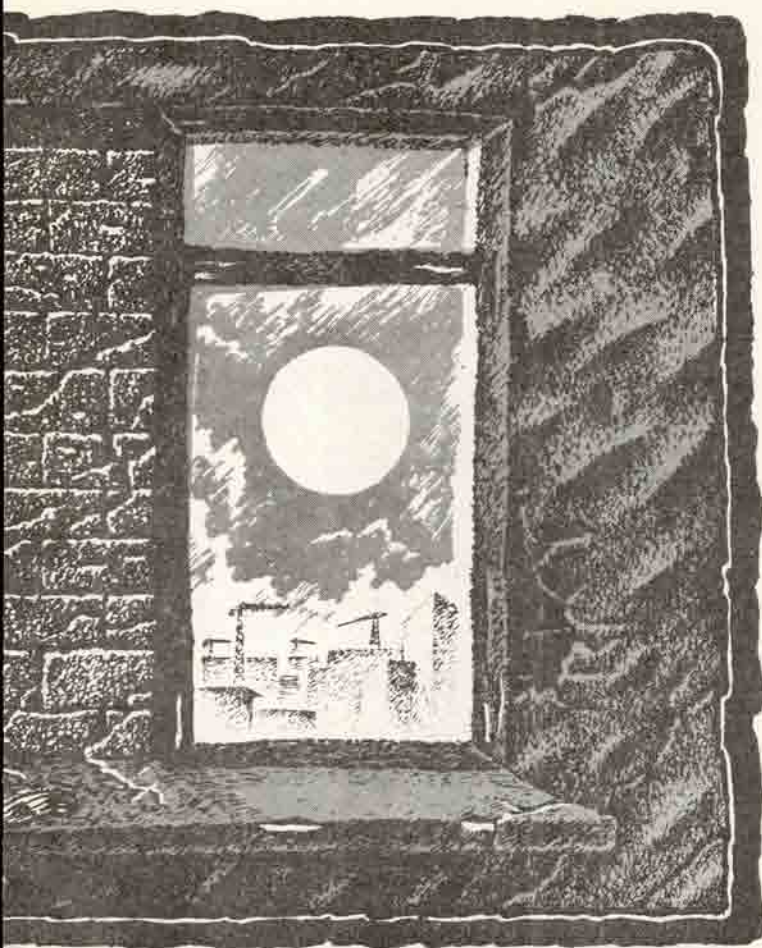
собны создать семью, среди них пугающе высок процент самоубийств...

Однако отдельное жилье для молодых рабочих потребует, по подсчетам доктора технических наук Б. Колотилкина, дополнительно около 10 миллионов квартир.

Итак, на два вопроса находим аналогичные ответы: **во-первых**, далеко не все семьи, мечтающие разъехаться, получают отдельные

квартиры к 2000 году; **во-вторых**, общежития будут узаконены и в XXI веке... Почему не учитываются интересы этих многочисленных категорий людей? Спросил об этом у заместителя начальника отдела жилищного строительства Госплана СССР Давида Георгиевича Хождаева.

— Понимаете,— сказал Давид Георгиевич,— дополнительные квартиры будут стоить около 150 миллиардов рублей. На жи-



лишнее строительство уйдет тогда слишком много цемента, металла, а тяжелой индустрии ничего не останется...

Так объявите же честно: мы построим не столько жилья, сколько **людям нужно**, а сколько **сможем**. Но две маленькие хитрости — считать зятя с тещей как бы одной семьей и увековечить общежития — позволяют и жилищную программу вроде бы вы-

полнить, и не слишком поиздержаться.

Но кто же все-таки получит те 30 миллионов квартир, которые намечается к концу века построить?

Во-первых, планируется дать-таки квартиры (дома) тем семьям, которые сегодня живут в коммуналках и в общежитиях (на это уйдет около 7 миллионов квартир). Во-вторых, семьям, что образуются в ближайшие десять лет

и окажутся в тех же коммуналках и общежитиях (еще примерно 7 миллионов). А оставшиеся 16 миллионов квартир пойдут, как сказали мне в Госплане, «очередникам»; а также «на покрытие всяческих неожиданностей». (А на очереди уже стоит 13,9 миллиона человек, и очередь эта растет ежедневно.)

А где жить 72 тысячам советских военнослужащих, выводимых из Чехословакии (правда, не каждому из них нужна квартира, лишь офицерам и прапорщикам); 49 тысячам, выходящим из Венгрии; 200 тысячам тех, кого надо переселить из-под Чернобыля; сотням тысяч, оставшимся без крова в результате армянского землетрясения, а также «этническим» беженцам?..

А еще жилье надобно туркам-месхетинцам и тем, кто сокращен из армии; и экологическим беженцам из Приаралья, и поволжским немцам, и крымским татарам...

Не удивлюсь, если в 2001 году правительство именно на неожиданно возникшие обстоятельства сошлется, объясняя невыполнение жилищной программы. И верно, разве предусмотреть все заранее... Но зачем тогда давать звонкие обещания?

(Так что 112 миллионов сограждан, что занимают нынче от 5 до 9 «квадратов» на душу, просят на новоселье особо не рассчитывать...)

Но и 30 миллионов квартир надо-таки построить. (А ведь это 2 миллиарда квадратных метров жилья — за десять лет с 1975 года по 1985-й было построено всего 1,08 миллиарда.) Вполне естествен **третий вопрос**: а выполняма ли эта программа?

Концепции, разработанной правительством, не откажешь в

стройности. Чтобы отыскать на строительство средства, намечено шире привлекать деньги населения и предприятий: у них скопились сотни миллиардов, пусть тратят на жилье.

Однако из червонцев дом не склеишь. Вторая часть правительственной концепции: резкое увеличение выпуска стройматериалов. Намечено уже к 1995 году весьма солидно нарастить их производство... Все, кажется, продумано, взвешено. И очень хотелось бы, чтобы правительственная программа была выполнена. Правда, возникает несколько сомнений. **Первое** вот какого рода...

Директор института «Калининградгражданпроект», кандидат технических наук Петр Андреевич Вязовченко сказал мне:

— А знаете, сколько вы — лично — отчисляете ежегодно на строительство жилья?

— ?

— Я считал: около 200 рублей. Да каких рублей! Полнокровных, «отоваренных» и кирпичом, и цементом.

Признаюсь, эта тема показалась мне тогда второстепенной, разговор ушел в сторону. А вернулся в Москву, прочитал о расчетах инженера А. Веледницкого, которые тот сделал, проанализировав государственный бюджет страны: каждый работающий, оказывается, отчисляет на «бесплатное» жилье 23 рубля в месяц. Тогда подумалось: в самом деле, государство посредством налогов (а они у нас весьма высоки) сперва забирает произведенное нами, а потом разделяет это по отраслям, регионам, определяет, в частности, что и где строить. И на мои деньги, которые мне держава не доплачивает, возводятся объекты, которые она, держава, считает нужными... Лучше бы платили мне эти

отчуждаемые денежки, а я бы уж на них себе дом строил...

А как расходуется то, что государство забирает, мне не доплачивая?

Высится в том же Калининe, куда я ездил, занимаясь жилищной проблемой, «избушка на курьих ножках» — многоэтажная интуристская гостиница, которую прозвали так, потому что она на одной свае стоит. Смотрит она на город незастекленными окнами...

Возводить гостиницу начали еще в 1972 году, думали к Олимпиаде управиться. Да, говорят, напутали что-то в проекте, «съела» первая стадия строительства все запланированные деньги. Вбухали в долгострой уже четыре с лишним миллиона. Еще почти столько же должны освоить, чтобы в гостиницу первые постояльцы въехали, да только, судя по нынешним темпам, займет это лет сорок. (Между прочим, могли бы на эти деньги десять многоквартирных домов построить.)

Еще новый вокзал в областном центре строят. (Лет десять в Калинин езжу, никогда от старого не страдал. Электрички каждый час ходят, что на вокзале делать-то?..) Почти на 3 миллиона новостройка тянет. Комсомольцы-железнодорожники в управление дороги ездили, молили: отдайте «вокзальные» деньги нам на МЖК! Нет, ответили. Вокзал важнее.

Спросил я главного архитектора города Валерия Николаевича Дякина, не лучше ли деньги и материалы, предназначенные для этих объектов, на жилье было пустить?

— Гостиница строится на средства ВЦСПС, вокзал — на средства МПС. С какой стати городу от таких подарков отказываться?

Рубли профсоюзные, рубли железнодорожные... Разве не наши кровные они? И мои в том числе... Вот суть моего первого сомнения.

Сомнение **второе** — реализация программы производства стройматериалов. Об этом с тревогой говорили и в Госплане. Намного больше придется выпустить линолеума, отопительных батарей, ванн... Для такого рывка нужно построить новые заводы. Значит, надо: участки под цеха отводить, заводы проектировать, стены возводить, оборудование закупать, потом налаживать, потом учить людей на нем работать... Представляете, сколь длинна цепочка! А если поврется хотя бы одно звено? Не успели наладить, допустим, оборудование? Или опоздали ввести завод по производству радиаторов? Вот и все: программа «Жилье-2000» под угрозой, без отопительных батарей дом не построишь...

Причины опасаться срыва именно здесь изрядные. Ожидается, что в нынешней пятилетке не будет построено объектов промышленности стройматериалов на 526 миллионов рублей...

Замечательно, что теперь и в большом городе можно возводить себе дом. Но из чего?

В Госстрое СССР дали справку: в этом году заявка торговли на стройматериалы удовлетворена: в ваннах — на 49 процентов, в радиаторах — на 73 процента, в санитарных керамических изделиях — на 66 процентов, в деловой древесине и лесоматериалах — на 66 процентов... А стекла, например, поступит в продажу столько же, сколько планировалось по постановлению 33-летней давности продавать в 1960-м... Статистика, ясно, штука точная, но попробуйте купить хотя бы 66 процентов нужного вам леса, которые, говорят, есть в магазине. Вывели меня на некоего Сережу: у него есть все, но... сами понимаете. За «кубик» пиломатериалов просил он 30 рублей «сверху»...

Вторая проблема индивидуальных застройщиков: где взять на постройку деньги? Дом возвести — тысяч тридцать надо, а то и сорок. Взять кредит? В прошлом году индивидуальных домов построено на сумму около пяти миллиардов рублей (расчеты автора). Кредита же было выделено 1,33 миллиарда. Да и то если берешь 20 тысяч на 25 лет, то только процентов набегает за эти годы 8 тысяч! А через пять лет мы должны построить индивидуальных домов почти на 100 миллиардов рублей...

Приходится сомневаться, достанет ли на это стройматериалов и кредитов...

И еще одно, **третье**, беспокойство по поводу жилищной программы есть у меня...

Корреспондент «Строительной газеты» спросил Д. Г. Ходжаева: «Если программа «Жилье-2000» не будет выполнена, кто должен нести за это ответственность?» Ответ: «Те, кто ее завалил. Персонально». Фамилий Ходжаев, увы, не называет.

А кто в самом деле отвечает за жилищную программу? Секретарь парламентского Комитета по вопросам строительства и архитектуры неоднократно обращался по этому поводу к заместителю председателя Госплана СССР Юрию Ивановичу Матькину. Тот раз за разом заверял народного депутата: «За программу «Жилье-2000» отвечает товарищ Федоров». Хорошо. Пригласили Анатолия Константиновича Федорова, начальника отдела жилищного строительства главного планирующего ведомства страны, на заседание Комитета. И что же? На многие вопросы тот просто ничего не смог ответить. Объясняясь, сказал: «Я не занимаюсь развитием базы стройматериалов и стройиндустрии. Я заказчик. Проситель...»

Порешили перенести обсуждение на другое заседание, пригласив на него более ответственное лицо...

Вспоминаю, что во время забастовки воркутинских шахтеров тоже никак не могли отыскать ответственного за выполнение правительственного постановления: ничего не мог решить ни министр, ни зампреды Совета Министров — все замыкалось только на Рыжкове. Неужели и за жилье отвечает лишь сам глава правительства? Но на него навалены, помимо квартирного вопроса, еще сотни проблем. Возможно ли при такой нагрузке, при такой ответственности со всем справиться? — вот смысл еще одного сомнения.

И все-таки, думаю, есть надежда... Узнавая, как выполняется жилищная программа, я побывал в Калинин (город был выбран «методом тыка» — с таким же успехом мог бы оказаться в Челябинске или в Армавире). И вот в одном только городе...

В «Калинингражданпроекте» разработали концепцию так называемых микроДСК: крохотные комбинаты, располагающиеся рядом с сырьем. Не надо возить песок и гравий, а потом готовые панели за тридевять земель. В пять раз меньше кирпича тратится, в 2,5 раза — цемента, в два раза производительность труда увеличивается при таком строительстве. Но, увы, никто не поддержал новации. На письма не ответили ни Ельцин, ни Горбачев. Правда, спасибо, что и не задавили на корню придумку... Можно было бы все бросить, но создал Вязовченко, директор института, ассоциацию «Русь», которая и занимается внедрением микроДСК. Идеей заинтересовались предприятия, что строят жилье хозспособом. Два микрокомбината на тверской зем-

ле уже действуют. Со всех концов страны едут нынче в Калинин директора. Заключают договоры с «Русью», и скоро около двух десятков микроДСК начнут давать продукцию.

Тяжко, конечно, идет дело — да когда же новаторам у нас легко было!

Вот Вадим Иванов, двадцатисемилетний председатель калининского МЖК «Символ». Взялся руководить вторым в городе молодежным жилищным комплексом, а комплекс-то в план и не включили. Те, кто имел дело со строительством, знают, что это такое: ни гвоздя, ни ложки цемента, ни стакана бензина не причитается «Символу».

Не отступились ребята. Создали производственно - коммерческое объединение «Интекс». Сформировали строительный участок, где уже около ста человек работает. Купили грузовые автомобили, сваебой. Материалы достают таким вот образом: отдают людей отрабатывать «барщину» на кирпичном, скажем, заводе; директор обещает за это сверхплановый кирпич продать. Сваи по всем сопредельным областям искали, нашли наконец аж в Москве.

Директора-партнеры порой обманывают, рабочей силой пользуются, а материалы потом не хотят продавать. Бензин и солярку по кооперативной цене приходится покупать в четыре раза дороже... Дорого обходится сверхплановое строительство, дикие сложности преодолевать приходится. Крутятся молодые менеджеры, как белки в колесе. Но сто тысяч уже освоили, проект дома сделали, сваи забили... Растет МЖК!

Один только город, а новаторов, предпринимателей настоящих — десятки. Не связывать бы их цепями распределительной системы, сетями параграфов, не ско-

вывать бы наручниками согласованной!

О том говорили в Калининском обкоме комсомола. Михаил Максимов, заведующий отделом социально-экономических инициатив молодежи, горячился:

— Пришли комсомольцы к директору ДСК, предложили:

«У вас мощности простаивают, давайте мы по ночам работать будем. Часть продукции — вам, часть — нам». Директор ни в какую: молоды больно!.. Да разве по-хозяйски это?.. Еще, есть в нашей области городок шахтерский — Нелидово. Там огромные отвалы аглопорита — материал великолепный, из него в Швейцарии та-кие дома строят. Лежит — никому не нужен...

Помолчали.

— Я к чему это говорю? Хозяева настоящие нужны, вот.

Может, и впрямь будут хозяева — будет в достатке и жилья. А не «метров на душу...».

ВЕНЕДИКТОВ,

ИЛИ ДОСТОПАМЯТНЫЕ СОБЫТИЯ ЖИЗНИ МОЕЙ

АЛЕКСАНДР ЧАЯНОВ

ГЛАВА I

12

С недавних пор Плутарх сделался излюбленным и единственным чтением моим. Сознаться должен, что подвиги аттических героев немного однообразны, и описания бесчисленных битв не раз утомляли меня.

Сколько, однако, неувядаемой прелести находит читатель в страницах, посвященных благородному Титу Фламинину, пылкому Алькибиаду, яростному Пирру, царю эпирскому, и сонму им подобных.

Созерцая жизни великие, невольно думаешь и о своей, давно прожитой и тускло догорающей ныне.

Гуляя по вечерам по склонам берегов москворецких, смотря, как тени от облаков скользят по лугам Луцкого, как поднимается лениво Барвихинское стадо, наблюдая яблони, ветви которых гнутся от тяжести плодов, вспоминаешь весенние душистые цветы, дышавшие запахом сладким на этих же ветвях в минувшем мае, и ощущаешь чувственно, как все течет на путях жизни.

Начинаешь думать, что не в сражениях только дело и не в мудрости философов, но и в букашке каждой, живущей под солнцем, и что перед лицом Господа собственная наша жизнь не менее достопамятна, чем битва саламинская или подвиги Юлия.

Размышляя так многие годы в сельском своем уединении, пришел я к мысли описать по примеру херонейского философа жизнь человека обыденного, российского, и, не зная в подробности чьей-либо чужой жизни и не располагая библиотеками,

ВЕНЕДИКТОВ
или
ДОСТОПАМЯТНЫЕ
СОБЫТИЯ
ЖИЗНИ МОЕЙ



РОМАНТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ
НАПИСАННАЯ ВОТНИННОМЪ
ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ
ФИТО-ПАТОЛОГОМЪ

МОСКВА
У год РЕСПУБЛИКИ



решил я, может быть, без достаточной скромности приступить к описанию достопамятностей собственной жизни, полагая, что многие из них не безлюбопытны будут читателям.

Родился я в дни великой Екатерины в первопрестольной столице нашей, в приходе Благовещения, что в Садовниках. Отца своего, гвардии полковника и сподвижника Чернышева в знаменитом его набеге на Берлин, я не помню. Матушка, рано овдовев, проживала со мною в большой бедности, где-то в больших Толмачах, проводя лето в Кускове или у дальних родственников наших Шубендорфов, из которых Иван Карлович заведывал конским заводом в Голицынской подмосковной Влахернской, Кузьминки тож, которую, впрочем, сам старый князь любил называть просто Мельницей.

С годами удалось моей матушке, со старанием великим и не без помощи знакомых и товарищей покойного батюшки, определить меня в московский университетский благородный пансион, о котором поднесь вспоминаю с благоговением. Ах, друзья мои! могу ли я передать вам то чувство, которое питал и питаю к Антону Антоновичу, отцу нашему и благодетелю. Поклонам и танцам обучал меня Ламираль, а знаменитый Сандунов руководствовал нашим детским театром.

В 1804 году, в новом синем мундире с малиновым воротником, обшлагами и золотыми пуговицами, принял я на торжественном акте из рук куратора шпагу — знак моего студенческого достоинства.

Не буду описывать дней моего первого года студенческого.

Детище Шувалова, Меселино и Хераскова воспето гениальным пером Шевыревским, и не мне повторять его. Замечу только, что я уже полгода работал у профессора Баузе над изучением древностей славяно-русских, когда жизнь моя вступила в полосу достопамятных событий, повернувших ее в сторону от прошлого течения.

В мае 1805 года возвращался я из Коломенского с Константином Калайдовичем, рассеянно слушал его вдохновенные речи о Холопьем городке и значении камня тьмутараканского, а больше следил за пением жаворонков в прозрачном высоком весеннем небе. Вступив в город и расставшись со спутником своим, почувствовал я внезапно гнет над своей душой необычайный. Казалось, потерял я свободу духа и ясность душевную безвозвратно, и чья-то тяжелая рука опустилась на мой мозг, раздробля костные покровы черепа. Целыми днями пролеживал я на диване, заставляя Феогноста снова и снова согревать мне пушш.

Весь былой интерес к древностям славяно-русским погас в душе моей, и за все лето не мог я ни разу посетить книголюба Ферапонтова, к которому ранее того хаживал нередко.

Проходя по московским улицам, посещая театры и кондитерские, я чувствовал в городе чье-то несомненное жуткое и значительное присутствие. Это ощущение то слабело, то усиливалось необычайно, вызывая холодный пот на моем лбу и дрожь в ки-

До сих пор все предисловия, предпосланные публикациям в нашей рубрике «Пора прочесть», включали в себя неизменный мотив: «родился в России — умер за границей». И вот первое исключение: А. В. Чайнов родился в России в 1888 году — погиб в 1939-м, в России. За последней датой угадывается многое. А пока несколько слов об удивительной судьбе и еще более удивительной личности — Александре Васильевиче Чайнове. Но если по недавним нашим временам судьба Чайнова, быть может, не столь уж, к сожалению, и удивительна, то к самой его личности эпитет этот должен быть отнесен без всяких сомнений.

Даже породивший Чайнова русский культурный Ренессанс конца XIX — начала XX веков оказывается ему тесноват: многообразие и разносторонность интересов, энциклопедизм и талантливость во многих областях науки, искусства и литературы, соединившиеся в одном человеке, поистине поразительны. Аграрно-экономические труды и идеи Чайнова, вырванные нынешними событиями из тьмы забвения, звучат сегодня откровениями для специалистов; искусствоведы и историки искусств зачитываются его работами в этой области; книга «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии», предвосхитившая, кстати сказать, оруэлловский роман «1984», становится уже классической; но Чайнов-прозаик, автор романтических повестей, писатель, так сказать, в чистом виде, ждет еще своего исследователя хотя бы уже потому, что самый этот жанр не завершился, как полагали, в XIX веке, но был продолжен, развит и достиг нового качества именно в творчестве Чайнова. Думается, настоящая публикация убедит в этом и нашего читателя...

Пожалуй, от этого многоточия и следовало бы начинать саму публикацию, но мы имеем дело с исключительной судьбой

стях рук,— мне казалось, что кто-то смотрит на меня и готовится взять меня за руку.

Чувство это, отравлявшее мне жизнь, нарастало с каждым днем, пока ночью 16 сентября не разразилось роковым образом, введя меня в круг событий чрезвычайных.

Была пятница. Я засиделся до вечера у приятеля своего Трегуובה, который, занавесив плотно окна и двери, показывал мне «Новую Киропедию» и говорил таинственно о заслугах московских мартинистов.

Возвращаясь, чувствовал я гнет нестерпимый, который обострился до тягости, когда проходил я мимо Медоксова театра.

Плошки освещали громаду театрального здания, и оно, казалось, таило в себе разгадку мучившей меня тайны. Через минуту шел я маскарадной ротондой, направляясь к зрительному залу.

ГЛАВА II

Спектакль уже начался, когда я вошел в полумрак затихшего зрительного зала. Флигеры лампы освещали дрожащие тени дворца Аль-Рашидова. Колосова, послушная рокоту струн, плыла, кружась в амарантовом плаще. Колосова — царица на сцене, и я готов был снова и снова кричать ей свое браво.

Однако и она, и все сказочное видение калифова дворца рассеялись в душе моей, когда я опустил в отведенное мне

и личностью ее автора, чего не обойдешь многоточием, потому что, так или иначе, ответить придется на вопрос: что же подвело Александра Чайнова к последней дате его жизни?

В июле 1929 года была разгромлена Сельскохозяйственная академия; репрессиям подвергся весь цвет ее профессуры во главе с Чайновым. За что? На этот риторический в наше время вопрос ответил уцелевший, но двадцать пять лет проведенный в лагерях «соделец» Чайнова экономист-аграрник Николай Павлович Макаров, протестовавший, как и Чайнов, против всеобщей принудительной коллективизации: «Мы задолго до сталинского разорения русского села поняли, как опасно отнимать у мужика его собственную землю».

Не правда ли, сам собой просится тут комментарий с проекцией на сегодняшний день, но, надо думать, читатель сделает его самостоятельно. Важно другое.

Современники рассказывают, что, в отличие от прочих процессов тех лет, процесс «группы Чайнова» был закрытым... из-за самого Чайнова, я, как нам представляется, не без оснований. Человек не только кристально честный, но и эмоциональный, он мог сорвать четко разработанный НКВД «сценарий». Так или иначе, но все, проходившие по этому «делу», получили сравнительно небольшие или, как тогда говорили, «детские» сроки. Что касается Чайнова, он провел пять лет в камере Суздальской тюрьмы. За время заключения Чайнов написал — ну не фантастика ли! — кулинарную книгу, а затем и роман «Юрий Суздальский» (Русь, XIII век). Судьба этих рукописей неизвестна.

После «отбывания срока» в нечерноземной, так сказать, полосе последнее пришлось сменить на другую, ибо порядок есть порядок, и ссылка в Алма-Ату была естественным продолжением.

кресло второго ряда. В темноте затихшего зала почувствовал я отчетливо и томительно присутствие того значительного и властвующего, перед чем ниц склонялась душа моя многие месяцы. Вспомнилось мне неожиданно и ясно, как в детстве тетушка Арина показала мне в переплете оконной рамы букашку, запутавшуюся в паутине и стихшую в приближении паука.

«Браво!! Браво!!» Колосова кончила, и хор пиратов описывал владыке правоверных прелести плененных гречанок. Я уселся плотнее в кресло и, уставив зрительную трубу на сцену, пытался побороть в себе гнетущее меня чувство.

В тесном кругу оптического стекла, среди проплывающих мимо женских рук и обнаженных плеч, открылось мне лицо милovidное, с напряжением всматривающееся в темноту зрительного зала.

Родинка на шее и коралловое ожерелье на мерно поднимающейся дыханием груди на всю жизнь отметили в моей памяти это видение.

Томительную покорность и страдание душевное видел я в ее ищущем взоре. Казалось мне ясно, что и она и я покорны одному кругу роковой власти, давящей, неумолимой.

На минуту потерял я ее в движении сцены и по своей близорукости не сразу мог найти без зрительной трубы.

Меж тем сцена наполнилась новыми толпами белых и черных

Здесь же, в Алма-Ате, свою ссылку отбывал и Юрий Домбровский, кстати сказать, и рассказавший в частном письме, что «видел Чайнова в 35—36 годах в комендатуре НКВД, куда мы, ссыльные, ходили на регистрацию по 1 и 15 числам каждого месяца. У меня,— продолжает Домбровский,— остался в памяти высокий седоватый худощавый человек с черной бородкой».

Далее в этом письме (мы цитируем его, поскольку адресат частично опубликовал письмо в предисловии к зарубежному изданию книги Чайнова, материалами которой, принося глубокую благодарность первому обладателю этих сведений Леониду Черткову, мы здесь и пользуемся) — так вот, далее Домбровский пишет о том, что студенты Сельскохозяйственного института, где тогда преподавал Чайнов, рассказывали ему, «какую провокацию устроили «органы» А. В. Ему предложили выступить на каком-то праздничном собрании института, а когда он выступил и сказал очень простую и вдохновенную речь о науке вообще и о долге агронома — речь, к которой придаться было невозможно,— печать подняла вой: зачем предоставили трибуну врагу? И как так? Говорил, говорил, а о том, что он враг, и не сказал? Где его признания своих ошибок? После этого (и собрания СХИ) А. В. исчез из Алма-Аты». Есть другие — последние сведения: Чайнов вновь арестован в 1938 году и 20 марта 1939-го расстрелян во дворе алма-атинской тюрьмы.

Итак, с судьбой и личностью покончено, остался писатель.

То, что мы предлагаем сегодня нашим читателям,— «Венедиктов, или Достопамятные события жизни моей» — представляет собой одну из пяти романтических повестей, написанных в 20-е годы Чайновым под псевдонимом «Ботаник X» и изданных тогда

рабынь, и вереницы pas des deux сменились сложными пируэтами кордебалета.

Вдруг голос мучительно терпкий пронизал всю мою душу, и в нем снова узнал я ее, и снова всплыло ее чарующее лицо, белыми локонами окаймленное в оптическом круге зрительной трубы моей. Голос глубокий и преисполненный тоскою просил, казалось, умолял о пощаде, но не калифа правоверных, не к нему обращался он, а к властителю душ наших, и я отчетливо чувствовал его дьявольскую волю и адское дыхание совсем близко в темноте направо.

Занавес упал. Акт кончился. Ищущий взор мой скользнул по движущимся волнам синих и черных фраков, по колышущимся веерам и сверкающим лорнетам, шелковым канзу и кружевным брабантским накидкам и остановился. Ошибиться было невозможно. Это был он!

Не нахожу теперь слов описать мое волнение и чувства этой роковой встречи. Он роста скорее высокого, чем низкого, в сером, немного старомодном сюртуке, с седеющими волосами и потухшим взором, все еще устремленным на сцену, сидел направо в нескольких шагах от меня, опершись локтем на поручни кресла, и машинально перебирал свой лорнет.

Кругом него не было языков пламени, не пахло серой, все было в нем обыденно и обычно, но эта дьявольская обыденность была насыщена значительным и властвующим.

же библиофильским тиражом от 300 до 1000 экземпляров. Если же учесть, что после памятного 1929 года это и без того редчайшее издание было уничтожено во всех государственных хранилищах, а многие из немногих владельцев за благо сочли тогда же от него избавиться, сегодняшняя наша публикация приобретает особую ценность. Познакомившись с ней, читатель по достоинству оценит все литературное совершенство этой романтической, авантюрной, а если угодно, и детективной повести, в которой головокружительный сюжет исполнен чистейшим русским языком золотого XIX века и рукою Мастера.

Написав «Мастер» с большой буквы, мы, конечно, отдаем должную дань совершенству произведения «Ботаника X». Но дело не только в этом. Не так давно исследователь творчества Михаила Булгакова М. Чудакова обнаружила в его библиотеке именно эту повесть Чайнова, сообщив, что она «пользовалась, по словам жены, особенной его любовью». Чудакова предполагает и, как нам кажется, не без серьезных оснований, что влияние «Венедиктова...» сказало на «Театральном романе» Булгакова. Во всяком случае, читатель имеет теперь возможность соотнести это наблюдение исследователя с собственными своими впечатлениями. Впрочем, вполне возможно, что он почувствует и влияние этой повести на inferнальную, а проще «дьявольскую» линию романа «Мастер и Маргарита» или выберет для себя версию, которая представляется ему более убедительной.

Итак, слово воскресающему из небытия русскому писателю.

P. S. Учитывая литературные достоинства произведения, мы сочли возможным предложить его нашему читателю, несмотря на то, что ранее «Венедиктов...» был перепечатан журналом «Театр».

Медленно, устало отвел он свой взор от сцены и вышел в коридор. Я, как тень, как аугсбургский автомат следовал за ним, не смея приблизиться, не имея сил отойти прочь.

Он не заметил меня. Рассеянно бродил по коридорам, и когда театральная толпа, покорная звону невидимых колокольчиков, стала снова наполнять зрительный зал, остановился, невидящим взором обвел пустеющее фойе и начал спускаться по внутренним лестницам театра.

Следуя за ним, шел я по незнакомым мне ранее внутренним переходам, тускло освещенным редкими свечами фонарей. Коридоры, темные и сырые, поднимающиеся куда-то внутренние лестницы, стены, впитавшие в себя тени Медокса, казались мне лабиринтом Минотавра.

Неожиданно блеснула полоса яркого света. Открылась дверь, и женщина, закутанная в складки тяжелого плаща, вышла к нам вместе с потоками света. Оперлась рассеянно и молча на протянутую им руку и, шурша юбками, быстро прошла мимо меня и скрылась в поворотах лестницы.

Я узнал ее. Я знал теперь даже ее имя: в афише значилось, что первую рабыню поет Настасья Федоровна К.

ГЛАВА III

Призрачность ночных московских улиц несколько освежила меня. Я вышел из театра и видел даже, как черная карета, увозившая Настасью Федоровну, показавшаяся мне исполинской, скрылась за углом церкви Спаса, что в Копье, направляясь куда-то по Петровке.

Я люблю ночные московские улицы, люблю, друзья мои, бродить по ним в одиночестве и не замечая направления.

Заснувшие домики становятся картонными. Тихий покой садов и дворишков не нарушает ни шум моих шагов, ни лай проснувшейся дворовой собаки. Немногие освещенные окна полны для меня тихой жизни, девичьих грез, одиноких ночных мыслей.

Смотря, как церкви думают свою думу, в пустых улицах часто неожиданно всплывают то мрачные колоннады Апраксиновского дворца, то уносящаяся ввысь громада Пашкова дома, то иные каменные тени великих Екатерининских орлов.

Впрочем, в эту ночь моя встревоженная душа была чужда спокойных наблюдений. Неотступные мысли о дьявольских встречах угнетали меня. Я даже не думал. Во мне не было движения мыслей, я просто был, как в воду, погружен в стоячую недвижную думу о незнакомце.

Сильный толчок заставил меня остановиться. В своем рассеянии я столкнулся плечом в сыром тумане с высоким рослым офицером, который пробормотал какое-то проклятие.

В московском тумане он казался мне гигантского роста. Старомодный мундир придавал ему странное сходство с героями Семилетней войны.

«Ах, это вы!» — сказал колосс, смерив меня пронизывающим взором, и, хлопнув дверью, вошел в ярко освещенный дом.

В каком-то столбняке смотрел я, ничего не понимая, на сверкающие в ночной темноте отпотевшие изнутри окна. Наконец понял, что стою против Шаблыкинского постоянного двора, и отошел в сумрак улиц.

Я снова впал в задумчивость, мысли застывали, как мухи, попавшие в черную патоку, и все чувства бесконечно ослабли. Одно только чувствование обострилось и утончилось сверхъестественно, и я сквозь гнилой московский туман ясно ощущал, что где-то по улицам гигантская черная карета возит незнакомца, то приближаясь, то отдаляясь от меня.

Желая оторваться от навязчивого ощущения, я сильно тряхнул своею головою и вдохнул полною грудью ночной воздух.

Налево вырисовывалась черным силуэтом ветла. Впереди таялась во мраке полоса Камер-Коллежского вала. За ним сонно надвинулись напластования марьино-рощинских домиков. Дымился туман, было далеко за полночь.

Я уже соображал прямую дорогу, желая направиться домой. Думал разбудить Феогноста и велеть ему заварить малину и согреть пуши, как вновь почувствовал, что припадок возобновился, и во мраке улиц вновь ощутил я приближение черной кареты. Хотел бежать. Но мои ноги вросли в землю, и я остался недвижимым. Чувствовал, как, поворачивая из улицы в улицу, близился страшный экипаж. Мостовая дрожала с его приближением. Холодный пот увлажнял мой лоб. Силы покидали меня, и я принужден был опереться о ствол ветлы, чтобы не упасть.

Прошло несколько томительных минут, и справа показалась чудовищная карета. В дрожащем голубом свете ущербной луны ехала она по валу, раскачиваясь на своих рессорах. На козлах сидел кучер в высоком цилиндре и с вытаращенными стеклянными глазами.

Карета поравнялась со мною. Дверца ее внезапно открылась, и женщина, одетая в белое, держа что-то в руках, выпала из нее на всем ходу и, запутавшись в платье, упала на землю. Карета немного отъехала, круто повернула и остановилась. Кузов ее неестественно сильно наклонился набок.

Незнакомец вышел и быстро подошел к женщине. Настенька, это была она, вскочила и с криком: «нет у вас больше надо мною власти!» побежала к пруду... Не имея сил добежать, она подняла предмет, бывший у нее в руках, над головою и, бросив его с размаха в воду, упала. Гнилая ночная вода пруда проглотила брошенное.

Незнакомец приближался. Рыдания Настенькины наполнили мою душу ужасом, и готов я был броситься к ней на помощь, но не смог сделать ни шагу и снова почувствовал себя в безраздельной его власти и, как заговоренный, стоял у ветлы.

«Эй, ты!» — услышал я его властный голос, и ноги мои пошли к нему.

Не помню, как мы подняли с земли мою Настеньку, как уложили ее в карету, как сел я с ней рядом, как тронулась карета. Помню только, что долго видел я, отъезжая в ночном тумане, сгорбленную фигуру незнакомца, стоящего у берега пруда и упорно ищущего что-то, наклоняясь.

ГЛАВА IV

Марья Прокофьевна всплеснула руками, когда внес я Настеньку в ее домик на берегу Неглинки, совсем у церкви Настасии Узорешительницы.

Добрая женщина, царство ей небесное, засуетилась. Уложили мы Настеньку на диван, под часы карельской березы. Марья Прокофьевна отослала меня самовар ставить, а сама облегчила Настеньке шнуровку.

Долго не могли мы привести ее в чувство. Настенька, бедная, плакала, несуразные вещи всякие во сне говорила.

Стало светать. Третьи петухи запели, как пришла она, родная голубушка, в себя, улыбнулась нам и заснула спокойно. Сквозь кисейные занавески и ветви розмарина, стоящего по окнам, розовела утренняя заря. Марья Прокофьевна потушила свечу, ставшую ненужной. Ровное спокойное дыхание Настеньки поднимало ее грудь, золотистый локон рассыпался по тонкому полотну подушки. Часы тикали особенно значительно и спокойно в утренней тишине. У Спасовой, что в Коше, церкви ударили к заутрене.

Я с сожалением поднялся со стула и стал разыскивать свою шапку, собираясь уходить. Однако Марья Прокофьевна меня не отпустила и очень просила вместе с ней выкушать утренний кофий. Добрая женщина встретила меня, как давнишнего знакомого, хотя допрежде того мы никогда не встречались.

Никогда не забуду я этого дня, все мне в нем памятно. И половики на лаковом полу, и клавикорды с раскрытой страницей Моцартовой, и горку с фарфоровой и серебряной посудой... Но больше всего в памяти остался глубокий диван со спинкой красного дерева, по которой лениво и сонно плыли блики утреннего солнца и силуэтные профили, тонко рисованные тушью по перламутру и висевшие в затейливых рамках над диваном.

Марья Прокофьевна наливала мне из медного пузатого кофейника третью чашку и в пятый раз заставляла рассказывать, как я спасал Настеньку, когда скрикнула дверь и она сама вышла к нам из спальни в розовом капотике и вся зардевшись от слышанных слов моих.

ГЛАВА V

Уже вечерело, когда я шел по Петровке, направляясь к Арбату и держа в руках синий, небольшого формата конверт, на котором Настенькиной рукой было написано: «Господину Петру Петровичу Венедиктову в собственные руки в номера Мадрид, что на Арбате».

Конверт надушен был терпким запахом фиалок, а в моей душе намечалось странное чувство ревности, на которую не имел я никакого права.

Шел я в рассеянности, и у Петровских ворот чуть не сшибли меня с ног кареты знатных посетителей, съезжавшихся в Английский клуб. Монументальная белая колоннада клуба, окаймленная золотом осенних листьев, принимала подъезжавших по-

сетителей. Ленты осенних бульваров, полные яркой радости, подчеркивали синеву неба. Сгустки облаков застыли над Москвой. Золото осени падало на новую московскую Данаю, медленно шедшую передо мною по аллее, кого-то поджидая. На ней было синее канзу, а тонкая рука ее сжимала пучок завянувших астр.

Венедиктов сидел посреди 38 номера на засаленном, просиженном зеленом диване и курил трубку с длинным чубуком. На нем был яркий бухарский халат, открывавший волосатую грудь. В комнате в беспорядке разбросаны были различные вещи. Раскрытые баулы и сундуки говорили о готовящемся отъезде. На столе стояла железная кованая шкатулка.

«А, это ты?» — холодно и недовольно встретил меня Венедиктов. В полном трепета молчании протянул я ему письмо. Нехотя взял он его и, взглянув на почерк, вздрогнул. «Как!?» Встал. Провел руками по увлажненному лбу, посмотрев на свет, вскрыл пакет. Стал читать, волнуясь до чрезвычайности.

Почитая свою миссию законченной, счел я за лучшее незаметно уйти, оставив его посреди комнаты с роковым письмом в руке.

На заплыванной и полутемной лестнице мебелированных комнат пахло кислой капустой, и какой-то корявый и веснупчатый мальчишка чистил, прищельвая, гусарские ботфорты. Выйдя на улицу, вздохнул я свободно.

Ах, господа, трудно до чрезвычайности носить кому-либо запечатанные письма от той, которую любишь безмерно.

Ступая по лужам и не зная, куда направить путь свой, снова почувствовал я гнет чужой воли над своею душою. Ощущал тягостно, что приказывает он мне вернуться. Кутался в плащ, твердо решив не поддаваться его власти и продолжать путь свой. Душа моя походила на иву, сгибаемую ветром надвинувшейся бури, в ее порывах изгибающей ветви свои.

Душа моя становилась безвольна и растворялась бесследно в чужой, мрачной, как воды Стикса, дьявольской воле.

Бесшумно отворил я дверь тридцать восьмого номера, как провинившийся школьник стал у притолки. Венедиктов сиял, вся комната преобразилась.

Вещи, приготовленные к отъезду, были заброшены под диван. На столе в бемских бокалах искрилось шампанское, а устрицы и лимбург смешивались с плодами московских оранжерей.

«Как я могу отблагодарить тебя, Булгаков!» — сказал Петр Петрович, протягивая мне бокал. — «Сам Гавриил не мог бы принести мне вести более радостной, чем ты! Эх! Если бы ты мог что-нибудь понимать, Булгаков. Душа освобожденная, сбросившая цепи, любит меня!»

Недопитое вино искрилось в бутылках. Венедиктов был уже пьян в высшей степени. Он усадил меня за стол и с пьяным дружелюбием и настойчивостью потчевал меня яствами своими.

Искрометная влага Шампани сделала язык его разговорчивым, и он изливал передо мною любовную тоску свою. Все более

хмелея, повторял ежеминутно: «Эх, если бы ты что-нибудь понимал, Булгаков!» Наконец, придя в неистовство, ударил кулаком своей большой руки, на которой сверкнул железный перстень, по столу так, что замерцали свечи, и бокал, упав на пол, разбился с трепетным звоном. Воскликнул: «Я — царь! А ты червь передо мною, Булгаков! Плачь, говорю тебе!» И я почувствовал, как горсть наполнила душу мою. Черствый клубок подступил к моему горлу, и слезы побежали из моих глаз.

«Смейся, рабская душа!» — продолжал он, хохоча во все горло, и поток солнечной, мучительной радости смыл мою скорбь. Все, казалось, наполнилось звенящей радостью — и персики, разбросанные по столу, и осколки разбитого бокала, и канделябры мерцающих свечей, стоящие на смятой и залитой вином скатерти.

«Беспредельна власть моя, Булгаков, и беспредельна тоска моя; чем больше власти, тем больше тоски». И он со слезами в голосе повествовал, как склоняются перед ним человеческие души, как гнутся они под велением его воли. Как любит он Настеньку, как хотел он ее любви. Не подчинения, а свободной любви. Не по приказу его воли, а по движению душевному. Как боялся он отказаться от власти над нею, страшась навсегда потерять ее. Как отрекся он минувшей ночью от власти над Настенькиной душой и как наградит его Всевышний ее свободною любовью, вестником которой и был синий конверт, мною принесенный.

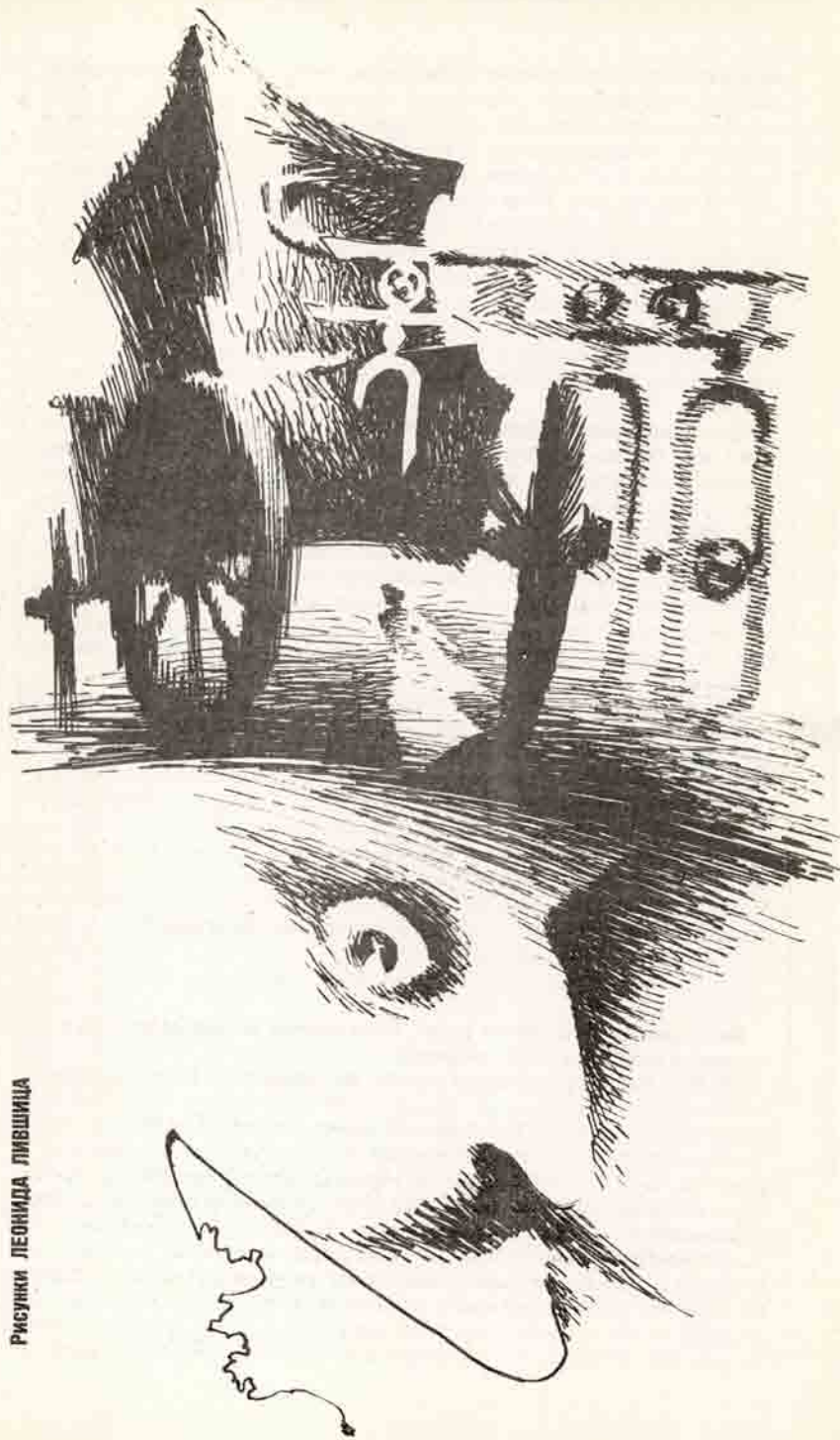
Ум его темнел, и он, размахивая руками, ходил по комнате, как в бреду, рассказывая бессвязно. Тень или, вернее, многие тени его шагающей фигуры раскачивались по стенам. В незанесенные окна вливался холодный свет луны, смешивающийся с мерцающим желтоватым светом восковых свечей канделябра. Глухо донеслись полночные перезвоны Спасской башни.

«Ничего ты не понимаешь, Булгаков! — резко остановился передо мной мой страшный собеседник. — Знаешь ли ты, что лежит вот в этой железной шкатулке? — сказал он в пароксизме пьяной откровенности. — Твоя душа в ней, Булгаков!»

ГЛАВА VI

Было около двух часов ночи. Венедиктов налил себе бокал и, выпив, продолжал свой рассказ.

«И вот, понимаешь, когда вошел из темноты я в эту комнату, глаза мои застлались от едкого табачного дыма с примесью какого-то запаха серы. Клубились тяжелые струи дыма, сверкали лампы, вместо свечей уставленные плашками, извергавшие красные и голубые, как от горения спирта, языки пламени. На огромном, круглом, покрытом черным сукном столе сверкали перемешанные с картами золотые треугольники. Десятка три джентльменов, изящно одетых в красные и черные рединготы, в черных цилиндрах, все с такими же геморроидальными лицами, как и у моего спутника, в полном молчании, прерываемом проклятиями, играли в пик-медриль. Рыжий, которого я спас на углу Уйтчапля от разъяренной толпы клириков, пожал



РИСУНКИ ЛЕОНИДА ЛИВШИЦА

ближайшим джентльменам руки и сел за стол, совершенно забыв о моем присутствии.

Предоставленный самому себе, я попытался осмотреться. Комната, показавшаяся мне вначале сводчатой, поскольку можно было рассмотреть сквозь клубы вонючей гари, или была вовсе лишена потолка, или он был прозрачен, так как кругом мерцали мириады звезд, застилаемые струями дыма. В глубине направо высилось колоссальное изваяние, я узнал в нем ритуальное изображение Асмодея в виде козла. Именно так изображен он в книге Брантона. Нет сил передать всю гадость и похотливость неистовства приданной ему позы. С ног до головы изваяние было залито испражнениями, горевшими голубым огнем, а новые и новые толпы посетителей с проникновенным трепетом облегчали свои желудки в жертву богу дьяволов. Смрад, поднимавшийся от этой черной мессы, заслонял стоящего на голове чудовища дряхлого Иерофанта с выпяченным животом, размахивающего двумя факелами. В серном тумане светлыми пятнами маячили круглые, покрытые сукнами столы, где джентльмены предавались карточной игре или обжорству... казалось, передо мной был шабаш ведьм мужского пола.

«Ха, Шлюсен», — дернул меня за руку плюгавый старик и прошил, передавая карты, закончить партию за него, пока он отлучится, обещая поделить выигрыш пополам. Я сел, не отдавая себе отчета, и взял в руку карты; кровь прилила у меня к голове и забила в висках, когда взглянул я на них.

Порнографическое искусство всего мира бледнело перед изображениями, которые трепетали в моих руках. Взбухшие бедра и груди, готовые лопнуть, голые животы наливали кровью мои глаза, и я с ужасом почувствовал, что изображения эти живут, дышат, двигаются у меня под пальцами. Рыжий толкнул меня под бок. Был мой ход. Банкомет открыл мне пикового валета — отвратительного негра, подергивавшегося в какой-то похотливой судороге, я покрыл его козырной дамой, и они, сцепившись, покатались кубарем в сладострастных движениях, а банкомет бросил мне несколько сверкающих трехугольников. Как удары молота, стучала кровь в моих висках. Но я, боясь выдать себя, продолжал играть. Карта мне шла, и неистовые оргии карточных персонажей, сплетавшихся во славу Приопа... решались в мою пользу.

Когда плюгавый джентльмен вернулся, передо мною на столе лежала изрядная кучка металла. Он, видимо, был неожиданно обрадован и, сунув горсть трехугольников мне в руки, похлопал по спине. Воскликнул: «Ха, Шлюсен», и погрузился в игру. Оторвавшись от дьявольских карт, я обвел залу помутившимся взором налитых кровью глаз. Для меня не оставалось более сомнения, что нахожусь я в клубе лондонских дьяволов. Приходилось думать о бегстве. Рыжий джентльмен, встреченный мною в Уйтчапле, вряд ли мог быть для меня полезен. Он был в сильном проигрыше, и волосы его бакенбардов в неистовстве сжимались и разжимались, как спирали пружин... На счастье, увидел я двух косопузых карапузиков в красных рединготах, янтарных лосинах и черных цилиндрах, которые, о чем-то

споря, простились с соседями и, очевидно, направились к выходу. Незамеченным последовал я за ними. Они подошли к плотной кирпичной стене и, не замедляя шага, слились с нею. Я бросился к ней, выдвигая правое плечо вперед, ожидая удара холодного камня. И только коснулся ее поверхности, как увидел себя в сутолоке вечерней толпы Пикадилли-стрит».

Венедиктов остановился, вытер платком вспотевший лоб, залпом осушил стакан и продолжал:

«Когда я вернулся в гостиницу и разложил семь мною выигранных треугольников посередине стола, долго не мог я понять их значения. Это были толстые золотые и, очевидно, платиновые пластины, с вырезанными на них знаками Аик-Бекара и пентаклем, сильно потертые и бывшие, очевидно, в немалом употреблении. Казалось, впитали они в себя адский пламень Асмодеевой черной мессы.

Недоуменно взял я один из них в руки и, смотря на него, задумался. Постепенно меня захватили, нарастая, новые ощущения. Почувствовал прилив каких-то новых чувств, и взор мой, изощренный, как-то свободно проникал сквозь предметы, уносился беспредельно.

В какой-то синеей дымке, — впрочем, даже не в дымке и не на стене, я не знаю, как передать способ моего нового чувствования, — увидел я девушку, разметавшуюся на своей постели. В беспокойном сне сбросила она от себя одеяло и в нагой своей красоте лежала передо мной. Волнение охватило меня. Ее лицо не было мне видно, и страстное желание видеть его наполнило мою душу. Как бы подчиняясь ему, она с каким-то мучением повернулась ко мне. Как прекрасно было это лицо! Как прекрасна была ее обнаженная грудь! Мне захотелось, чтобы она открыла свои глаза, и глаза ее открылись. Девушка проснулась. В ужасе села на кровати. Я захотел, чтобы она встала, и она встала с мучительным напряжением. Рубашка скатилась к ее ногам, и мгновенно она стояла передо мной, как Киприда, рождающаяся из пены морской. Затем опомнилась, накинула рубашку и в ужасе опустилась перед киотом икон, где теплилась лампада... Спасов лик строго глянул мне в душу, и видение потускнело.

Я выронил из руки треугольник и долго-долго смотрел перед собою в пустоту... Прошел час, может быть, другой... Дрова догорали в камине. Я понемногу пришел в себя и положил на ладонь другой платиновый треугольник и чуть не выронил его в ужасе... Стены расступились, и увидел я Жанету Леклерк, актрису Паласс-театра, за которой ухаживал я тщетно. Она полулежала на софе, и около софы на коленях стоял офицер шотландской гвардии. Беспорядок одежд, нежность поз не оставляла сомнения в любовности их свидания. Жанета, вся трепеща в истоме, тянула к нему свои обнаженные руки и полуоткрытые губы. Всем напряжением воли я велел ей отпрянуть. Но не было моей власти над ней, и она обняла своими обнаженными руками седеющую голову полковника. Бешенство овладело мною, и я велел ему встать. Покорный, он поднялся с колен, отстранив объятия Жанеты. Я понял, что владею его душой;

Жанета, с неведомым для меня в женщине бесстыдством, прильнула к нему своим телом, и я, до краев преисполненный бешенством и чувствуя, что владею каждым мускулом шотландца, схватил его руками его горло и неистово впился в него, пока судороги не охватили ее тела.

Видение показало мне смерть Жанеты, и я усилием своей воли бросил шотландца головой об угол печки.

Видение пропало, а треугольник рассыпался в прах, оставив ощущение ожога. Я бросился на диван и забылся тяжелым сном.

Нужно ли рассказывать о беспредельном ужасе моем, когда утром я подошел к дому Жанеты, чтобы рассказать ей об ужасном сновидении, увидел дом, окруженный толпой, ее задуманной, а в углу комнаты с разбитым черепом лежащего виденного мною ночью шотландца. Жизнь для меня потухла. Я понял, что выиграл у лондонских дьяволов человеческие души».

ГЛАВА VII

Речь Венедиктова становилась бессвязной. Он хмелел все больше и больше. Видение прошлого терзало его мозг, он опустился глубоко в свое кресло и, сильно затягиваясь, курил свою трубку с длинным чубуком. Бледный, как смерть, рассказал он, как овладел душой и телом молоденькой леди, только что вышедшей замуж за члена Верховной Палаты лорда Крю, и раздавил ее жизнь, как раздавливает полевой цветок тяжелая нога прохожего; как не мог он даже в тумане увидеть владельца души с Пентоклем Альдебарана.

Петр Петрович открыл шкатулку и показал мне четыре оставшиеся треугольника, рассказав, что пятого талисмана Настенькиной души — он не мог найти в пруду Марьиной рощи, куда его она забросила.

Совсем охмелевший Венедиктов бил кулаком по платиновой пластине неведомой души, приказывая ей явиться перед ним и посылая проклятья. Затем стих и охотно согласился сыграть на мою душу в пикет, в который мне не трудно было его обыграть весьма скоро. Трепетной рукой взял я дьявольский треугольник. Свечи догорели и гасли. При свете копящей светильни видел я, как Венедиктов опустил своей тяжелой головой на стол.

Когда я бежал по Мертвому переулку мимо церкви Успенья, что на Могильцах, на Спасской башне пробило три.

ГЛАВА VIII

Сердце мое билось, глаза горели, когда шлепал я по осенним лужам и шел, подавленный кругом невиданных событий.

Ночная Москва поглотила меня. Не помню, где я ходил. Срамная баба кричала мне вслед, задирала свои юбки и звала меня в канаву... два раза окликали меня будочники. Очнулся я, заметив перед собою отблески света. Оглянулся и увидел ярко освещенную станцию дилижансов легкой курской почты.

Это было единственное место, где мог я укрыться от накрапы-

вающего дождя и собраться с мыслями в ожидании рассвета. Вошел и отряхнулся от капель. Дождь полил с удвоенной силой. Большая комната почтовой станции была тускло освещена двумя фонарями.

Направо у столика с двумя полуштофами сжались в кучу несколько посетителей, за стойкой дремал хозяин, — пожилой уже ярославец, налево за большим столом в полном одиночестве сидел постоялец, увидав которого, я невольно вздрогнул.

Это был странный офицер, с которым столкнулся я прошлой ночью. Он сидел и писал. Тускло мигавшая, нагоревшая свеча освещала его старомодный дорожный мундир, высокие ботфорты, и снова напомнил он мне героев Семилетней войны.

В комнате чувствовалось напряжение чрезвычайное, посетители, на вид люди бывалые, казалось, стихли, как стихают мелкие пичуги, завидев приближение ястреба. Рюмка не лезла им в горло, и хмуро смотрели они на офицера, пишущего что-то на полулисте бумаги плохо обрезанным и скрипучим пером. Бросив перо и сложив написанное вчетверо, незнакомец встал и, звеня шпорами, направился к выходу.

«Приготовь лошадей, Петрухин, через час я уезжаю», — сказал он хозяину и вышел под потоки яростного, булькающего в лужах дождя.

«Душегуб проклятый!» — процедил сквозь зубы какой-то помятый человек, в котором нетрудно было узнать архивного регистратора. «Не к добру эдакая встреча», — поддержал его приятель и взялся за полуштоф.

«Эй, смотритель, это что за цаца?»

«Сейдлиц», — отвечал степенный ярославец с какой-то особой боязливой и почтительной осторожностью.

«А кто он такой?»

«А кто его знает! Болтают по-разному. Года два назад стоял он в Новотроицком и выбросил в окно шулера Верлинского. Сказывают, помер!» Фамилия показалась знакомой, и потертый человек, еще больше съезжившись, рассказал, что слышал он, будучи в Питере, о каком-то Сейдлице, не к ночи его помянуть, появившемся на свет Божий диковинным образом. В те поры, рассказывал он, в Париже орудовал некий Месмер и из людей всяких какой-то палочкой веревки вил; что скажет, то человек ему и делает, чем велит, тем человек и прикинется. Скажет — быть тебе, ваше превосходительство, волком, — его превосходительство окорачь ползает и воет. Скажет графинэ, что она курица, — она и кудахчет.

Так вот, сказывают, велел он одному немецкому гусарскому полковнику, что будто он на седьмом месяце беременности. У того живот-то и вздулся, а Месмер-то этот самый тут же от натуги и помер. Расколдовать гусара никто не мог, а месяца через два он помер, и лейб-медик короля прусского вырезал у него из живота ребеночка, зеленого всего, склизкого, с большою головой...

Рассказ прервался скрипом двери и звяканьем шпор. Сейдлиц вернулся и бросил смотрителю кожаный мешок и письмо, запечатанное пятью сургучными печатями. «Утром отправить

к коменданту», — сказал он резко и снова направился к выходу. Все примолкло. Покров ночного ужаса раскрылся над нами. Все мы заметили отчетливо, что, несмотря на проливной дождь, плащ Сейдлица не был смочен ни одной каплей воды. Вскоре я расплатился и вышел.

ГЛАВА IX

Утренний сон освежил меня заметно. Сквозь опущенные занавески просачивались солнечные лучи. Круглые солнечные зайчики наполняли комнату спокойным полусветом, играя то на фарфоровом китайте, то на резной рукоятке пистолетов, подаренных отцу Румянцевым-Задунайским и висевших над диваном, служившим мне постелью.

Я чувствовал полное освобождение от гнетущей меня последние месяцы тягости, но почему-то даже не вспомнил о выигранном трехугольнике. Так незначительной казалась мне моя собственная судьба. Душа моя была опустошенной. Ни радости, ни горести я не ощущал. Мне как-то ничего не хотелось. И только одна мысль о Настеньке наполнила мою душу сиянием.

Но что я был для нее? И в то же время, чем я был без нее?

Когда я вошел в синенький домик, там все сияло радостью. Марья Прокофьевна с засученными рукавами клала на подушки сдобный крендель. Розмарин и чайное дерево благоухали запахом радости. Белая кошечка в новом голубом бантике от радости особенно круто выгибала спину. Струны клавикорда, казалось, сами были готовы звенеть Моцартовы песни. Настенька перед зеркалом поправляла свои локоны и складки на кружевной накидке своего шуршащего белого платья. С горестным чувством мучительной ревности выслушал я, что Венедиктова ждут через час, — как двум, что отец Василий от Параскевы Пятницы прибудет сам для обручения, и что я такой необыкновенный, такой любезный, такой счастливый на руку человек.

Пробило два. Пришел дядя Николай Поликарпович с супругой в граденаплевом платье, две-три молоденькие девушки с большими бантами на головах, подруги Настенькины театральные. Попробовали кренделек. К трем пришел отец Василий. Радость омрачалась тревогой. Закусили. Поговорили о Бонапарте, еще раз закусили. Отец Василий ушел, сказав, что придет к пяти. Стало томительно и страшно. Я подавлял в себе преступное чувство радости и, наконец, предложил сходить к Венедиктову, узнать в чем дело. Поймал на себе взгляд Настеньки, полный надежды и благодарности. Чуть не бегом пустился по Петровке.

Когда подошел я к Арбатской площади, мне бросились в глаза встревоженные лица прохожих и какая-то растерянность во всем. Меблированные комнаты «Мадрид» нашел я окруженными большою толпой простого народа, а в стороне знакомую коляску обер-полицмейстера. Половые и полицейские долго меня не пускали, а когда я назвал себя и сказал, что надобен мне Петр Петрович Венедиктов, чьи-то досукие руки взяли меня за локти, и я был втолкнул без особой учтивости в 38 номер, войдя в который, остолбенел.

В комнате все было перевернуто и носило следы отчаянной борьбы. Посредине, среди обломков кресла и скомканного ковра, лежал Петр Петрович с проломленным черепом, а штабс-капитан Загорельский допрашивал побледневшую дородную содержательницу номеров.

ГЛАВА X

Уже синенький домик с мезонином показался у меня перед глазами, когда робость овладела мною всецело и до конца. Я не мог сделать ни шагу более. Пусть Настенька проспит эту ночь в неведении! Пусть беспокойство ее не заменится мраком отчаяния!

Вернулся домой. Посмотрел в зеркало. Исхудалое лицо взглянуло на меня из рамки карельской березы. Отяжелевшие впалые глаза отмечались ужасными синяками. Я не мог заставить себя прикоснуться к ужину и, отпив два глотка горячего пунша, велел Феогносту постелить мне на диване постель и потуже набить две трубки Капстаном.

Была глубокая ночь, но не мог я собраться с мыслями даже настолько, чтобы раздеться и лечь спать. Тупо смотрел, ничего не понимая, на пламя догорающей свечи.

Стук в окно, которое я забыл занавесить, прервал мои тяжелые размышления.

Труба архангела не смогла бы потрясти меня больше; я бросился к окну и сквозь запотелое стекло, в лунном свете увидел Настеньку — простоволосую, закутанную в ковровую шаль.

«Спасите меня: убийца гонится за мною по пятам!»

Я не расспрашивал более: через минуту, забыв о стыдливости (ах, друзья мои! о чем нельзя было забыть в эту минуту!), я быстро переодевал Настеньку, стоящую передо мной в одной рубашке, в свое мужское платье. А когда мы перелезали через забор в сад попадаю и рука моя судорожно сжимала отцовский пистолет, кто-то тяжело и упорно стучался в дверь моего дома. Через полчаса мы были на знакомом постоялом дворе в Садовниках, а на рассвете друг моего детства и молочный брат Терентий Кокурин мчал нас на своей тройке в город Киржач, без подорожной, без паспортов, к сестре моей матушки Пелагее Минишне.

ГЛАВА XI

«...Вот и все, Пелагея Минишна. Больше я и сам не знаю», — закончил я свой рассказ и посмотрел на старушку. Моя добрая тетушка вздохнула и принялась утраивать нас, не задавая никаких вопросов, только изредка пристально всматриваясь то в Настеньку, то в меня.

Сшили мы Настеньке нехитрое платьице из аглицкой фланели, которое шло ей к лицу чудесно, как, впрочем, были ей к лицу и тетушкины роброны времен Елизаветы Петровны и славных дней Екатерины.

Первые дни сидела она, родная голубушка, в уголке дивана недвижно, как зверушка в клетке, и как-то испуганно глядела на нас. Отчетливо и с радостной грустью помню я дни, когда

тетушка, окончив с хозяйством, присаживалась к нам и, быстро мелькая спицами, вязала чулки, Настенька смотрела в сад, где опадали последние желтые листья, и, задумавшись, гладила белую кошечку, а я, поместившись у ее ног, читал творения Коцебу, описания путешествия господина Карамзина и трогательные стихи великого Державина.

Ах, друзья мои, как давно это было!

Через неделю отправился я в Москву, нашел Настенькин домик сгоревшим, а Марью Прокофьевну исчезнувшей неизвестно куда.

Прошло около месяца, пока я хлопотал о заграничном паспорте. В те времена паспорта получались столь же трудно, как и теперь. И только в конце октября переехали мы прусскую границу. Перед нами промелькнул Берлин, еще хранивший жизнь Великого Фридриха, Кельн с его башнями и серыми волнами Рейна, Париж, где золото, женщины, вино и гром военной славы уже закрыли собою заветы неподкупного Максимилиана.

Настенька оставалась безучастной ко всему проплывающему мимо. А я начал впадать в задумчивость тяжелую. Шитый бисером кошелек, в котором моя мать, умирая, передала мне наследие отца, бережно сохраненное ею, становился все более и более легким. Будущее тревожило меня. Мы с Настенькой привязались друг к другу до чрезвычайности. Но положение наше было ложно. Она и думать не хотела о замужестве. Тщательно запирала дверь своей комнаты, уходя спать. Я пытался расспрашивать об ее жизни. Она рассказывала неохотно, больше о своем детстве, о театральной школе. Казалось, роковая тайна тяготела над ней, и было нужно еще раз показаться на нашем пути маске трагедии, чтобы новой кровью закрепить наше счастье.

29 апреля 1806 года прогуливались мы в окрестности Фонтенбло, в лесах, где многие столетия охотились французские короли и где Франциск замыслил фрески своего замка. Буковые стволы, увитые плющом, и колючие кусты застилали нашу дорогу. Я думал с тревогой, что сблизил мы с пути, как вдруг услышал лязг скрестившихся шпаг. Подняв голову, увидел, что Настенька, смертельно бледная, смотрит сквозь заросли на полянку. Смотря в направлении ее взгляда, увидел я на зеленой траве группу мужчин в пестрых кавалерийских мундирах, внимательно смотрящих на двух, с ожесточением фехтующих. В ужасе узнал я в одном из дуэлянтов Сейдлица. В этот же миг он увидел Настеньку и отступил на шаг. Как удар молнии сверкнула шпага его противника и пронзила его грудь. Он вскрикнул и упал лицом в траву. Секунданты к нему подбежали. «C'est fini!» — воскликнул пожилой офицер, беря руку безжизненного Сейдлица.

«Уведите меня отсюда» — услышал я Настенькин шепот.

Вечером рассказала она, прерывая свою повесть рыданиями, что пьяный Венедиктов в роковую для себя ночь дождался прихода не подчинявшейся ему дьявольской души, проиграл Настеньку Сейдлицу и погиб, желая силою отнять свою расписку у пруссака.

«Теперь я свободна», — закончила она свой рассказ, протягивая мне обе руки. В эту ночь она оставила дверь своей спальни не запертой.

ГЛАВА XII

Не знаю, что и о чем писать дальше.. История достопамятных событий, потрясших мою жизнь, давно уже окончена. Не я даже в ней главное лицо. Господу было угодно сделать меня свидетелем гибели человека, перешедшего черту человеческую, и передать в мои руки его драгоценное наследство.

Венчались мы с Настенькой в тот же год, возвратившись в Москву, у Спаса, что в Кошье. Жизнь наша протекала безоблачно, и даже при французе домик наш, построенный на Грузинах, был пощажён и огнем и грабителями.

Настенька бросила сцену и предалась хозяйству. Брак наш не был счастлив детьми, и в тяжком одиночестве посещаю я могилу Настенькину в Донском монастыре.

Вот и вся повесть жизни моей. Упомяну только в заключение, что лет через пять после француза, перебирая сундуки в поисках парадной одежды для посещения торжества открытия памятника гражданину Минину и князю Пожарскому, на которое получили мы с Настенькой билеты, нашли мы старый мой студенческий мундир, из кармана которого вышал золотой трехугольник моей души. Долго мы не знали, что с ним делать и смотрели на него со странностью, пока я не проиграл его Настеньке в карточную игру Акульку. Настенька взяла трехугольник с трепетом, привязала себе на крест, и — странное дело! — с той поры, не знал я больше ни скорби, ни горести. Не ведаю их и сейчас, бродя, опираясь на палку, по склонам московским и зная, что душу мою Настенька бережет в своем гробике на Донском монастыре.

ЧЕЛОВЕК

НА БОЛЬШОЙ ВОЙНЕ

ПЕТР ХМЕЛИНСКИЙ

«Неизвестная война» — так называли американцы фильм о Великой Отечественной, снятый для зрителей США. Однако наша война до сих пор остается во многом неизвестной и для нас самих.

Что всплывает у нас перед глазами при слове «война»? Прежде всего фронт, армия, бой. Это стереотип. Но попытаемся разобраться, верны ли наши представления. В первую мировую войну да, 95 процентов погибло на фронте. Но в Отечественную большинство жертв — мирные жители, беззащитные и безоружные. У этих детей, женщин, стариков не было ни пайка, ни командира, ни шанса погибнуть со смыслом, «не задаром». А мы забываем о них и даже в минуту молчания поминаем лишь «погибших в борьбе».

Я знал шахтера-ветерана, встретившего 1941 год двадцатилетним парнем. Не успели его мобилизовать — фронт продвинулся, и так сложилось, что человек сто беженцев, и он в том числе, очутились на нейтральной полосе, меж своими и чужими. Степь. Стрельба с обеих сторон. Страшно. Люди прячутся в ямах. С риском для жизни парень дополз до ближайших кустов, а в кустах — немцы. Так и попал в плен. А бывало и хуже...

Федор Абрамов писал, что второй фронт был открыт 22 июня 1941 года в нашем тылу.

Да, то был настоящий фронт, с настоящими боевыми потерями.

*«Вот фото победного часа
Над старой уральской горой.
Из нашего первого класса
Остался в ней*

каждый второй» — свидетельствует поэт. А ведь на Урале не было бомбежек — «все-

го-навсего» голод и эпидемии. О тыле, конечно, написано немало, но как во время войны все внимание было приковано к фронту, так до сих пор и сохраняется инерция восприятия — все о фронте, все о победе. А вот они, тыловые будни: мать варит детям суп из лебеды, бросает траву в воду и приговаривает: это картошка, это морковка, это соль... Так в войну жили миллионы!

Из уважения к труженикам тыла мы привыкли называть тыл героическим. И когда человек из последних сил, несмотря ни на что, работает, делает свое дело — это действительно героизм. Но в то же время, если человек из последних сил цепляется за жизнь, это ужас. И поэтому тыл наш был, во-первых, ужасным, а уж героическим — во-вторых.

«Дни и ночи у мартеновских печей», — так мы его себе представляем. А дни и ночи умирающих без хлеба и лекарств? Мы плохо помним, в какой невыносимой тесноте, как искали потерявшихся родных и близких. Кто на себе испытал, тот, разумеется, не забыл... В сознании же новых поколений это где-то с краю.

Как-то ко мне в дверь позвонил незнакомый старик. Сказал, что жил, дескать, в этой квартире до войны — захотелось посмотреть. Он зашел в маленькую шестиметровую комнатку, похожую на кладовую, показал, как в ней помещались нары, и пояснил, что спало на них четырнадцать человек. Я тогда ему не поверил...

А черный рынок? В нашей исторической памяти не отложилось, что теневая экономика жила-поживала, добра наживала посреди репрессий и войны, самой кровавой в истории. На то она и теневая.

Торговали фальшивыми карточ-

ками, поддельной «броней» от фронта, да мало ли чем... Были богачи, достававшие откуда-то много одежды и еды, что по тогдашним временам котировалось выше золота. В блокадном Ленинграде, например, случайно остались забытыми несколько небольших продовольственных складов мирного времени, и их «владельцы» жили в вымирающем городе вполне благополучно. (Одна такая дама однажды брякнула: мол, слухи о ленинградском голоде сильно преувеличены, я всю блокаду ела шоколад...)

В ожесточении сегодняшней политической борьбы, готовые идти «стенка на стенку», мы забыли, что первыми погибают самые слабые и абсолютно безвинные, неизбежно попадающие между двумя силами, поднявшимися друг на друга «за правое дело». Если бы лучше помнили трагедию мирных жителей в прошлой войне, память от многого уберегла бы нас и в настоящем, и в будущем. Подлинность истории — не прекрасное пожелание интеллигенции, а насущная потребность общества.

Теперь о фронте. Помню, к Дню Победы на моей работе устроили встречу наших сослуживцев-фронтовиков с молодежью. Ветеранов было трое. Мы приготовились услышать что-то среднее между «Войной и миром» и фильмом «Освобождение».

Встает один ветеран и говорит: призвали меня в сорок третьем, прибыл на передовую, через две недели ранило, попал в госпиталь, вернулся на фронт, пошли в наступление. Через две недели опять ранило — и все, комиссовали меня вчистую. Встает второй: а я сбежал на фронт подростком, взяли юнгой на торпедный катер, в четвертом или пятом походе так обварило меня кипятком — три

года лечили. Затем берет слово последний: а меня призывали в сорок пятом, прошел от Одера до Берлина.

Точка!

...Почему же нас не волнуют короткие фронтовые судьбы? Сколько было случаев, когда батальон poleg в первой же атаке или когда дивизии в наступлении «хватило» всего на два дня. И при менее трагическом раскладе средняя продолжительность жизни рядового на передовой исчислялась отнюдь не годами. Я не видел ни фильма, ни книги, где бы описывалась такая стандартная судьба: едет солдат на фронт, волнуется, надеется, приехал — на третий день его покалечило, и живет он всю жизнь инвалидом. Вот и все подвиги. Нет, такая война нам не интересна.

Вроде бы много сказано о госпиталях, а все же слишком мало. Ведь раненых всегда больше, чем убитых. Следовательно, медслужба как бы несколько раз пропустила через себя действующую армию.

34 Нам подавай фотогеничный героизм. Между тем на вопрос: «Было ли лично вам страшно на войне?» — я чаще всего слышал ответ: «Нет, потому что жутко хотелось спать». Приведу два примера. Курская дуга. Идет наше контрнаступление. Выписавшийся из госпиталя офицер догоняет свою часть. Он идет пешком, а его обгоняют грузовики с солдатами. У солдат как-то странно мотаются головы. Офицер не сразу понимает, что все солдаты поголовно спят... Подмосковье. Взвод идет по дороге. Налетают немецкие самолеты. Все бросаются в лес и падают на землю. Немцы, отбомбившись, улетают. Но командир не может поднять своих с земли: все солдаты, поймав, мгновенно загнули.

Если война для нас — это фронт, то фронт, в свою очередь, — сплошной бой, непрерывные отступления и наступления. Так интереснее писать и снимать, так интереснее читать и смотреть, так оно и остается в сознании: или нас атакуют, или мы атакуем. В действительности не было редкостью, когда войска обеих сторон на каком-то направлении находились в обороне более года, не предпринимая попыток изменить положение. На некоторых участках линия фронта оставалась неизменной более двух лет. Шла нормальная жизнь в ненормальных условиях, причем боевые действия зачастую были неглавной заботой. Так, в труднопроходимой местности — в горах или на болотах — приходилось подносить все необходимое, включая пищу, на себе. С утра десяток километров «пустым» к кухне, затем столько же обратно с обедом для товарищей. Во второй половине — такой же путь. Порой этим было занято до половины личного состава. По дороге, если не повезет, можно и погибнуть: противник разведывает маршруты и обстреливает их.

Ходьба по сорок верст изо дня в день — вот твоя война...

Видели вы фильм о чем-нибудь подобном? Я тоже нет. Мы не хотим видеть в войне прозаические будни. Пусть она будет страшной, но яркой. Ее мрачная обыденность подробно описана в мемуарах, хорошо известна историкам, но с трудом доходит до широкой общественности. Одна женщина, еле живой вывезенная из Ленинграда, на мой вопрос, что ей больше всего запомнилось из блокадных месяцев, неожиданно ответила: скука.

Но больше всего, на мой взгляд, мешает нам увидеть истинное лицо войны — произвольный «начальственный» уклон.

Желание постичь причины событий порождает обостренный интерес к происходившему в штабах и правительственных кабинетах. В поисках истины мы мысленно уходим в «верха» и забываем спуститься оттуда на грешную землю. (Спасибо Астафьеву, Кондратьеву, Носову, Быкову, Генатулину и немногим другим писателям, рассказавшим о черных солдатских буднях.) То, что было человеческой трагедией, начинает казаться азартной игрой. С увлечением обсуждать, кто и когда сделал не тот «ход», — необходимо, но отнюдь не достаточно для понимания прошлого.

Естественное стремление уразуметь, «как это делалось», встречает ответное движение: так, в огромной серии мемуаров, изданных Воениздатом, мне не попадалось воспоминаний хоть одного рядового или в крайнем случае лейтенанта военного времени. Из разных фрагментов складывается картина «Война. Вид сверху». Картина интересная, важная, поучительная, но явно неполная. Дальше — больше. Берем учебники — видим панораму, снятую не то что с птичьего полета, а откуда-то с орбиты: ЦК решил... Комитет Обороны постановил... Народ откликнулся... Проведена операция...

Может, так оно и было, но где же история людей? Где ожидания и отчаяние, где трусость и труд? Частные лица появляются, дабы выкрикнуть положенное и погибнуть. Или получить орден. Начало этой традиции положил сталинский фильм «Великий перелом» (не путать с 1929 годом!), в котором Сталинградскую битву ведут одни генералы и маршалы. Однажды возникший в кадре чумазый лейтенант с волевым лицом произносит: «За Волгой для нас земли нет!» — и исчезает с глаз долой...

Я упомянул лишь несколько

примеров ложных стереотипов, связанных с войной. Старался избежать тех заблуждений, что воспитывались в нас целенаправленно, и сосредоточиться на иных, сложившихся и выросших стихийно. По-моему, таких «дикорастущих» предрассудков достаточно для того, чтобы сделать вывод: попытки соорудить всеобъемлющую государственную мифологию создают благоприятную обстановку для расцвета мифологии неуправляемой.

...Когда в 1986 году на экраны вышел мужественный и точный фильм «Иди и смотри», были разговоры, что народ на него не идет, потому что людей перекормили военной темой. Мне кажется, людей перекормили военными мифами. Если музыкант упражняется на расстроенном инструменте, его абсолютный слух может испортиться.

Если человек читает не совсем правдивые статьи и книги, он перестает отличать правду от лжи...

1941-1945



М. САВИН.
Обездоленые.



*ДМ. БАЛЪТЕРМАНЦ.
Страда 41-го года.*







М. САВИН.
На передовую. Июль 41-го года.



М. САВИН.
Подмосковье. Смертный рубеж.

ДМ. БАЛЬТЕРМАНЦ.
Ближний бой.

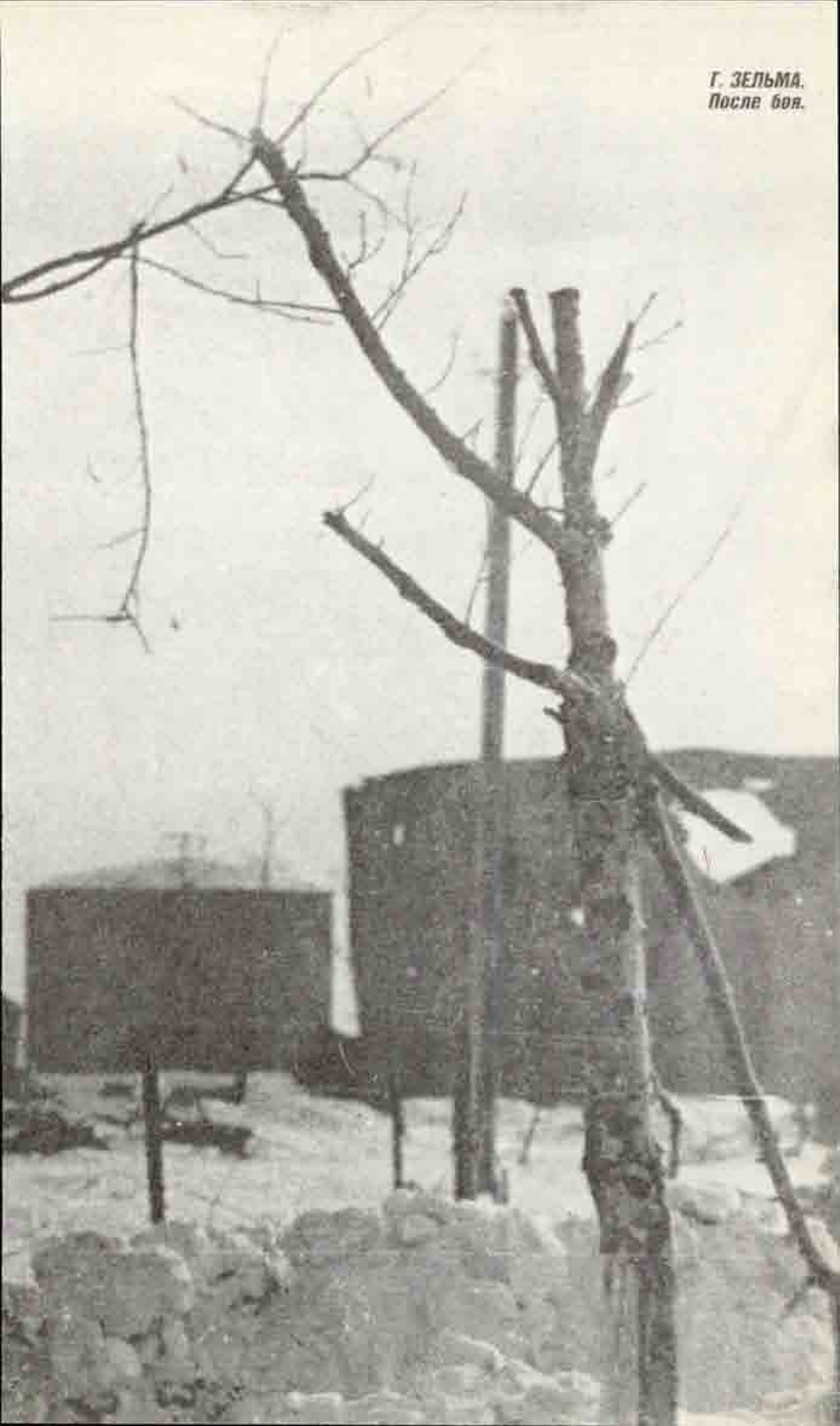




М. САВИН.
Своя ноша.



Г. ЗЕЛМА.
После боя.





ДМ. БАЛТЕРМАНЦ.
В освобожденной Одессе.





Г. ЗЕЛМА.
Расплата.



КОРИДОР

я дней не тороплю
и не страшусь молвы —
как велено терплю
и верую увы
зачерпываю синь
а вместе с ней тоску —
я легче паутины
тоску свою сотку
дни лезут чередой
как сельди в сеть путин —
и длится коридор
где свет в конце пути
где запертая дверь
способна разлучить —
и хуже нет потерь
чем потерять ключи
прохожие глаза
прохожая судьба
я сам себе вокзал
я сам себе судья
как пращур кочевой
я не устал идти —

скажите
для чего
весь свет в конце пути
и никуда не выйти
из темноты колодца —
и нету смысла вышить
иль в вену уколотся
глаза глядят из тьмы —
и сердцу сладко стынется
ужели гости мы
и целый мир гостиница
не скрыться от потерь —
но свет в конце пути
где ждет ночной портье
и выдает ключи...

РАСКРЫТАЯ КНИГА

ночь тянется как саванна —
мне в этой ночи не спится
раскрытая книга дивана —
одна и та же страница
язык ее протоколен
безжалостно сух и пресен —
день прожит поставим нолик
а завтра поставим крестик
и подведем итоги
покуда глаза не смежит —
мы жалки смешны убоги
и в комнате дух несвежий
поэтому обозначим
ценой смехотворно малой —
машины квартиры дачи
и панины идеалы
и дедушкины калоши
и в небе луну из пиццы —
мы вылезем вон из кожи
чтобы опохмелиться
и голосом полным фальши
назначить новые цели —
и двинуться дальше дальше
не дальше своей постели
а посему резонней
застрячь на одной странице —
и грудью вдыхать зловоние
от сдохшей в руках синицы
и конечно —
мы остыли
на стенках сосуда накипь
вперяю глаза пустые
и божьих не вижу знаков
стенаю точнее ною —

о тяжесть хмельного утра
а там за моей стеною
колышется Брахманутра
и тянутся караваны
и знобко жирафы бродят —
листаю книги диваны
и существую
вроде...

==

Тов. Брутто, пароходу и человеку

товарищ Брутто был как пароход —
пучину ночи он рассек как бог
и уложив меня на правый бок
поплыл неспешно набирая ход
товарищ Брутто был как пароход —
и я поднялся вроде на постой
но там где выход оказался «вход»
зияющий нетленной пустотой
товарищ Брутто был как пилигрим —
мы пили гримы водку и лосьон
и потому мы до сих пор горим
а он плывет
прохладнее знамен
он отходил от берега бочком —
брутален как горошек мозговой
я плюнул ему в блюдечко очко
и он подвнял невыносимый вой
он вынул флаг и возвестил содом —
он лично встал у личного руля
и не сбежали крысы с корабля
поскольку мясорубка под винтом...

ГОНЕЦ

я ожидаю гон —
глав культ полит просвет
за чистоту имен
и трубный глас газет
как задремавший клык
в суме заветный рог —
наступит время пик
и пику сунут в бок
и станет править бал
разборчивый свинец —
и стукнет в дверь амбал
как почтальон
гонец
народ его пошлет —
за баночкой винца
и сам себе нальет

и вновь пошлет гонца
и затрепещет плоть
под шьяным сапогом —
спаси меня Господь
я ожидаю гон
и смертный сладкий зуд
вселенского битья —
какого знака ждуг
Иосиф и братья
в порядке приказном
из ножен пашки вон —
Петро куда идем
я ожидаю гон
и ощущаю жуть —
ответа на вопрос
и обозначен путь
названьем паширос
а за окном рассвет —
полоскою погон
во имя новых вер
я ожидаю гон
не зная не любя
не веруя в итог —
мы ринемся трубя
в очередной виток
и там по платежу
в глухом часу ночном —
придет гонец
я жду
гон и конец в одном...

НЕ РОВЕН ЧАС

о как не ровен час —
минута вечность миг
у моего плеча
восстанет прах костями
о истина проста
для сущего всего —
не ровен час восстать
из праха своего
пусть рожей сладко быть
в колоннах и рядах —
но я устал любить
но я могу предать
и помутневший глаз
недвижен словно плес —
пусть я последний гад
пусть я последний пес
но сердцу благодать
обуглиться в кострах —
не ровен час восстать

и обратиться в прах
лизнуть как пес пилу
дрожащим языком —
я вас давно люблю
я с вами не знаком
кровь хлынет горлом —
пусть
но не наружу —
внутри
я выбрал этот путь
когда другие врут
и глупо поучать
остервеневший люд —
восстать не ровен час
не ровен час убьют
и служит ремеслу
Хароново весло —
нет избранное слуг
нет загнутое слов
сниму с глаз пятаки
и дам ему в ладонь —
что вечные стихи
что тайнства мадонн
когда тоска Христа
войдет в тебя как тень —
не ровен час восстать
восстать
на третий день...

АНДРЕЙ КУЧЕРОВ

РУБЦОВ

С СОВЕТСКОЙ СТОРОНЫ



О нем писали крупнейшие газеты западного мира. Известнейшие телекомпании просили об интервью.

Его, профессора Капицу и академика Сагдеева пригласили на Всемирный экономический форум в Швейцарию, где собрались семьсот ведущих бизнесменов мира такого калибра, как президенты «Дженерал моторс», «Форд», «Фиат», «Дойче банк»...

При этом ему чуть больше тридцати, и его фирма только начала, по сути, свою деятельность...

Мой собеседник — Александр РУБЦОВ, генеральный директор совместной фирмы «Внешконсульт».

— Что означает слово «независимая» в названии вашей фирмы? Чем вы занимаетесь?

— Мы не принадлежим никаким государственным органам. Основная часть нашего бизнеса — консультационные услуги по различным проектам, для различных совместных предприятий. Если мы потеряем независимость наших суждений, мы потеряем свой рынок. В мире консультационного бизнеса независимость суждений, объективность — главные достоинства. Нас уже пытались повернуть в «нужную» сторону. Вспомним хотя бы эту шумевшую историю с нашей контрэкспертизой по «Тенгизполимеру», который мог привести экономику страны к миллиардным убыткам. Наш клиент Миннефтепром, который и заказал экспертизу, отказался ее воспринимать — наши выводы шли вразрез с их политикой. И мы вынуждены были отказаться от оплаты, а это почти сто тысяч рублей. Мы настояли на своем. Затем эта экспертиза попала на стол к Н. И. Рыжкову. И было принято решение, по которому в дальнейшем все крупные проекты должны иметь и государственную, и независимую экспертизу. «Внешконсульт» — одна из немногих организаций в Союзе, которая берется за работы такого рода.

— Так что же, по-вашему, главное в деятельности нынешних совместных предприятий, которые вслед за кооперативами подвергаются все большим нападкам улыбочивых аппаратчиков, умело накаляющих общественное мнение?

— Наши совместные предприятия дают обществу и экономике новые методы управления, новые кадры, подготовленные для работы в условиях рынка, новую деловую культуру. Вот главное. Помоему, одна из основных причин

кризиса нашей экономики — отсутствие деловой культуры; другая — потерянное за многие десятилетия чувство предприимчивости. Деловая культура вдруг не возникает, она воспитывается на многих поколениях людей. К сожалению, так сложилось, что у нас период деловой культуры мог развиваться только в период нэпа...

— А как вы ее понимаете — деловую культуру?

— Это уважение к партнеру. Здоровая конкуренция. Умение вовремя приходить на встречи и вовремя отвечать на письма. Это умение очень тщательно изучать любой проект, прежде чем вкладывать в него деньги. Умение видеть возможности для расширения бизнеса там, где на первый взгляд их нет. Это умение работать с прессой, средствами массовой информации. И, наконец, нужно быть просто общительным, высокозрудированным бизнесменом.

— Вы сказали «здоровая конкуренция». Разве она возможна в Советском Союзе?

— Практически невозможна. Из-за чрезвычайно высокой монополизации нашего рынка... Но меня удивляет, что до сих пор у нас отсутствует продуманная стратегия экономического развития. Например, сейчас мы ликвидируем министерства и вместо них создаем... концерны. С одной стороны, да здравствует рынок! С другой — давайте создавать концерны! Если верить ленинским работам, уже в начале 20-х годов капитализм вел страшную борьбу против концернов, а мы их начинаем создавать. То есть мы сами создаем могильщика нашего рынка. И все потому, что кому-то понравилось красивое слово — «концерн». Возьмите объединение «Квант» — они на сто процентов контролируют производство эле-

ментов питания. Как с ними конкурировать? Они диктуют цены, качество поставок. А если учесть, что у нас неконвертируемый рубль и отсутствуют связи с внешним рынком, значит, даже импортные товары не могут создать какую-то заметную конкуренцию. Единственный производитель становится монополистом автоматически. Поэтому мне кажется, что СП могут создать хоть какую-то конкуренцию нашим монополиям и сверхмонополиям. Это поняли и умные чиновники, потому и взяли сейчас за СП засучив рукава. И в этой ситуации, я уверен, политика государства должна быть направлена на то, чтобы создавать СП в противовес монополистам. Без здоровой конкуренции мы не выйдем к рыночным отношениям.

— Попробуйте дать словесный портрет предпринимателя, который соответствует, по-вашему, запросам времени?

— Чтобы стать современным предпринимателем, кроме таланта, нужно иметь и соответствующее образование. Хотя бы для того, чтобы оценить собственный риск, уметь организовать производство и управлять этим производством. Общее бескультурье и общая необразованность наших руководителей всех рангов, особенно в отношении рыночной экономики, проявляются сегодня самым наглядным образом. По-моему, необходим тотальный экономический всеобуч. Кроме того, чтобы быть современным предпринимателем, нужно знать иностранные языки. В 1992 году Европа объединяется, и если мы не сможем наладить контакты с огромным объединенным рынком, мы не выживем. А у нас подавляющее большинство руководителей не только иностранных языков не знают, но и по-русски говорят безграмотно.

— А вы думаете, что большин-

ство советских граждан готовы воспринимать ваши идеи? Вы считаете, что им это надо?

— А тут очень важна, кстати сказать, роль прессы. Свою деструктивную роль пресса в условиях перестройки выполнила великолепно. Но конструктивную не выполняет, по-моему, вообще. Раз уж мы решили идти новым путем — к рыночной экономике, пресса должна создавать и пропагандировать образ здорового предпринимателя, конкуренцию. Десятилетиями средства массовой информации вдалбливали в сознание людей, что купить и перепродать товар означает «получить наживу». А в условиях рыночной экономики это звучит просто нелепо. Во всем мире это называется «получить прибыль», и только у нас — наживу. Да, действительно в условиях дефицита есть группа людей, которые сделали на дефиците какой-то капитал. Но нельзя же из-за этой группы закрывать торгово-посреднические кооперативы. Это выглядит экономической нелепостью. Нельзя идти на поводу у людей, которые живут эмоциями, а не экономическим смыслом.

— Так ведь и большевики яростно боролись с частной собственностью...

— Я, например, уважаю Ленина за то, что он был диалектиком и почти никогда не руководствовался только догматическими понятиями. Вводя нэп, он вынужден был отказаться от некоторых краеугольных камней своего учения, под фанфары которого приходил к власти. Он понял, что на том этапе только частное предпринимательство могло вытащить экономику, и оно ее вытащило...

— К тому же в тот период еще хватало предприимчивых, талантливых людей, которые впоследствии были почти поголовно унич-

тожены — либо расстреляны, либо сосланы...

— Да, сегодня мы имеем поколение тех, кто вырос на философии бедности, уравниловки, и перевоспитать их очень трудно. Но нужно... Я искренне считаю, что кто-то должен вносить свой вклад в перестройку. Мы все-таки молодое поколение, и мы пока что действительно можем сделать что-то конкретное. Пока еще у нас есть и желание, и здоровье. Я убежден, что основной упор надо делать на тех, кому от двадцати пяти до тридцати лет. Их мозг еще не законсервирован. Они умеют анализировать и рисковать. Они в состоянии воспринимать новое. По моей оценке, люди старше тридцати пяти уже с трудом воспринимают новые подходы, новые экономические ценности, и им очень трудно.

...Меня поражает одно обстоятельство нашей экономической реформы. Есть такое понятие, как «недвижимость»: дома и т. д. В нашей стране такого понятия нет, оно опять не введено. На практике это приводит к тому, что у нас уже сейчас развернулась страшная коррупция в распределении помещений для офисов. Моссовет или исполком решают, дать или не дать здание. Вместо того чтобы сказать: ребята, этот дом стоит, например, пятьсот тысяч. Пусть цена будет рыночной! И пусть тот же кооператор ответит, что у него таких денег нет. И тогда ему придется их искать, зарабатывать. А сейчас выгоднее дать взятку в пять тысяч, нежели купить дом за пятьсот тысяч. Эта система выгодна тем, кто получает взятки. Должна существовать собственность и на землю, и на недвижимость. Только тогда мы ликвидируем коррумпированность и неэкономические методы хозяйствования. Тогда люди будут думать,

где достать миллион, чтобы заплатить за здание. А чтобы достать миллион, нужно тщательно продумать свой бизнес, что, в свою очередь, стимулирует к более рачительному хозяйствованию, а главное — снижает возможности для криминала, к которому мы сами подталкиваем и сами же потом с ним боремся...

— А вас не пугает, что вопрос с СП может однажды упереться в идеологию и СП просто перестанут существовать? Что вы тогда будете делать?

— СП в переводе с английского означает «совместное рисковое предприятие». Но я считаю, что риск работы в СП на сегодняшний день достаточно оправдан. Потому что люди здесь получают дополнительное образование, навыки, и в СП, как правило, работают те, кто действительно верит в перестройку.

— Ваш прогноз на ближайшие десять лет?

— Если перестройка продержится еще десять лет, если наша новая парламентская система позволит периодически обновлять управление экономикой на самом высоком уровне, думаю, это наконец приведет к руководству страной, к руководству экономикой более молодых людей. Тех, кто пройдет школу рынка, новых экономических отношений, имеющих соответствующее образование и, самое главное, воспитанных в соответствии с новой деловой культурой. Если мы сможем продержаться это десятилетие, то возможен экономический подъем. Но лично мне кажется, что эти десять лет будут годами определенного застоя и очень медленного движения вперед. Потому что поменять культуру, образование, устоявшиеся стереотипы сознания безумно трудно.

— Согласны ли вы с тем, что

идеологическая самостоятельность зависит от материальной самостоятельности? Нищета нужна, чтобы держать в повиновении?

— Вы задаете очень непростой вопрос. Вот, например, здесь в СП все мы работаем на так называемой зарплате. То есть мы эксплуатируемся как наемные рабочие или служащие у наших акционеров. И если завтра наши акционеры скажут: вы, ребята, создали хороший капитал, но теперь вы нам не нужны... Понимаете? Поэтому всегда очень важен вопрос социальной защищенности и определенной гарантии в отношении будущего. Но если человек понимает — от генерального директора до секретарши, — что его могут в любую минуту выкинуть, а он заработал своим трудом служебную машину, хорошую зарплату, этот страх — мощнейший фактор производительности труда. И я вынужден признать, что Запад смог использовать эту боязнь, заложенную в человеке, очень эффективно, она заставляет постоянно думать, рисковать, предпринимать.

— Когда вы в последний раз были, например, в театре?

— Год назад, кажется...

— Я уже не раз сталкивался с тем, что деловой человек настолько погружен в свои проблемы, что вопросы культуры проходят мимо него. Хорошо ли это?

— Конечно же, плохо! Видимо, из-за того, что мы действительно не умеем организовать свое дело, свой труд, мы вынуждены компенсировать это большими затратами нервов, сил и времени. Мы не умеем организовать свой труд так, чтобы справляться с ним в рабочее время, как это делают все нормальные люди на Западе. Перейдя в СП, я забыл, что такое, например, концертные залы. Именно из-за слабой организации труда

мы очень многое теряем в жизни. Это, к сожалению, плата за то, что мы не умеем грамотно работать.

— Расскажите о планах фирмы. Чем собирается заниматься «Внешконсульт» в ближайшее время? Как наращивать капиталы?

— А вот это, увы, коммерческая тайна...

Котандур

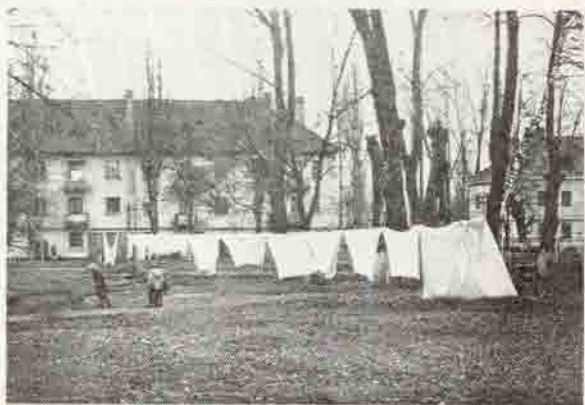


широкого профиля

ГРАНТ АПРЕСЯН
ФОТО ВЛАДИМИРА ЧЕЙШВИЛИ



61



СЛУЖБА

Тиха украинская ночь...
Если бы?

Здесь, на аэродроме гвардейского авиаполка, да и в военном городке, что рядом, редкая ночь, как, впрочем, и день, бывает тихой, спокойной. Для летчиков дальней стратегической авиации (и шире возьму: для армии нашей) понятия тишины, спокойствия весьма относительны. Тем более в дни теперешние — киящие, как вода на перекатах.

...Летчик включил форсаж — хвост остроносой машины окутало ядовито-желтое облако, и секунды спустя самолет, подминая тяжелыми колесами первые метры трехкилометровой полосы, устремился на взлет. После 650 метров разбега по бетонной ВПП на скорости 150 километров в час у стратегического ракетноносца ТУ-160 ра-

зорвались (очередь оглушительных взрывов!) все двенадцать колес...

Отмена полетов. Экстренная связь с Москвой. ЧП.

В такой момент мне довелось знакомиться с тридцатилетним командиром полка гвардии подполковником Валерием Ивановичем Горголем.

Ситуация, согласитесь, не из лучших.

Предстояло то, что на «гражданке» по аналогии, а здесь в самом что ни на есть прямом смысле называется разбором полетов... (Жихарев, командир корабля, говорил мне позже: «На ТУ-16 было просто. Если отказало, так отказало, все понятно, и ничего не надо искать. Знали уж точно: когда полоса мокрая и вовремя парашют не выпустил, значит, оказался за полосой. А тут...»)

Поздно вечером, когда спала лихорадка необычайного проис-



шествля, позвонил комдив Гребенников. (Прежде он командовал этим полком, знал Горголя, что называется, и по службе, и по душе...)

— Ты, Валерий, чересчур не казни себя... Это — жизнь...

— Спасибо, командир,— ответил комполка,— вы первый, кто сегодня сказал мне так...

В авиацию нынче романтикой не заманишь. Да и в чем она? В дальнем, двенадцатичасовом полете, именуемом профессионалами «радиусом»? Когда через каждые четыре часа полета — консервированная говядина, сок, шоколадка... Когда последний аэродром, почему-то не отозвавшийся на запросы, далеко позади, а внизу — нагромождение торосов. Не приведи господь, что случится — рвать оранжевые рукояти катапульты и... оказаться среди тех же безлюдных торосов? Такая вот име-

ется неперспективная перспектива.

Подполковник Горголь рассказывал мне:

— Что летчиком стал — случайность. Когда на срочную шел, меня поначалу определили в плавсостав ВМФ. Но тут же переиграли: в летное, дескать, не пойдешь? А мне все равно было — в летное так в летное. Парень здоровый, бетонщиком работал. Дома — мать и сестренка, думаю, в офицеры выйду, все им полегче будет. Ведь представление какое? Офицер, тем паче летчик, значит, полностью у государства на обеспечении; форма, приличные деньги, да и престиж... ВВС — элита!.. Попал в высшее Тамбовское,— продолжал подполковник,— легко прошел... На четвертом курсе женился... Люда медицинский закончила, сейчас в городке педиатром работает.

— А после училища, потом?



— Служба... — Валерий Иванович пожал плечами: мол, что же еще?.. Глянул вверх, прикрывая глаза ладонью. Там, в вышине, были только звук и инверсионный след. — А теперь вот думаю: что я без всего этого...

И он обвел рукой пространство, как бы обхватывая и самолеты, и небо, и военный городок.

Самолет, небо, полк — это понятно. Это жизнь летчика, служба. Но командир — офицер широкого профиля. А потому в его служебные и внеслужебные часы и минуты столько всего вмещается, что и небо, и самолет, взлеты и посадки кажутся порой деликатесным доппайком к каждодневному командирскому «меню».

В Советских Вооруженных Силах считается нормальным, что командир полка свои прямые обязанности совмещает с хлопотами начальника гарнизона. Поэтому Горголь, первоклассный летчик,

в основном, как он сам заметил, работает финансистом, юристом, экономистом, администратором...

Пришли к нему депутаты от женсовета с тревожной вестью. В военном городке все больше детей с респираторными заболеваниями. Из-за того, что завод пластмасс одного из производственных объединений нещадно «сорит» в атмосферу выбросами фенола и формальдегида. (Средств очистки нет; решение горисполкома о переводе завода в промзону не выполнено...)

Плохие дороги, высокие базарные цены, продукты и промтовары, ремонт, «выбивание» стройматериалов... Список этот можно продолжать, перечисляя должностные обязанности представителей многих профессий и специальностей...

«Командир — отец родной!»

А значит, и обихаживает вся и всех. Заботься, крутись, успе-











вай — «семья»-то большая, сотни людей. Сдали 112-квартирный дом, к заселению готов 90-квартирный, а 264 семьи все равно без своего жилья. А пятьдесят пять — стоят в очереди на улучшение...

Но почему, почему, спрашиваю себя в сотый раз, почему, рассказывая о военном летчике наших доблестных ВВС, я обязательно должен написать про 90-квартирный готовый к заселению дом? Какое он (дом) имеет отношение к авиации? Заокеанские коллеги-профессионалы Горголя думают об уик-энде, вилле, преимуществах последней модели «мерседеса», черт знает о чем, но только не об обшарпанном семейном общежитии. Не о том, что дети, меняя добрый десяток школ, бог весть как (и чему?) учатся...

Почему?

Я знаю — почему, но рассказывать не стану. Потому что знают об этом все: от министра обороны до рядового. Но только знать, оказывается, мало. Чего же надо еще? Ответ универсальный: надо лучше и больше работать. Еще лучше и еще больше.

Да разве ж они не работают?

При посадке сидящий в левой «чашке», то бишь командир корабля, прокручивает в уме шесть уравнений высшего порядка. Чтобы мягче сесть. Чтобы сесть на землю...

Им доверяют боевые машины стоимостью в десятки миллионов. Они летают над песками, горами, океанами. Они надеются на собственные знания, навык, опыт и нервы. И, конечно, на тех, кто там, внизу, строил эти машины, готовил их к полету...

Они работают на износ. Долгие часы в воздухе (где-нибудь над Атлантикой) прибавляют летчикам и морщин, и седины. Пусть не сразу, незаметно вроде...

Мне рассказывали: некоторые из военных летчиков, выйдя в отставку, так и не успевали получить свои первые пенсии, умирали скоропостижно, съедала их сердечный ресурс сложнейшая, перенасыщенная риском работа.

А техники, работающие на «бетонке»? Они теряют тридцать процентов слуха (постоянка под ревущим 25-тонным двигателем). Постоянно вдыхают токсичные вещества, отсюда язва, болезни почек и печени. Не на войне, не в экстремальных условиях, а вот так, обычно, «по службе» гробят свое здоровье. Привыкнув к этому, смирившись...

Некоторые, вероятно, предполагают, что военные сделаны не из костей и мяса, а из особого железобетонного материала. Сколько ни взваливают, выдержат. Верно: и взваливают, и выдерживают...

Сегодня командир встал в 5.30, в шесть был на аэродроме. Посмотрел полосу, проанализировал погоду, дал указания, провел пятиминутку. Утром не завтракал. Обедали мы с ним вместе. Поужинать не успел, к программе «Время» ему на стол принесли кофе, бутерброды и печенье...

И снова говорим о «престижности» военных профессий. О летчиках, в частности.

— Все мы, считай, временно исполняющие обязанности, — говорит вдруг. И глянул испытующе: понял ли?

Я не понял.

— То есть?

— А вот то и есть. В любой момент позвонят и поставят перед фактом: вы сняты. Какой-нибудь инструктор, мы их «чижиками» окрестили, первым об этом и сообщит. А пока ты на хорошем счету, он тебя уважает. Но дело в другом.

В чем же?

— Я уже знаю, какотреаги-

рую, если мне такое объявят. Я скажу «спасибо» и в придачу бутылку поставлю. Серьезно, без улыбок. Поеду в лесничество работать, свежим воздухом дышать, и никаких проблем не будет. Ведь я охотник, люблю с ружьишком побродить, когда дела позволяют. И дед мой лесником был. Если честно, возникают периоды, когда служить совершенно не хочется...

— Перегрузки, бумаги?.. — пытался я нащупать причину.

— Усталость сбрасывается, здоровье пока не подводит. Насчет бумаг заметили верно — хватает... Некоторые, с точки зрения профилактической и организационной, нужны, а многие — порождение воспаленных умов аппаратных чиновников. И сижу, ковыряюсь в бумажках за полночь. Вчера, правда, пришел довольно рано — в восемь. Успел повозиться с младшей — ей одиннадцать месяцев, со старшей поговорили... Телевизор не досмотрел, свалился. А вообще у нас негласное правило: каждый офицер, выходящий за пределы городка, даже в воскресенье, записывается у дежурного по части. Я в прошлый выходной ходил на рынок, рацию с собой брал. Отпуск когда дают, хватай документы и поскорее с глаз долой, иначе достанут...

Горголь служит без малого двадцать лет. Но впервые выбрался с семьей на море три года назад. Его зарплата со всеми положенными надбавками — около 500 рублей (зарботок средней руки кооператора!). Полк — седьмое по счету место службы. А ведь известно: каждый переезд равносильен пожару. Он как-то прикинул, что удалось за это время нажать. Стенка за 1350 рублей, два переносных телевизора, истрепанная софа, шкаф, книжные полки. На сберкнижке пусто...

Как-то в военторг завезли им-

портные кассеты — 20 штук. Звонят: «Будешь брать, командир?» Соблазн велик, одну кассету за девять рублей купил. «Почему так мало, дефицит ведь?» — спрашиваю. «Пусть берут кому надо, а то скажут: властью пользуется...»

— Ну а выход или хотя бы сдвиг?..

— Система контрактов. Только это! На три года, пять лет. И чтобы офицер, прапорщик, точно знал, что от него требуется и что он получит. Жилье, соцбыт, нормальный заработок, условия работы — это само собой... Но еще — самостоятельность. Без мелочной опеки, без понукания. Гарантия доверия — это очень важно. Честь, достоинство, престиж — из этого исходят...

— Где устаете больше — в небе или на земле?

— В полете я отдыхаю!

Знаю доподлинно, что главное его дело — летать, крепить мощь, боеспособность полка.

Остальное — не главное.

МИХАИЛ АНДРЕЕВ

На перегоне

*Молчали желтые и синие:
В зеленых плакали и пели.*

А. БЛОК

*На перегоне с гудящими рельсами,
Пока светофоры красным флагом горят,
Один поезд — с родины Ельцина,
Другой — с родины Лигачева, стоят.*

*В одном поезде — речи модные,
В другом поезде — умно молчат.
В одном поезде сидят голодные,
И в другом — голодные сидят.*

*Звезды в небе рассыпались боязно,
И через стекла, сквозь тьму наугад
Пассажиры с одного поезда
На пассажиров с другого глядят...*



АМНИСТИЯ

НИНА ЧУГУНОВА

Фото ЕВГЕНИЯ СТЕЦКО

Даты в этой истории одно время меня занимали. 22 января 1984 года в Кабуле хирургами Николенко и Шаповаловым ночью была проведена операция по ампутации нижних конечностей. Капитан, над которым поработали две бригады одновременно, мог и не выжить, но выжил. Роту его принял без приказа еще другой. Несходство их характеров впоследствии казалось мне любопытным экспериментом судьбы.

...22 января 1985 года в Кабуле заседанием военного трибунала Туркестанского военного округа старший лейтенант, тот, второй, подхвативший, был приговорен к расстрелу. (В приговоре обозначено: умышленное убийство, мародерство, превышение власти...)

Мина, на которой подорвался на безымянном мосту через жалкую речку капитан, предназначалась и лейтенанту — тот первым проехал через мост, когда, по всему судя, минирование уже было произведено.

Потом капитан валялся в госпиталях; старший лейтенант ждал смерти в ташкентской тюрьме...

Итак, этой войной, как миной, уложенной в колею, которой никому не миновать, они были вышвырнуты из жизни, а потом каждый должен был выживать в одиночестве, как получится, сам. Мне сначала казалось, что крутой старший лейтенант больше привязан к погоням, а капитан мягче и, значит, мог бы без погон обойтись. Но капитан однажды сказал мне: а что мы умеем в жизни?

Капитан вернулся в строй и стал работать в одном из московских военных ведомств... А как это ему удалось, лучше ска-

зать: не знаю. Старший лейтенант был отправлен в Свердловскую область отбывать срок, заменивший исключительную меру.

Этот срок был и сам по себе исключительной мерой, по годам.

Капитан ничего не рассказал мне о том, кто шел за ним, — о старшем лейтенанте. Возможно, рассказывая о себе в ту пору, когда журналисты отправлялись к героям Афганистана не столько за суровой правдой, сколько за суровой романтикой, счел, что старший лейтенант выбивается из канвы повествования, сюжет которого придумал не он и не мы с ним вдвоем. (И не жизнь! А они, кто был умнее целого народа!)

Он временно как бы забыл о друге, который подхватил его роту, и не почувствовал, что временно не стало и его, писавшего этому другу из всех госпиталей и не получавшего ответа...

Когда, мне интересно, мы прекратили на ноябрьские петь «Хотят ли русские войны?» — песню, раньше запрещенную, а во время, о котором говорю, просто до смешного неуместную? Ведь все помнят поступь, с которой выходил на сцену певец, ну хоть Кобзон, и начинал: «...спросите вы у тишины». Какой простор открывался нашему внутреннему зрению! Какая даль!

А может, продолжали петь? Ведь эта война была не наша. Через два дня после суда в Кабуле, о котором я не узнаю еще год, моему сыну исполнился месяц. Я точно помню ощущение, приводившее меня в ужас: кончится ли война, пока малыш растет?

Уверенности, что кончится, не было.

Как не было потом надежды, что выпустят Лейтенанта.

Его кличка в колонии была Лей-

тенант, и это, как видите, неплохая кличка. О нем, откликнувшись на очерк о возвращении капитана в военный строй, мне написал начальник колонии. Я поехала туда, пройдя через четыре генеральских кабинета, прежде чем было получено разрешение.

— Вы ему так и скажите: как же ты уронил честь советского человека? — наущал меня владелец одного из этих кабинетов.

Слишком долгим был мой рассказ о том, как выживал Лейтенант... Многие подробности этих лет хранятся в записях, в письмах. И все же я должна сказать: не знаю как, не знаю!

Как хватило ему сил, ведь он же из нашего племени?!

Мы другому учили его. Мы внушили ему страсть к парадам. Прижав к плечу подбородок, он чеканил свой шаг, когда шел строем мимо трибун и ел глазами тех, на трибуне. Лучшим ощущением в жизни он называл это! Страсть к блеску, страсть к командам и повиновению... Он ведь был наш — как выжил? Он и на войне шел в нами указанном направлении. А выяснилось: он преступник...

Военный журналист потом прошел по моим следам, прошел и дальше, побывал в Ташкенте, изучил не приговор, а все дело и вернулся в Москву и разыскал меня. Надо мной висело подозрение в бесчестье: меня упрекали в сокрытии подробностей преступления Лейтенанта.

Мне говорили: где же вся правда? Говорили те, кто вчера эту правду обстригал до кости, до крови.

И вот военный журналист и я сидим в кафе. Он спрашивает: «Ведь виновен Лейтенант, а?» А я отвечаю: «Конечно, виновен, но...»

— Но ведь виновен!

— Виновен, виновен! Но...

— Виновен? Нет, вы скажите!..

А потом вдруг мы вспомнили, что с нами-то было в восемьдесят третьем, и восемьдесят четвертом, и восемьдесят пятом... Он, конечно, виновен. Так говорю я. Конечно. Да.

И так мы сидели и считали потери.

Что сохранилось в нас, наблюдавших эту войну у самого порога с бесстрашием тех, кому обещано: война через порог не ступит, — а потом начавших получать с этой войны грузы «черных тюльпанов»?

Да, мы умеем воевать, но не хотим, чтобы опять солдаты падали в бою на землю горькую свою...

Если вот так переписать весь текст гордой песни, раскавычив, то получится гимн самовлюбленному или себя обманувшему народу. А ведь написано о другом народе! Написано с гордостью за него!

Когда мы себя потеряли? Я спрашиваю серьезно, потому что не знаю: когда? Кто засеял поле? И кто ждет всходы?

Хоронили мальчика, погибшего на этой войне. Московское кладбище в Кузьминках, молодое лицо на фотографии, увеличенной с карточки на документ. То были первые похороны, начало. Потом прошло много лет...

Много лет шла эта война. Потом с трудом мы ее закончили. Потом мы начали ее хоронить. Впрочем, мы начали ее хоронить раньше. Или не хоронить — прятать, оцинковывать, запаивать, замазывать гробовое стеклышко... На протяжении всех девяти лет велась привычная для нашего народа игра, когда ложь становится как бы необходимым условием для того, чтобы замкнуться о правде. Мелкими шажками мы продвига-







лись к правде об Афганистане, оставляя всегда несколько вариантов лжи о нашей революционности и о нашей готовности отстаивать... и так далее. Это, как смятая пустая банка из-под сгущенки, катилось, погромыхая, уже и по другим территориям.

Помню, как, загорядясь от народа, коммунисты читали известное закрытое письмо, касающееся войны в Афганистане. На этом чтении мною уважаемый редактор предостерег меня от какого-либо конспектирования. Абсурд, продолжение игры в тайну, в отдельную от народа правду?

Я думаю, что амнистия, которой посвящены мои путаные заметки, явилась слишком поздно. Круг завершился, замкнув собой пространство времени, в котором на нас не было креста в том смысле, что мы отказывались испытывать стыд.



Она явилась поздно, потому что в судьбе нашего народа уже были заявлены Тбилиси и Баку.

Но все-таки она была, и это дает надежду.

Помню, смотрела телевизор в гостиничном номере северного русского города. В окно были видны слишком яркий морозный закат и красное знамя обкома партии. Город был голодным, как все города страны. В кинотеатрах шла по второму разу «Анатомия любви».

Судьба четвертой статьи Закона об амнистии определяла судьбу Лейтенанта.

(Чему мы успели его научить? Любить парады, командовать и подчиняться? А думать он, офицер, начал в колонии...)

Итак, Лейтенант прошел несколько кругов ада. Афганистан — круг первый. Второй — то, что в обратном адресе обозначалось как Н-240, колония особого режима.

Третий круг — ад ожидания. Его не выпустили 15 декабря 1989 года, как это было назначено амнистией. В нашем государстве свои порядки: и он ждал.

А мы так спешили, так добивались разрешения на съемку!..

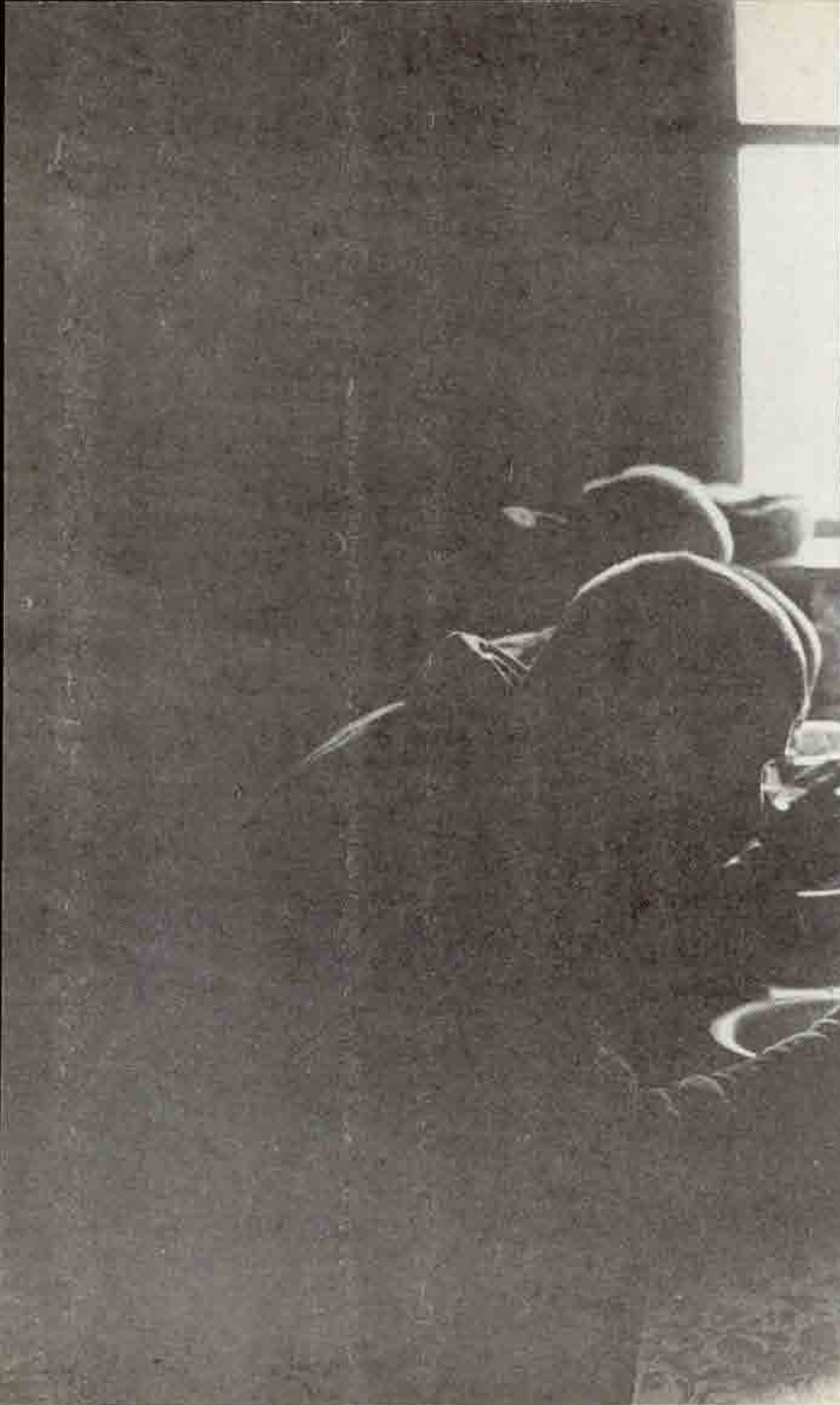
К пятнадцатому декабря к воротам колонии прилетела мать.

Ее отправили обратно. Она звонила в Москву, надеялась на министра Бакатина...

Вот с каким достоинством мы можем переживать стыд: два дня не был допущен к съемкам колонии ваш фотокорреспондент. Бумаг, предъявленных им, было все недостаточно: от него потребовали список сюжетов фотосъемки, заверенной «руководством журнала». Только обещание корреспондента в течение дня предъявить этот список, переданный по теле-тайпу, образумил подполковника...

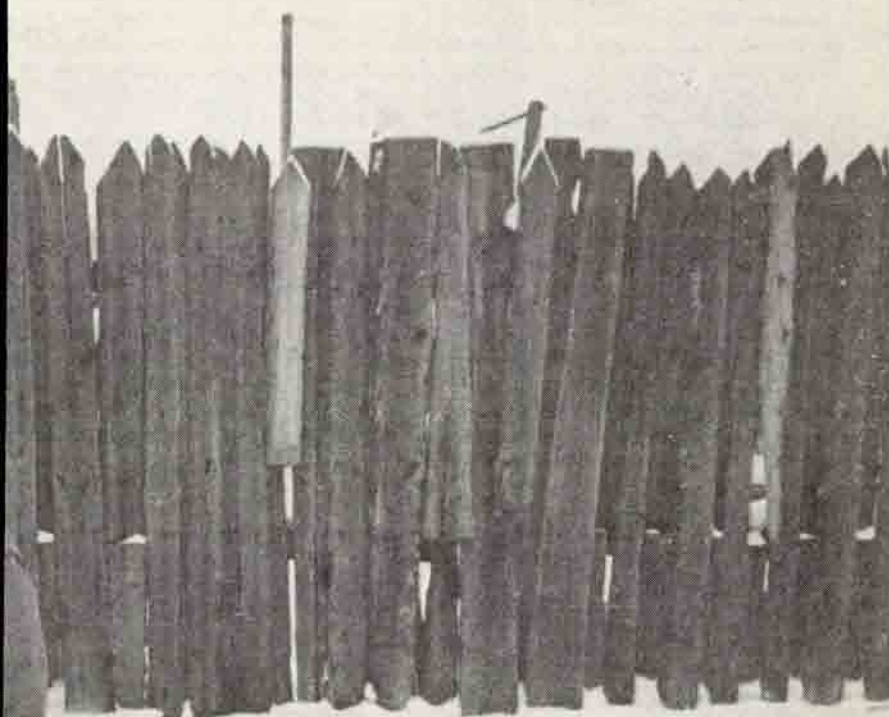
Потом началась собственно съемка, на протяжении которой за











корреспондентом в лучших традициях авторитарного режима следовал подполковник, стремясь удержать фотографа от исполнения его обязанностей.

Одно хорошо: теперь Лейтенанта уже не задерживали. Приказ, доставленный фельдъегерской почтой, прибыл.

(...Мне все представляется: фельдъегерь тот скакал на лошадах, меняя их на почтовых станциях, и зрители выбегали к нему с приглашением отпить чаю, но дальше скакал фельдъегерь с императорским волеизъявлением... Что это я, о чем? Ах, долго шел пакет с сургучными печатями.)

Одно время меня занимали даты, их совпадение. И вот ровно через четыре года, едва ли не день в день, Лейтенант был выпущен на свободу.

Девушка, ставшая его женой здесь, встретила его.

Историю их любви — зачем вам? А впрочем: когда она из Киева прилетела (после писем, сколько же было ими написано писем!..) венчаться, то так была принята, что села на крыльцо и плакала, в джинсиках и с белым бантом...

Он не просто выжил. Он стал другим человеком.

Два года назад я написала: неужели судьбе было угодно сломаться, чтобы душа человека ожила и задумалась о себе?

Не мы спасли его. Не мы.

...Вот круг четвертый: он выходит к нам.

Они не встретились в Москве: капитан и старший лейтенант. Я, правда, было, заикнулась, напомнила...

Не встретились.

В чем же вина наша?

В подлой и смиренной готовности плохо жить, более ни в чем.

Мы все повторяли: лишь бы не было войны. Мол, а плохую и некрасивую жизнь как-нибудь переживем, перетерпим, в войну и не такое бывало. Лишь бы не было войны!

А она-то и стала, нам в наказание.

Как мала наша земля для нас. Как мала, тесна. Ибо все, нами содеянное: в прошлом, вчера, только что — не исчезает, а громоздится, множится. Дети времени подчисток и исправлений на бумаге и на слбвах, мы так замусорили пространство, данное нам для жизни. Ничто содеянное нами не проваливается, не уходит прочь.

И только мы уходим. Только наши судьбы пропащие летели и летели в тартарары, в пустоту, во мглу, как будто наше проклятие: «Пропади все пропадом», — возвратилось к нам, круг свершив над головами.

С ужасом прозрения думаю: так, значит, мы могли эту войну остановить?

Могли? Или не могли?

Когда услышу имя Василиса —
 В глаза зеленым цветом полыхнет.
 Листва и травы — сверху и донизу,
 Леса, луга, цветение болот.

А Марью вижу только белым цветом,
 Пустым, еще не затканым холстом,
 А Катерину — красным, словно летом
 Глядит полянка ягодным пластом...

Как имя Настя звонко и упруго,
 Как будто тесто шлепнулось о стол;
 Давным-давно полна была округа
 Таких имен, да, видно, срок прошел...

А вот теперь, как к прошлому причастье,
 Как связь времен, что заново слились,
 Вновь подрастает много Кать, и Настей,
 И Марьюшек, и даже Василис.

А это значит: гуще станет зелень,
 И уродится ягода в свой срок,
 И будет холст для вышивки набелен,
 И, что ни праздник, выпечен широг.

Вдруг повернем мы северные реки,
 Значенья их осмыслить не успев?
 Вдруг земли, заповедные вовеки,
 Кладбищенские, вспашем под посев?

Не обернется ль выгода бедою,
 Какой не довелось еще знать,—
 Насильно перевернутой водою
 Хлеб с разоренных кладбищ зашивать?..

ИЗ ЦИКЛА «ДЕРЕВЬЯ»

Когда ко сну готовится деревня
 И вырастают полосы теней,
 В какой-то миг становятся деревья
 Значительней и словно бы видней.

Простая днем, как пышно напоследок
Береза ввысь плеснула кружева;
Как с рук ее, с раскинувшихся веток
Текут листвы сквозные рукава.

Вот статно ель возвысилась,
а ниже —
Кусты калины — масса темных куп.
И не понять, дрожит или недвижим
Густой венец, надвинутый на дуб.

Деревья...

≡
Стоят березки, словно полонянки,
Склонив листву опущенных голов,
И на безлюдной маленькой полянке
Рябит в глазах от тоненьких стволов.

Но легкий пар — болотная завеса —
Зловещей дымкой стелется вокруг.
И вижу я, что это силы леса
Околдовали девушек-подруг...

Их дни идут размеренно и грустно,
Как будто слезы капают на мох,
И ждешь, что слово вырвется изустно,
Но только шорох
слышен, словно вздох.

Я знаю — любит русская природа
Являть такие грустные места,
Но кажется, что это неспроста,
И все вокруг
безмолвно ждет исхода.

≡
Рябина украшает каждый сад.
Как радость, восстающая из тягот,
На ней, прохладно-кожисты, висят
Тяжелые соплодья крупных ягод.

Как говорит преданье старины,
Где задушевность слышно в каждом слове,—
Рябине кисти красные даны
На память о Христом пролитой крови...

≡
Высокий ствол отблескивает чисто,
Сучки на нем намечены едва,

*А наверху, как легкое монисто,
Дрожит чеканно-круглая листва.*

*Не зная в древнем ужасе остуды,
Дрожа без ветра, в печке не горя,
Живет на свете дерево Иуды,
Что годно лишь на кол для упыря.*

*Сорвешь да покусаеть листик — горько.
Но, все простив осине наперед,
Ее поутру розовая зорька
Сквозяще-нежным светом обольет.*

*И в этот миг расторгнется неожиданно
С былым злодейством пагубная связь,
И вновь осина кажется желанна
Всему вокруг,
с чем свьслась и сжилась...*

АЛЕКСАНДР БОБРОВ

ЗАПРЕТНЫЕ ПЛОДЫ

*Громко несется на сотни ладов —
Пресса, эстрада, экран:
«Дайте наесться запретных плодов
Из переразвитых стран!»*

*Дайте раздеться, разделаться, раз-
Очароваться в себе!
Это бывало, и даже не раз,
В многострадальной судьбе.*

*Люд принимает соблазны, как дар,
Дали команду — кричит.
Вот раздевается «мисс Сыктывкар» —
Это же песней звучит!*

*Ветхозаветный срывается плод,
Страх растворился в веках...
Жаждой сведет перекошенный рот —
Вспомним о родниках.*

ВЕЧЕРНИЕ МЫСЛИ

*Когда в просветах блеск небесных тел,
А от костра мерцание и копоть,
Я мучаюсь: как мало я успел
Увидеть, прочитать и наработать!*

Все рухнуло, отвеселилось,
Настроилось на хозрасчет.
Но все же последнюю милость
Пускай мне фортуна пошлет:

Беспечные годы промчатся,
Но, вызов бросаю во мглу,
Хотел бы с друзьями встречаться
Всегда
на Веселом углу!

Не грозит календарь
ни возвратом мороза,
Ни другим потрясеньем, но горечь ясна:
В этой жизни, увя, нескончаема проза,
Но кончается
и затяжная весна.

Ну, так что я скажу на контрасте, на стыке
Этих разных понятий и странных судеб?
Многочастная песенка, как на пластинке:
Хрипловатая запись, но голос окреп.

Где бы знойное лето меня ни застигло,
Я не выдам ни слов, ни поступков твоих.
Это все остается
вне замысла цикла,
Это жизнью зовется.
И тайной двоих.

ЮРИЙ КОБРИН

ПРОЩАЛЬНЫЙ РОМАНС

В Саду молодежи
на ветке рябины,
удравший из клетки,
сидит попугай.
Прижавшись к плечу,
мне шепнула: «Любимый,
ты птицы диковинной
не пугай».
...а снег замедляет
былое порошей,
и застит глаза
ледяною крупой.
«Ар-р-оша хор-роший...
Ар-р-оша хор-роший...»
Он желто-зеленый

и голубой!
Сидит попугай,
в леденец превращаясь,
некомнатный воздух
сквозит над рекой...
И я ухожу от тебя,
не прощаясь,
мы разной породы
птицы с тобой.
Горчит в подъязычье
застывшее слово,
гортань вымерзает
у соловья!
Прости, ларинголог,
за то, что сурово
все раны врачую
давно солью я.
Плечо отведу
и уйду от любимой,
к чему мне
диковинный попугай?
Отдай на прощанье
гроздь мерзлой рябины,
сказав: «До свиданья»,—
подумай: «Прощай...»
Вороны летают
в Саду молодежи.
По ком этот стон
и по ком этот грай?
Сторонний прохожий,
я все подытожил.
Что смотришь? Давай-ка
отсюда шагай...
Страна дорогая,
притихла ты что же?
Не строятся замки
на зыбком песке...
Снежинка слезою
стекает по коже,
и больно
на русском молчать языке.

ЧИТАТЕЛЬ·«СМЕНА»·ЧИТАТЕЛЬ

Наша почта о Чернобыле

Я внимательно ознакомился со статьей академика Л. Булдакова («Смена» № 24, 1989 г.) и, простите за нескромность, решил ему ответить. Мне пришлось работать на Ленинградской АЭС в то время, когда там постоянно светилось табло «надень респиратор». Помнится, приезжала иностранная делегация, о чем мы, работники ЛАЭС, узнали по выключенным табло. Когда они уехали, табло засветилось вновь.

У меня нижайшая просьба к академику: может, он откликнется на мою просьбу и убедительно, как в статье о Чернобыле, сумеет доказать, что и на Волге все прекрасно. Что Волга осталась красавицей, а если рыба сверху брюхом, так и при Петре I она так же плавала. И вообще, Б. Куркину классиков надо читать — «не верь глазам своим». Я поддерживаю вас, академик. А то ишь расписались...

С уважением,

священник

ДМИТРИЙ НЕСТЕРОВ,

с. Михайловка,

Волгоградская область

Уважаемый Борис Куркин!

Благодарю вас за честную, принципиальную оценку определенных событий, данную вами в статье «А Пушкин-то здесь при чем?» в № 24 «Смены». Вероятно, нужно мужество и ваше,

и редколлегии «Смены», чтобы так правдиво говорить со страниц журнала с людьми.

В статье «Об отвычивании и закручивании гаек» академик Л. А. Булдаков обвиняет вас в использовании слухов, домыслов, догадок, предположений. Я не против предположений. Но как получилось, что точные данные об угрозе здоровью и жизни народа скрываются? Кому-то страшно держать перед нами ответ? Замечание ошибок прошлого, слабый их анализ, вальяжное отношение к будущему сквозят в статье вашего оппонента. Позволю себе привести несколько цитат оттуда с некоторыми комментариями: «Здесь сразу две неправды. Во-первых, не было запоздального, а было заблаговременное выселение из г. Припяти». Простите, как я могу уважать человека, который так не уважает меня, читателя? И с переселенцами доводилось говорить, и за прессой следим. Зачем же так наплевательски относиться к правде? Цитирую далее:

«Но это препятствие для реализации основной идеи — дискредитации атомной энергетики. Так и думается, что раздастся еще один возглас: а где же трупы, трупы где? А их нет, вот ведь незадача. Такая авария

была, а население не умирает!» Не умирает?! А кто и где проводил анализ смертности за последние три года в сравнении с предшествующими Чернобылью? Кто хотя бы объяснил феодосийцам, что за дождь прошел у них летом 1986 года, после которого часть леса оказалась желтой и выжженной? Почему смородина и крыжовник тем летом достигли поразительных размеров?

В августе и сентябре я уплетала этот урожай со своего участка, угощала им маму, а уже в декабре верещала от диких болей в голове. В январе 1987-го мне откачали из пазухи 4 кубика кистовой жидкости, а снимок показал там еще и 3 полипа. В январе же меня оперировали. А в мае прошлого года моей маме удалили часть кишечника с опухолью. Приезжайте в нашу отдаленную от Припяти Феодосию и поинтересуйтесь здесь данными, которые простому смертному не дадут: рекордное количество умерших онкологических больных — вот что дал только в нашем курортном городке третий послечернобыльский год. А сколько вновь выявленных? Кто анализировал подобное? Никто! В таком случае пусть никто и не кощунствует в своих высказываниях насчет живучести населения. Очень оно поубавилось. Пусть на Гомельщине, к примеру, наши медики проанализируют состояние лимфосистемы детей и взрослых, чья жизнь уже устойчиво связана с попаданиями на больничную койку. Эти далеко не служки стали достоянием людей благодаря газетам и телевидению. А уважаемый академик преподносит очередную «истину»: «Поэтому медики и ратуют за са-

мую экологически чистую отрасль народного хозяйства. Именно во имя спасения следует радикально уходить от старых технологий к новым, какой является атомная энергетика. Можно сделать и другую оценку. За весь 45-летний период существования атомной промышленности и энергетики — а это самый трудный период становления — во всем мире от аварий погибло 69 человек. Реально нанесенного ущерба здоровью в связи с деятельностью АЭС во всем мире не найдено. Другой такой сберегающей здоровья отрасли, по-видимому, нет». Вот вам полное игнорирование страшного послечернобыльского горя людей, потери хлебобродных земель, психологической травмы в душе всего человечества. Как можно делать ставку на атомную энергетику, если еще не найдена надежная защита от нее? Когда создадут вакцину, способную вылечить при любой дозе облучения, быстро восстановить почву и водоемы, человек поверит в блага атомной энергии. Сегодня же оптимисты-ученые нас не убедят. По-моему, лучше быть разумным, предусмотрительным скептиком. Иной оптимизм смерти подобен, в чем мы уже убедились.

**Р. С. МАКСИМОВА,
Феодосия**

Мы внимательно следим за дискуссией в вашем журнале об оценке последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Хотели бы изложить точку зрения практических работников здравоохранения по поводу ряда положений статьи академика Л. А. Булдакова «Об отвинчивании и закручивании гаек» («Смена»

1990 год.
Белоруссия. Въезд в 10-километровую
зону ЧАЗС.
Фото
МИХАИЛА СЕРДЮКОВА



№ 24, 1989 г.), которые, на наш взгляд, вводят в заблуждение читателей. Возможно, нас обвинят в намеренном сгущении красок. Мы себе такую цель не ставили. Если так получилось, то только по вине ведомств, скрывающих полную информацию.

В статье В. Куркина «Кто отвинчивает гайки?» («Смена» № 13, 1989 г.) задается вопрос: почему медики защищают интересы Минатомэнергопрома? Уточним: не все медики, а те, кто работает в системе III Главного управления Минздрава СССР. Сюда же относятся Институт биофизики и его филиалы.

Атомщики и биофизики живут в комфортном симбиозе. Институт старается убедить общественность в необходимости реализации любых проектов Минатомэнергопрома, а министерство предоставляет институту «материал» для изучения действия радиации на человека, частично финансирует и обеспечивает льготами свое ведомственное здравоохранение.

Вся информация об отраслевой патологии, о заболеваемости людей, попавших под облучение в результате аварий, даже сейчас прячется в недрах Минатомэнергопрома и Минздрава. Специалисты III Главного управления присвоили себе право изречь «истины в последней инстанции» по поводу влияния радиации на внешнюю среду и здоровье человека.

Более того, названные ведомства поставили себя вне контроля со стороны территориальных органов государственного санитарного надзора, что позволяет им прятать концы в воду при инцидентах как регионального, так и союзного масштаба на предприятиях Минатомэнергопрома. Иначе для чего им, например, содер-

жать свою санитарную службу? Да, на каком-то историческом этапе этот монополизм был оправдан. Сейчас же он стал настолько реакционным, что начал тормозить развитие той же ядерной энергетики, которая его породила. Народ стал требовать запрещения строительства АЭС вообще.

Не потому ли этим ведомствам выдоден «свой» контроль, что он позволяет скрыть и заболеть на атомных предприятиях, и превышение радиоактивных веществ (РВ) в выбросах АЭС? Не потому ли заместители директоров ВНИИ АЭС Е. Ларин и Института биофизики Минздрава СССР академик Л. Булдаков утвердили «липовое заключение о якобы непригодности оптимизированного мониторинга, что позволило тому же третьему Главному управлению затормозить его применение, так как это позволяет опять-таки скрывать загрязнения РВ, обнаруживаемые этим методом. Ради этого вышеуказанные авторы идут даже на определенную фальсификацию. Фактов и документов на этот счет достаточно» («Социндустрия» от 13.12.89).

Любая попытка получить достоверную информацию расценивается ведомствами как посягательство на их монополизм, благополучие и вызывает ожесточенное сопротивление.

С этих позиций понятен смысл статьи академика АМН СССР Л. Булдакова «Об отвинчивании и закручивании гаек». Отвечая В. Куркину, академик пытается подменить предмет дискуссии, отодвинуть на задний план волнующую всех нас проблему. Уважаемый автор пишет: «Было установлено, что наряду с поражающими дозами существуют также дозы радиоактивных излучений и та-

кие количества РВ, которые не проявляют отрицательных влияний на организм». И далее развивает понятие о естественном радиационном фоне, его колебаниях в природе. Но это положение никто и не оспаривает! В процессе эволюции человек давно адаптировался к естественному радиоактивному фону.

А речь идет об искусственных РВ с различными классами радиотоксичности и разными периодами полураспада, которые образуются в результате производственной деятельности человека (ядерные взрывы, катастрофы и радиационные аварии на АЭС, сопровождающиеся выбросом РВ). А это уже далеко не благо, тем более что физико-химическое воздействие радиации является непороговым, то есть любая самая малая доза облучения может повредить человеку. И с этой точки зрения прямое отрицание Л. Булдаковым лейкозов и опухолей от дозы менее 50 бэр звучит некорректно. Конечно, никто еще не доказал беспороговую зависимость образования опухолей от такой дозы. Но никто и не опроверг эту зависимость.

Л. Булдаков уверяет: «Анализ мирового опыта изучения влияния радиационных излучений на организм показывает, что минимально значимая доза при кратковременном ее воздействии составляет 20—50 бэр, а при растянутом действии — 100—250 бэр». Для лучевой болезни это справедливо. Тут ее не будет. А как с генетическими последствиями?

В наших общесоюзных правилах записано, что при рентгенологических исследованиях беременных женщин доза не должна превышать один бэр за любые два месяца. Если плод получил свыше 10 бэр, врач обязан

предупредить пациентку о возможных последствиях и рекомендовать прерывание беременности.

В отношении же доз, полученных чернобыльцами, позволите усомниться, поскольку дозиметрия населения у нас не налажена. И те данные, которые приводит автор в своей статье, говоря об облучении в 30-километровой зоне, вызывают недоверие. Почему-то совсем не говорится про облученных «ликвидаторов», то есть людей, принимавших участие в ликвидации последствий аварии. А ведь всем им ставили дозы не более 25 рентген, даже при явном ухудшении состояния здоровья. Кому-то и как-то надо уйти от ответственности? Ни в коем случае не показывать Чернобыль причиной болезни? Да вот беда: шила в мешке не утаишь. (Все эти хитрости хорошо описаны в «Правде» от 25 января 1990 года.) Незавидную роль взяло на себя III Главное управление Минздрава СССР. Кого же оно действительно защищает?

Далее академик Л. Булдаков пишет: «Н. В. Тимофеев-Ресовский и его ученики получили абсолютные доказательства стимуляции роста растений, увеличения их продуктивности, а у экспериментальных животных увеличивалась средняя продолжительность жизни». Все верно! Есть такие факты. Но сегодня очевидно и другое. Нельзя полностью переносить на человека данные, полученные на экспериментальных животных! Даже с учетом различных математических приемов (особенно в области доз, которые Л. Булдаков рекомендует считать безвредными, — менее 20—25 бэр).

К сожалению, из-за недостатка информации мы не можем говорить с сотрудниками Института биофизики на рав-

ных. Нам неизвестно, сколько людей облучилось в Чернобыле. Эти данные опять же в монопольном владении III Главного управления Минздрава СССР и Минатомэнергопрома. Что ж, раз информация намеренно скрывается, мы вправе сделать грубую прикидку.

Население 30-километровой зоны, других территорий Украины и Белоруссии; добровольцы, участвовавшие в ликвидации последствий аварии; люди, привлеченные в принудительном порядке (военнослужащие и призванные через военкоматы на «сборы»). Набирается не одна сотня тысяч. Сколько заболело? Секрет... Зато четко прослеживается установка Минздрава СССР для врачей общей лечебной сети, запрещающая связывать появившиеся заболевания «ликвидаторов» с радиоактивным облучением. Особо запрещается ставить диагноз «лучевая болезнь» даже при ее явных признаках. Об этом свидетельствуют «Письма о жизни и смерти» в газете «Советская культура» от 14.12.1989 года. На этом фоне утверждение вице-президента АМН СССР академика Л. А. Ильина и его заместителя по Институту биофизики Л. А. Булдакова о том, что не будет раковых заболеваний, генетических последствий, лейкозов, весьма сомнительно.

Защищая атомную энергетику, Л. Булдаков пишет: «Так и думается, что раздастся еще один возглас: а где же трупы, трупы где? А их нет, вот ведь незадача. Такая авария была, а население не умирает». Может быть, по мнению академика, трупы должны лежать на всех улицах, чтобы признать размеры бедствия? А то, что в Минском гематологическом центре дети умирают от лейкозов (репортаж программы

«Взгляд» 16 декабря 1989 года), — это мелочи, не тот масштаб?..

Л. Булдаков ссылается в своей статье на автора «Чернобыльской тетради» Г. Медведева. Сошлемся и мы: «Чернобыльский реактор выбросил в атмосферу 50 тонн радиоактивной массы. Бомба на Хиросиму дала 4,5 тонны радиоактивной массы». И вот тут мы можем полностью согласиться с академиком в том, что не мнение отдельных специалистов, пусть даже выдающихся личностей, и не мнение большинства, которое может быть ошибочным, является критерием истины, а практика и только практика! Так насколько же убеждены в том, что Чернобыль не даст заметного увеличения онкологических заболеваний, генетических последствий, наши ученые?

Уже сегодня можно сказать, что события после чернобыльской аварии развиваются по классической схеме. Результаты обследования людей, переживших бомбардировку Хиросимы и Нагасаки, дали следующие практические выводы.

После двухлетнего скрытого периода развиваются лейкозы, достигая максимума через 6—7 лет. Через 25 лет их уровень возвращается к исходному. Сплошные опухоли начинают развиваться через 10 лет после облучения, достигая максимума через 30 лет. (Из книги «Радиация, дозы, эффекты, риск». Перевод с английского. Москва, «Мир», 1988 г.)

Следуя этой схеме, можно примерно представить, во что выльется Чернобыль. С 1989 года должны появиться больные лейкозом — это мы сегодня и наблюдаем. Максимум больных лейкозом нужно ожидать к 1993 году, и только к 2011 году их количество должно прийти

к прежнему уровню в этой группе облученных.

К 1998 году нужно ожидать начала развития раковых заболеваний и максимальный их подъем лет через 35—40, затем последует спад.

С этой точки зрения не совсем понятно заявление академика Л. Ильина: «Чернобыльский опыт основательно проанализирован, и мы надеемся, что это может возродить доверие к мирному атому». Увы, нужно много лет, чтобы до конца проанализировать этот опыт. Поэтому сегодняшние ученые ничем не рискуют, заявляя о «безвредности» чернобыльской аварии...

Атомные ведомства должны работать под контролем единого государственного санитарного надзора, не зависящего ни от кого. Это единственный путь, который может возродить доверие к АЭС. Фальсификации, утаивание информации неприемлемы и принесут еще больше вреда.

Пусть нас обвинят в непатриотичности, но в отношении биологических эффектов мы больше склонны верить зарубежным ученым, чем нашим. Видный американский ученый-атомщик К. Морган сказал: «В настоящее время стало очевидным, что не существует такой малой пороговой дозы ионизирующего излучения, которая была бы безопасной или риск заболеть от которой (даже лейкозом) был бы равен нулю... За последние 10—15 лет новые данные показали, что риск раковых заболеваний людей под воздействием радиации в 10 и более раз выше, чем мы считали в 1960 году, и что не существует безопасной дозы».

В. ЧИРКИН, С. КОЗЛОВ,
врачи по радиационной гигиене
Челябинской областной
санэпидстанции

В материале Б. Куркина «А Пушкин-то здесь при чем?» содержится грубое искажение действительности.

Со ссылкой на Г. У. Медведева («Новый мир» № 6, 1989 г.) автор пишет: «...6 мая 1986 г. на пресс-конференции в Москве Ю. Израэль, Ю. Седунов и Б. Щербина занизили уровень радиации аварийного блока в миллион (!) раз». (Кстати, даже последовательность фамилий Б. Куркина изменена. И, хотя он и ссылается на Г. Медведева, Ю. А. Израэль поставлен почему-то на первое место.)

Не вдаваясь в полемику относительно цифр и терминологии, сообщая:

— первое: Госкомгидромет СССР не осуществлял измерений в районе энергоблока на ЧАЭС, на территории самой станции и в г. Припяти, здесь измерения осуществляли дозиметристы ЧАЭС, физики-атомщики и военные (Госкомгидромет СССР осуществлял и осуществляет измерения на всей территории СССР за пределами этих объектов);

— второе: я вообще не присутствовал на указанной пресс-конференции, которая действительно состоялась в Москве 6 мая 1986 года в пресс-центре МИД и была посвящена чернобыльской трагедии, а следовательно, не мог делать на ней каких-либо заявлений.

(Кстати, на данной конференции вообще никем не назывались уровни радиации в районе аварийного энергоблока.)

Начиная с 30 апреля 1986 года я непрерывно работал в Чернобыле с выездами в Киев (где располагались самолеты-радиометристы Госкомгидромета СССР) и первый раз с коротким докладом выехал в Москву лишь 14 мая, после чего снова вернулся в Чернобыль.

И еще об одной цифре в

статье Б. Куркина: «суммарный выброс продуктов деления (ПД) в Чернобыле составил 3,5 процента общего количества радионуклидов в реакторе...» — автор ставит под сомнение это значение, предъявляет в связи с этим претензии ряду экспертов, в том числе и Ю. Израэлю.

Все зависит, как считать — от килограммов ли всего «ядерного топлива» в реакторе или общей радиоактивности. Автор ведет счет (ссылаясь на Г. Медведева) от всего «ядерного топлива», включая изотоп уран-238, практически не участвовавший в реакции деления (его было в реакторе около 200 тонн). (Остается неясным, как определил Г. Медведев количество этого вещества, выброшенного за пределы реактора.)

Госкомгидромет СССР с помощью специально оборудованных самолетов и вертолетов и путем наземных измерений определил, что доля радионуклидов, выброшенная за пределы площадки АЭС и осевшая на территории СССР, составляет около 3,5% по радиоактивности, а точнее, по энерговыделению этих радионуклидов (мегаэлектронвольт в сек.) в пересчете на 5 мая 1986 года (кроме радиоактивных благородных газов, которые вышли целиком), то есть оценка проводилась по степени опасности возможного облучения этими радионуклидами. Цифра 3,5% — осредненная по всем радионуклидам (по энерговыделению); выход некоторых из них, например, изотопов летучих элементов: йода составил более 20%, цезия — около 15%, некоторых тугоплавких элементов составил менее 3,5% (детали имеются в технических документах, они опубликованы). Цифру 3,5% (от общей радиоактивности по ее энерговыделению) вещества, осевшего на территории СССР за пределами

площадки АЭС, мы вновь подтверждаем.

Не буду останавливаться на других неточностях статьи, касающихся компетенции Госкомгидромета СССР и посящих в основном эмоциональный характер.

Однако в связи с серьезностью предъявляемых мне обвинений и грубым искажением фактов, содержащихся в опубликованных вами материалах, я рассчитываю на вашу соответствующую реакцию и публикацию моего письма в ближайшем номере журнала «Смена».

Ю. А. ИЗРАЭЛЬ,
председатель Государственного
комитета СССР
по гидрометеорологии

Не думал, что придется возвращаться к теме Чернобыля еще раз на протяжении короткого времени.

Как справедливо отметил т. Израэль, я лишь процитировал Г. У. Медведева. Из материалов о двух пресс-конференциях, посвященных Чернобылю, состоявшихся в Москве соответственно 6 и 9 мая 1986 года (см. «Правда», 7.05.86), невозможно было установить, присутствовал ли т. Израэль в те дни в пресс-центре МИД СССР. Но это не играет никакой роли, ибо те сведения о радиационной обстановке, которые сообщались на обеих пресс-конференциях, подготавливались Госкомгидрометом, которым руководил и руководит Ю. Израэль. А на пресс-конференции присутствовал его заместитель т. Седунов. И если т. Израэль не опроверг эти сведения, разглашенные, согласно его утверждениям, в его отсутствие, то, стало быть, несет за них прямую ответственность.

Тов. Израэль пишет, что на конференции «вообще не называ-

лись уровни радиации в районе аварийного энергоблока». Так ли это? Читаем: «Повышенные уровни радиации отмечались на территории, прилегающей непосредственно к месту аварии (надо полагать, к месту разрушенного энергоблока.— Б. К.), где максимальные уровни радиации достигали 10—15-миллирентген в час» («Правда», 7.05.86). Однако Ю. Израэль должно быть хорошо известно, что в ряде точек г. Припяти, например, у здания горкома партии, то есть на территории, непосредственно прилегающей к месту аварии, уровень радиации достигал 1,5 рентгена в час. Так что, как это ни прискорбно, но искажения в цифрах «имели место быть» и ответственность за это в полной мере несет и т. Израэль.

Ю. Израэль утверждает, что Госкомгидромет не осуществлял измерений в районе энергоблока, на территории самой станции и г. Припяти. Хотелось бы знать в этой связи, где кончаются пределы тех объектов, за которыми не ведет наблюдения ведомство т. Израэля? За пределами 30-километровой зоны? А кто установил эту зону? И почему именно 30 километров, а, скажем, не 25, 37 или 59 километров? И с какой целью представители ведомства т. Израэля присутствовали на пресс-конференциях, если они в зоне действия ничего не измеряют и ни за что не отвечают?

Отчего я поверил Г. Медведеву, а не правительственным экспертам? Поверил ему я потому, что Г. У. Медведев — человек в атомной энергетике отнюдь не посторонний. Он проработал более 20 лет в системе Минсредмаша и знает это ведомство изнутри. А чтобы написать и опубликовать «Чернобыльскую тетрадь», требова-

лось изрядное гражданское мужество, которого столь многим не хватает.

Основания же для недоверия официальным источникам относительно чернобыльской катастрофы у меня имелись, и притом весьма основательные.

Так, во втором правительственном сообщении об аварии на Чернобыльской АЭС, в частности, говорилось, что она привела «к некоторой (! — Б. К.) утечке радиоактивных веществ... В настоящее время радиационная обстановка на электростанции и прилегающей местности стабилизирована» («Известия», 1.05.86).

Напомним, что окончательно реактор был «погашен» лишь 11 мая, так что радиационная обстановка день за днем ухудшалась за счет непрекращающихся выбросов и уж никак не могла быть «стабилизирована» к моменту опубликования сообщения. И это все говорилось о событии, квалифицированном спустя четыре года Государственной экспертной комиссией Госплана СССР как «крупнейшая катастрофа современности», «глобальная катастрофа».

Теперь непосредственно к делу, то есть к вопросу о количестве радиоактивных выбросов из чернобыльского реактора.

Оспариваемая мною (и не только мною) цифра 3,5% продуктов деления (ПД) действительно взята из отчета правительственной комиссии, подготовленного для МАГАТЭ в августе 1986 года и опубликованного в весьма урезанном виде в ноябрьском (того же года) номере журнала «Атомная энергия».

Хотелось бы обратить внимание т. Израэля на то, что «3,5%» рассчитаны на 6 мая 1986 года, а реактор продолжал гореть, хотя и с меньшей ин-

тенсивностью, до 11 мая. На Международном совещании по безопасности АЭС, состоявшемся в ноябре прошлого года в Дагомесе, оценки чернобыльской катастрофы, данные иностранными специалистами, отличались от официальных советских в 1,5—2 раза. При этом данные, опубликованные в 1986 году Ливерморской лабораторией, согласно которым во внешнюю среду поступило 80 миллионов кюри (МКи) различных радионуклидов (против наших 50 МКи), были получены путем простого арифметического сложения показателей радиоактивности, приведенных советскими экспертами и экспертами западноевропейских стран. Об этом сообщила мне известный британский радиоэколог Э. Эпсаймон.

Все это тем более примечательно, если учесть, что к моменту написания доклада экспертами правительственной комиссии была определена лишь часть радиоактивной зоны, в основном непосредственно вокруг АЭС; не был определен основной район заражения, находящийся в Белоруссии, на который выпало около 60% радиоактивности. Как отметил Председатель Совмина Белоруссии М. В. Ковалев («Правда», 11.02.89), «последние углубленные обследования показали, что территория республики загрязнена радиоактивными осадками в больших размерах, чем предполагалось», не были известны радиоактивные выпадения практически во всей Европе, обнаруженные в более позднее время, — хотя и незначительные по концентрации, но существенные по суммарной «мощности».

В то время, когда лихорадочно писался доклад экспертов правительственной комиссии, не были известны и зоны радио-

активного заражения в Брянской, Тульской, Калужской, Орловской областях, в Краснодарском крае, Сухуми, Прибалтике.

Уже только поэтому можно категорически утверждать, что перечисленные в докладе МАГАТЭ данные совершенно не отражают масштаба выброса радиоактивности из реактора. Да и как можно верить в выброс только 3,5% ПД, если на месте активной зоны образовался кратер диаметром 20 метров и глубиной 4 метра, а обломки твэлов и циркониевые трубы, куски графита были разбросаны на расстоянии многих десятков метров, а также на крыше реакторного и турбинного блоков.

Иными словами, готовившийся в спешке доклад правительственной комиссии был направлен почти исключительно на преуменьшение масштабов катастрофы и выбросов активности. Это отмечается в статье профессора Ю. Корякина, опубликованной во втором номере журнала «Коммунист» за этот год, а также в заключении Государственной экспертной комиссии Госплана СССР, возглавляемой академиком Н. Моисеевым, в которую входили также и представители Госкомгидромета, подписавшие ее итоговый документ. В нем, в частности, говорится о том, что «на сегодня не известны масштабы загрязнения территории стронцием, плутонием, горячими частицами. Недостаточна и более детальная информация по цезию». В заключении комиссии отмечается также, что «слабо представлена информация по стронцию-90 и совсем нет — по плутонию-239». А ведь ответственным за предоставление государству информации о загрязнении является Госкомгидромет.

Любопытно узнать у т. Из-

разля, как может он настаивать на цифре «3,5%», если не знает, сколько выпало плутония, и при этом имеет лишь приблизительное представление о количестве выпавшего стронция?

Теперь о плутонии. Ю. Израэль не оспаривает цифру в 500 килограммов плутония, покинувших активную зону реактора, о чем говорил академик Е. Велихов (см. «Новый мир» № 6, 1989 г., стр. 91). Если знать изотопный состав выгружаемого топлива (а он приводится в отчете МАГАТЭ — до 5 килограммов плутония на тонну топлива), то нетрудно убедиться, что образование 500 килограммов плутония возможно при выгорании 100 тонн ядерного топлива. Следовательно, активную зону реактора покинуло минимум 100 тонн ядерного топлива, не считая нескольких сотен тонн графита, ставшего также источником сильнейшего радиоактивного загрязнения. Это подтверждает выводы Г. Медведева о выбросе из реактора более 100 тонн топлива.

Попытка же т. Израэля провести различие между выбросом ядерного топлива, включающего в себя не участвующий в реакции деления уран-238, и выбросами ПД совершенно несостоятельна.

Даже студентам, изучающим курс реакторной техники, известно, что подавляющая часть ПД скапливается под оболочкой тепловыделяющего элемента (твэла) и удерживается этой оболочкой. Выброшенный из реактора твэл, будучи хотя бы частично разрушенным, высвобождает все ПД. Тем более если выброшенное топливо представляет собой оголенный уран, что и имело место при аварии. Поэтому можно с достаточной уверенностью ставить знак равенства между количеством вы-

брошенного из реактора раздробленного и оголенного ядерного топлива с практически полным выделением из него летучих радиоактивных ПД.

И для того, чтобы знать это, не нужно иметь академическую степень; эти сведения можно почерпнуть в обширной популярной ядерно-энергетической литературе.

Госкомгидромет занижал и засекречивал всякую информацию о радиационной обстановке в зоне чернобыльского бедствия и по стране в целом. А опубликованная через три года после катастрофы карта радиационного загрязнения территории есть не что иное, как насмешка над читателем, ибо в ней, например, отсутствуют данные по стронцию и плутонию.

И последнее. Неужели т. Израэль полагает, что тяжесть чернобыльской трагедии уменьшится от того, что будут с точностью до полупроцента учтены данные о выбросе активности? Увы, т. Израэль и другие продолжают упорно отстаивать ложные утверждения, ссылаясь на прежние лукавые отчеты, обусловленные страхом перед ответственностью и желанием не огорчать наше правительство.

Думается, все эти специалисты могли бы найти более достойную форму приложения сил в борьбе с чернобыльским бедствием, а именно: обратить внимание на материалы экспертной подкомиссии и постараться выполнить все из огромного перечня мероприятий и первоочередных мер, предусмотренных для оказания помощи нашим страждущим соотечественникам.

БОРИС КУРКИН,
кандидат юридических наук



1941-1945

Г. ЗЕЛМА.
Горит хлеб...





Г. ЗЕЛМА.
Минута затишья.

Г. ЗЕЛЬМА.
Смертный час.





М. САВИН.
Конники генерала Белова.





Г. ЗЕЛМА.
Письмо домой.



Г. ЗЕЛМА.
У Волеи...




ДМ. БАЛЬТЕРМАНЦ.
Для души.



М. САВИН.
Капитуляция немецких войск.







Я. РЮМКИН.
Майданек. Июль 1944 г.



ДМ. БАЛЪТЕРМАНЦ.
Отвоевались...



*М. САВИН.
Сын партизана. (Белоруссия, июль
1944 г.)*





ВНИЗ.

АНДРЕЙ БЫЧКОВ

ВВОДЯ

Когда Маша уехала, он долгое время думал, что ему остались лишь одни интерьеры. Она никогда не обращала на них внимания, и, может быть, это и было причиной их разрыва. Маша чувствовала, что все остальное он считает игрой, и злилась. А он ничего не мог с собою поделать.

Теперь Незванный понял, что интерьеры всего лишь странность жизни, обстоятельства места, но радость... Когда он зимним вечером вдруг осознал это и, поспешно надев пальто, вышел на улицу, шел снег. Он спустился в метро и заговорил с женщиной, стоящей в ожидании поезда. Он слышал, как в разговоре с подругой на автобусной остановке она назвала район ВДНХ, и спросил, как проехать на ВДНХ, но сел в другой вагон, потом обогнал ее, оглянувшись на переходе. И в третий раз, уже на эскалаторе, сказал, что все это очень странно, и предложил зайти вместе в какое-нибудь кафе. Она покачала головой, и про себя он отметил, что в ней есть что-то от фламинго. Он предложил встретиться завтра, на этом же месте в шесть вечера, и она согласилась.

Тогда Незванный вернулся домой, сел в кресло, а потом встал и сварил себе черный кофе.

После того как Маша бросила мужа, ей пришлось очень много разговаривать. Она не хотела, чтобы говорили то, что ее окружало (ведь от этого она и бежала), и заводила все новые и новые знакомства. Общение с курортной публикой научило ее высказывать вперед слова, выражающие прежде всего собст-

венное мнение. Так можно было чувствовать себя независимо.

Но постепенно она начала догадываться, что, может быть, поэтому с ней ничего и не происходит. «С женщиной всегда что-нибудь да происходит,— смеялась, угадывая ее беспокойство, соседка по комнате.— Расстегнется пуговица на блузке, выбьется прядь, наконец, может и соринка в глаз залететь». Они смеялись.

На пляже Маша лежала лицом вниз. Мужчины обычно знакомились с ней в очереди за квасом. Пожилой полковник, водопроводчик, теннисист в майке с изображением самолета. Но после первых же фраз она вздыхала про себя: «Не мой». Оглядываясь с тоской, но все же соглашалась пойти на танцы или поехать в Ялту. Но из этого ничего не вытекало. «Почему я ни с того ни с сего должна их целовать, ведь это же не мой». Так прошел отпуск. По дороге в Москву, глядя часами, как подымается и опускается провод за окном, на перевернутую в капле дождя станцию, на пыль, она думала, что, наверное, вела себя с мужчинами неправильно.

Маша вернулась в Москву и жила в основном у подруги, собираясь весной уволиться с работы, уволиться и переехать к тетке в Ленинград.

Дня через три после того случая Незванный снова спустился в метро. Познакомился, назначил свидание и снова не пришел. Он понимал, что это в общем-то довольно глупо и в его возрасте имело смысл делать один раз, но через неделю яркое солнце ослепило его на улице и что-то снова толкнуло к полутемному входу. У него и в мыслях не было, что он может встретить Машу. Конечно, такая возможность от бога существовала, но в книге он прочел, что бог умер, а значит, умерла и возможность.

На выходе из метро Незванный купил свежую газету и развернул ее здесь же, у киоска. Он все еще видел перед собой женщину, которой только что назначил свидание, ее испуг, непонимание и неожиданное согласие, словно она вдруг заметила отблеск того, другого Незванного, сидящего вечером в кресле (так думал он, глядя поверх страницы).

Но налетел злорадный порыв ветра, вырвал газету, и она полетела через разреженную толпу к стоящему на углу инвалиду. Тот стоял на одной ноге, придерживая костыли крест-накрест, и смотрел.

Когда бумага налетела на его лицо и, празднично шурша, стала его как бы обергивать, инвалид закричал: «Какое вы имеете право!» Потом начал бить газету костылями. Незванный добежал до угла и стал извиняться, помогая инвалиду. Они решили пойти выпить вместе пива.

В пивной Незванный сказал инвалиду, что его бросила жена. Но он рассказывал одно, а видел совсем другое. Он говорил, что она заставляла его клеивать окна и мыть посуду, а сам вспоминал, как однажды, когда он сидел и смотрел на гитару, она случайно обрызгала его водой, которой поливала цветы,

и целовала его мокрое лицо, и смеялась. Он жаловался, что она обожает кино и не читает книжек, а слышал упругое чиканье ножниц, волшебное прикосновение пальцев, когда она причесывала его или стригла, прижимаясь к нему скользкой блузкой, под которой дышало ее тело. Он ругал ее неразборчивость и неразвитость вкуса, но видел, как она кружилась в плиссированной юбке на дне рождения у двоюродной сестры. Все перестали танцевать и смотрели только на нее. У Маши закружилась голова, она упала и долго, смеясь, лежала на диване. Потом, в такси, пока шофер вызывал по радию таксопарк и внушал напарнику, чтобы его обязательно подождали, она незаметно примеряла фуражку шофера (Незванный не видел) и вдруг выкинула ее в окно; из-за этого были неприятности.

Инвалид молча прихлебывал пиво. Потом выковырял из воблы пузырь и начал плавить его на спичке.

Незванный что-то еще говорил про сережки по тридцать копеек, которые она покупала в табачных киосках. И вдруг он стал так сам себе противен, что схватил инвалида за пальцы и начал дергать, жадно прося:

— Ударь меня. Ударь меня. Ударь меня.

— Ты сам себя ударил,— сказал инвалид. Он разложил костыли, прислоненные к стойке, и пошел к двери, переставляя новые желтые палки костылей, тяжело перепрыгивая через собственную тень.

Незванный долго еще смотрел ему вслед сквозь призму опустевшей кружки, пока кто-то не тронул его за плечо:

— Эй, ты чего?

Он вышел на улицу, закрыл глаза и увидел, как Маша случайно задевает за чайное блюдце, блюдце разбивается, и она плачет, как ребенок. И увидел себя, часами сидящего в кресле после работы, невозмутимо разглядывающего альбомы по искусству.

Маша родилась в деревне Поречье, недалеко от города Калынина, что стоит на реке Волге. Через Поречье тоже течет река, которая называется Нерль. В детстве Маша пила воду прямо из Нерли, ложась на мостки животом и опуская голову. В школе она училась хорошо, и ее отпускали в город смотреть на затопленную церковь, после чего она крутила с городскими девочками прыгалки, растягивая их поперек улицы.

Вечерами Маша любила сидеть у огня. Приходил дачник Степан Ильич, спрашивал: печку топят, чтобы было тепло, да, Маша? Но она обычно не отвечала, только тарасила огромные глаза, подбирая под себя угловатые в коленках, длинные ноги. Зачем спрашивать, ведь ясно и так. Это для него, для Степана Ильича, топят печку, чтобы было тепло, а для нее бросают поленья в огонь просто потому, что это так.

Она думала, что все есть так, как есть, и ей всегда становилось скучно, когда задавали вопрос «почему».

Однажды, классе в пятом, один бойкий мальчик (он приехал на каникулы, и у него был настоящий танкистский шлем) предложил ей слазить на колхозный чердак. Переставляя сан-

дали с переладины на переладины, она уже боялась, что спускаться будет куда как труднее, но все-таки желание посмотреть, что там, наверху, пересиливало. На чердаке бойкий мальчик напал на нее, сжав ей шею захватом, и повалил. Он больно держал за косы, но вдруг отпустил, стал нашептывать что-то ласковое и расширяющее. Она почувствовала, будто ее опускают в горячую ванну и внутри у нее начинается пронзительный огонь. Она лежала неподвижно, как рыба. В зрачок цедила тоненькая нитка света. Маша брыкнула, как-то выхватилась, разбила мальчишке коленкой лицо и поползла в темноте дальше, плача и натываясь ртом на солому.

Она никогда не признавалась себе, что тот дрянной мальчишка приоткрыл в ней нечто сродни чувству чудесного, о котором рассказывают в сказках.

И потом, уже в Москве, проникая во взрослую жизнь, Маша пыталась разделить то хищное, временами обманчиво ласковое, часто грубое, что видела теперь в каждом мужчине, и то чувство чудесного, которое несли с собой эти мужчины, несли, не замечая его, не оглядываясь. Она хотела, разделив, утопить, спрятать это хищное, как спрятано лезвие в перламутровой ручке ножа, и тогда его можно легко и приятно трогать, можно играть.

118 Был скульптор (он звонил потом целый год), и был милиционер. Но и у того, и у другого душа и тело существовали отдельно. Маша была вся одно. Они хотели ее тела, а она не понимала, почему так. Ей было их не то чтобы жалко, а жаль. Она думала: не все ли равно, кто тебе купит мороженое, и позволяла приглашать себя в кино. Но знала, что кто-то настоящий давно уже ищет ее, была уверена, что так она тоже помогает ему искать себя. И вглядывалась в жестокие лица мужчин, в электрические лица юношей на улицах и в кинотеатрах, в автобусах и в трамваях и не боялась отвечать на вопросы.

— Хотите пепси, Маша?

— А откуда вы знаете, что я Маша?

— Мне сказали.

— Кто вам сказал?

— Вон та женщина в синих чулках.

— Но я ее совсем не знаю.

— А она вас знает и сказала мне, что вас зовут Маша.

— Странно.

— Ничего не попишешь.

— А вы кто?

— Моя фамилия Незванный.

— Вы артист?

— Нет, но сегодня я очень устал.

— Устали?

— Да. Я копал землю.

— Странно.

— Да, знаю, но дело не в этом. Иногда хочется покопать землю.

— Я что-то совсем не хочу газированной воды.

Он рассмеялся:

— Да что вы так испугались? Я куплю вам пепси и уйду. Не думайте, мне от вас ничего не надо. Вы меня больше никогда не увидите. Верите? Просто я шел по улице и подумал, если эту девушку зовут Маша, то куплю ей пепси, вот и все.

— Вы же говорили, Незванный, что вам сказала та женщина в синих чулках. Как же вам верить?

Он растерялся:

— Никак...

Она чуть помедлила и добавила:

— А меня зовут совсем не Маша.

— Не Маша?

— Да, не Маша, и все. Вы не угадали, Незванный. Прощайте, купите себе лучше пива.

Маша повернулась и пошла. Но ей вдруг стало ужасно интересно: он такой высокий и загорелый, ему идет рубашка в синюю клетку, и волосы приятные. Как жаль, что она уходит все дальше и дальше. А у него такая артистическая фамилия. Зачем он так сразу? Спросил бы, сколько времени или как проехать туда-то, как они все это делают. О, как жарко! Как хочется пить! А ведь он, наверное, очень хороший.

— Я, действительно, очень хороший.

Маша вздрогнула. «Пунцовая вся, как слива». Незванный шел рядом, облизывая пломбир.

— Извините,— сказал он.— Вы не скажете, сколько времени?

«Еще три шага, и все».

— Сейчас пять минут второго.

Он хотел еще что-то спросить, но она перебила:

— Меня на самом деле зовут Маша. Только не приглашайте меня, пожалуйста, пить вино, и в кино сейчас не надо.

Незванный рассмеялся:

— Пойдемте тогда в пушкинский?

— Парк?

— Нет, музей.

— А, там книги?

— Нет, картины.

— Картины? — удивилась Маша.— Ну хорошо, пойдемте. Только купите мне все-таки пепси.

В своей комнате Незванный был совсем не такой, как на улице, и даже немножко не такой, как в этом музее, где больше всего ее поразили не картины и не его объяснения, а то, что он непременно хотел дожждаться конца сеанса и посмотреть лицо какого-то кардинала при выключенном электрическом свете. А сейчас Незванный сидел и молчал, как будто ее не было в комнате. На мгновение Маше показалось, что он сидит как слепой. И она начала торопливо рассказывать, как заняла первое место на лыжных соревнованиях в десятом классе. В тот первый вечер он был очень сдержан, но в его сдержанности она почувствовала силу желания.

Потом Незванный часто приходил к ней в парикмахерскую. Она работала у окна и узнавала его по ботинкам, когда он, перед тем как войти, останавливался. Один раз он присел на корточки,

опустил голову и заглянул, улыбаясь, как в аквариум. Но она попросила его больше так не делать.

У него были мягкие, пышные волосы, как будто газированные. Они не были похожи на шапку, но хорошо ложились, и стричь их было приятно. И голову он поворачивал так, что было очень удобно. Незванный заказывал самую дорогую стрижку, потому что она была самая долгая. Маша смеялась и отказывалась. Тогда он говорил: «Сделайте, как в прошлый раз, только чуть короче». В парикмахерской он разговаривал с нею на «вы» и был совсем не такой, как в комнате. Он рассказывал что-нибудь смешное или молчал, слушая, как позванивают в руках у Маши ножницы. Маша не понимала, почему он ходит к ней в парикмахерскую и больше не приглашает домой или в кино, но ей так тоже нравилось.

Это продолжалось почти месяц, пока мастер Спиридонов, жирный, который везде кричал, что у него диплом третьей степени с московского конкурса шестьдесят четвертого года (говорили, он приобрел его за две тысячи), не сказал ей в лицо: «Машуня, а ведь он тебя покупает». Она ударила Спиридонова наотмашь и разлила одеколон. На следующий день ее уволили. Когда пришел Незванный, его коротко уведомили, что здесь она больше не работает, а где — неизвестно. Он обошел почти два десятка парикмахерских, прежде чем нашел Машу. Она стояла неподвижно, как в булочной, и мыла голову женщине, похожей на бобра, которая все время щелкала сумочкой под простыней. Маша, не здороваясь, попросила Незванного уйти и больше с ней не встречаться. Он спросил, в чем дело. Она ничего не сказала и снова намылила голову женщине. Тогда Незванный сделал Маше предложение. Руки ее задрожали, а женщина с намыленной головой сказала: «Ответьте ему, не стесняйтесь, мне не холодно», — и перестала щелкать сумочкой.

Они прожили ровно два года, ни больше ни меньше.

Теперь Маша лежала на спине и смотрела в стену (эти несколько месяцев после развода пролетели очень быстро). А Незванный стоял на выходе из пивной совсем в другом районе, у Киевского вокзала.

Я пролетал в этот час низко над городом и видел. Только я мог видеть их, и его, и ее одновременно.

В комнате подруги, где лежала на диване Маша, было сильно накурено. Вещи, в основном пустые коробки из-под импортной обуви, в беспорядке были разбросаны где попало, даже спички, целые, с нерасчирканными головками, не были убраны с пола. Маша лежала и думала: если ничего не трогать, то все, наверное, рано или поздно разрушится само, и тогда начнется то новое, ради чего еще стоит жить. Но вдруг она поняла, какая это страшная неправда, хитрая неправда, которая хочет превратить ее в ее бывшего мужа, чтобы что-то доказать нарочно. Она заплакала, и слезы заставили ее рывком сесть на постели. Она размазывала их, радуясь, что они горячие, улыбалась, что-то шептала. И, продолжая плакать, вымыла пол. «В доме нет ни на зуб. Ленка после работы не успевает», — подумала Маша и собралась в магазин. Когда она надевала пальто, из кармана выпала записная книжка. Маша записывала туда телефоны

мужчин, с которыми знакомилась последнее время. Зачем записывала — она не знала сама. Просто Ленка посоветовала, мало ли что. Но мужчины, хоть и разные, были по-прежнему все не ее, слишком откровенные и с тем же одиночеством в глазах, как и у ее бывшего мужа, только прикрываемым деньгами и болтовней. Да, конечно, они развлекали, водили в кино, в рестораны, четверо из них могут похвастать, что наслаждались ее телом (что делать, иначе нет смысла играть в игру). Но вдруг она поняла: это все забвение, а не время, это радость, как кино, как вино, а интерьеры, они приближаются, пусть хотя бы и в перерывах. И, чтобы было не так, а по-другому — Маша теперь знала как, — она открыла дверь, бросила книжку в белую блестящую раковину и нажала рычаг. Маша вышла на улицу, зная, что сейчас встретит мужчину и тогда... Не важно, кто он будет, этот мужчина, она даже не спросит его имени, потому что знает теперь, что для нее самое главное.

Я летел над городом и не двигался. Я замер, сложив за спиной крылья крест-накрест, и в то же время неся подобно болиду. В перистых облаках я слышал, что говорил мне Голос, но ждал, скользил и снижался, все еще надеялся, что это будет он, Незванный. Но он стоял по-прежнему, застыв в двух шагах от пивной, глаза его были бессмысленны, и в них двоилось отражение светофора. Голос говорил: «Оставь Незванного. Время остановилось для него. Время для него теперь пачка перетасованных фотографий. Его судьба такая. В этом нет ничего плохого. Ведь нет ни хорошего, ни плохого. Но даже и это равным счетом ничего не значит. Не надо пытаться узнать, что с ним будет дальше». Голос усмехался: «Ты можешь лететь над городом и не двигаться, но посмотри, как она быстро идет в магазин». А я все еще медлил. Я видел, что еще чуть-чуть, и это будет колбасник, а он ничем не лучше тех, кто был у нее раньше, он даже хуже, хуже того Спиридонова, и дело даже не в том, как купил он свои «Жигули», и даже не в том, что у него потные руки, а в том, что он сам колбаса, с головы до ног и в душе. А Голос говорил: «Нет ни хорошего, ни плохого, и возвышенного больше нет. Оно осталось там, в девятнадцатом веке, а может, и раньше, до того кощунственного акта, когда Тревитик изобрел паровоз. Что тебе до Незванного, до его платонических развлечений, до его внутренней чистоты, до его альбомов по искусству, до его тонких блестящих слез над сороковой симфонией Моцарта? Его коллекция — ничто перед той пирамидой несовершенных фотографий, в которых осталась его жизнь. Теперь ему дан последний, самый дорогой альбом, который он может перелистывать вечно, не сходя с того самого места. Его самая сокровенная мечта — пусть жизнь обернется произведением искусства — осуществилась. Он хотел «лизать сахарную голову» и так любить свою жизнь. Теперь он ее любит. И только через кольцо, только через кольцо возвратится Незванный. И это уже другое, не надо пытаться сейчас, не надо пытаться... Но осталась ведь еще и Маша. Смотри, она уже пробивает чек».

Маша уже подавала колбаснику чек и улыбалась, и рядом никого не было, и кассирша кричала: «Закрыт магазин! Кассу

сняла, сняла, не рвитесь, бестолковые какие, а?» Я все же прорвался и бросился сразу к Маше. Она уже взяла колбасу и собиралась что-то сказать колбаснику. Но я заговорил быстро, сбиваясь: «Девушка, ради бога, умоляю вас, на два слова. Я должен сказать вам одну вещь, от этого зависит ваша жизнь. Я не шучу. Прошу вас, скорее, скорее». Уже подбегала боком мухортная кассирша и кричала: «Не вздумай давать такому без чека! Ишь, бандит, закусить ему нечем».

Мы вышли на улицу, я держал Машу под руку. Я знал, что по правилам игры не должен был вмешиваться в эту личную жизнь, потому что, безусловно, что-то терял. (И, может быть, трудно мне будет потом оторваться и, может быть, невозможно лететь.) Дар предвидения оставлял меня, я уже не знал, что произойдет через минуту, и в первый раз ощутил тяжесть времени, которое целиком сливается только в настоящее и обыденное, не оставляя иллюзий, а лишь обледенелые ступеньки и судьбу человека, которому взялся помочь. Я судорожно оглядывался, я вспоминал: в замысле был шестнадцатилетний парнишка, который до сих пор не знал еще женщин и оттого бравировал, окликаая их с хрипотцой, когда с товарищами и с пятерками в дневнике возвращался из школы; а дома, поставив пластинку Бони и жадно разглядывая лордоз Аббы в новом журнале, которые принес ему товарищ... Сейчас этот парнишка должен был медленно брести из театра и понемногу взрослеть, глядя под ноги в снег, желтый, игрушечный от фонарей, а потом он должен был остановиться совсем как Незванный и заворуженно смотреть, как несутся машины по Ленинградскому проспекту и скачет воздушный шарик между ними, на проезжей части, и остается целым и невредимым. Они не могут, не могут его раздавить, и в это время его трогает за руку Маша. Но напрасно я озирался. Здесь и сейчас его нет.

122
Маша с любопытством взглядывалась в лицо молодого человека. Оно было и таким, и каким хотите. Но чутьем Маша угадывала, что человек этот добр. (О, как я добр!) Но почему он так мечется, как будто ищет кого-то, ведь он хотел что-то сказать ей. Как внезапно он появился. Но не все ли равно — тот или этот. Этот сам виноват, какое ей дело, кто он и как его имя, только не отпустить и отомстить им всем сразу, избавившись от всех и оставив себе лишь ребенка. Только не отпустить, так загадала: первый встречный. «И вот он только посмотрит в глаза мне, я упаду в обморок».

Я старался ее не разглядывать. Кому, как не мне, знать, что Маша чертовски красива. Это почти незаметное вздрагивание губы, эта мягкость в овале в сочетании с заостренной страстностью лицевых линий, этот рот, миндальная кожа руки и щеки, это покачивание бедер, которое будит желание, эти вульгарные и бесконечно поэтические повороты, этот смех, выдающий глубокую чувственность, с тонкими наглыми нотками, которые впитываются, и колют, и дразнят, это ее невинное убежание в повадках (догони, поймай), это тело, цигадель одежды, обещание и украдка, ловко упрятанная роскошь наслаждения, и, наконец, эти глаза, в которые нельзя смотреть, чтобы не погибнуть, чтобы в них не остаться, потому что в них Нерль и Поречье,

травы, которые она собирала вместо цветов, дедушкины пчелы, горелки, поленища и заноза, висящий полдень, тень бабочки, мягкая пыль, дым из трубы и снег, который режет глаза, и еще яблоко, которое хрустит, потому что это так. Потому что в этих глазах душа, которая остается чистой, несмотря ни на что.

Я хотел разбежаться и взлететь, пока не поздно, взмыть, рассекая низкое светящееся небо — блики прожекторных ламп, плавающих лед на стадионе «Динамо». Но, черт возьми, я взглянул ей в глаза и понял, что люблю ее и останусь здесь, несмотря на неискренность и абсурдность ее затей (она уже падает, притворщица, в обморок, она плохая актриса и именно поэтому настоящая и живая). Несмотря на то, что она всего лишь парикмахерша, несмотря на ее неразборчивость в искусствах, потому что существует природный вкус, потому что существуют женщина и мужчина, анима и анимус, река и огонь, и бессмертие, которого они добиваются ночью в постели. Да здравствует мать моего будущего ребенка!

Мы сидели и пили какао: Маша, Андрюшка и я. Мы говорили о том, рано или не рано Андрюшке учить английский язык (через месяц ему всего лишь четыре). Маша добавила в какао яичный желток, а я рассмеялся.

— Ты же сам говорил, чтобы блестело, — обиделась Маша.

— Я говорил?

— Ты.

— Я говорил, что добавляют в кофе, как у Стейнбека.

— Ну и ладно.

— Да не расстраивайся ты, Машенька. Так тоже хорошо.

— Пап, а как по-по-по-английски лампочка?

— Лэмп. Маш, ну не обижайся.

— Пап, а как по-английски газ?

— Гэз. Маш, слышишь?

— Слыщу.

— Что мне для тебя сделать? Хочешь, помою вчерашние кастрюли?

— Повесь лучше чешские полки. Ты обещаешь уже месяц.

— М-мм.

— Пап, а как по-английски полки?

— Шелфс. Отстань, Андрюшник, иди поиграй. Полки, Маш? Что, долбить сейчас? Андрюшнику спать через полчаса. Эта сумасшедшая снизу по батарее забарабанит. И вдобавок я сегодня уже починил водопроводный кран.

— Правда?

— Честное слово.

Маша пристально смотрит на меня. Я улыбаюсь.

— Какао вкусное? — спрашивает она, стараясь придать голосу строгость.

— Да, — отвечаю я в тон ей.

— Тогда поцелуй меня.

Пауза.

— Пап, пусти, ну пусти ее. Я тоже хочу целоваться.

— Ну п-п-пуст-ти, — она вырывается, — а то он заплачет. У тебя еще ночь впереди, дурачок.



НИКОЛАЙ МОНАХОВ:

124

ШЕПОТОМ -



125

Осенью 1968 года в Мосгорсуде слушалось дело П. Литвинова, Л. Богораз, К. Бабицкого, В. Делоне, В. Дремлюги, обвинявшихся по статьям 190¹ и 190³ УК РСФСР.

Их судили за честь, ум и совесть: 25 августа они вышли на Красную площадь, протестуя против насильственного подавления Пражской весны.

Одного из подсудимых, двадцативосьмилетнего рабочего Владимира Дремлюгу, защищал московский адвокат **НИКОЛАЙ МОНАХОВ***.

— В ту пору вам было...

— 33 года... До этого в общем-то все, как у всех: юрфак МГУ, помощник районного прокурора (правда, я считался чересчур либеральным и неуправляемым), потом московская адвокатура, юрконсультация... Мне посчастливилось встретиться с выдающимся адвокатом Софьей Калистратовой — человеком блестящих знаний, культуры и очень совестливым. Я работал с ней, учился у нее. Собственно, она и привлекла меня к делу «...о демонстрации на Красной площади».

— И ваше имя стало известно в так называемых диссидентских кругах...

— Не сразу... Но осень шестьдесят восьмого, конечно же, круто изменила и меня, и мою судьбу... Я участвовал в защите Вадима Делоне (ездил к нему, в порядке надзора, в Тюменскую ИТК по поручению Калистратовой), Анато-

лия Марченко (принял дело в кассационном порядке, ездил в Пермь...), харьковских правозащитников Левина, Недоборы и Пономарева, крымских татар Бавва, Хаирова, Умерова, Эминова. Был достаточно близко знаком и с Петром Григорьевичем Григоренко...

В 1970 году на Всесоюзном совещании председателей областных судов и прокуроров один из выступающих гневно сетовал, что, дескать, защиту по делам диссидентов «...монополизировали на всей территории Советского Союза адвокаты Калистратова, Каминская и Монахов...».

Но представьте себе, каково было нам защищать инакомыслящих: в то время «оттепель» уже отошла. Потянуло холодом... Мы, адвокаты, здорово рисковали, защищая, по сути, свободу слова, совести, мысли в тоталитарном государстве.

— И власти «закрутили гайки»?

— До отказа! Против Софьи Васильевны Калистратовой было возбуждено уголовное дело (обыски, допросы), Каминская Дина Исаковна (она защищала Буковского, Габая...) была вынуждена вместе с мужем, известным правоведом, доктором наук Константином Симисом, покинуть родину. Ей прямо сказали: или тюрьма, или «добровольный» отъезд... Мне «повезло»: меня просто выгнали из адвокатуры... Исключили из коллегии, из партии, члена президиума московской коллегии Бориса Андреевича Золотухина** (вел дело Гинзбурга, Галанскова, Добровольского и Лашковой). Таков был наш «гонорар»...

* Н. Монахов — член «Московской трибуны», член московской группы по наблюдению за выполнением Хельсинкских соглашений.

** Б. А. Золотухин избран народным депутатом РСФСР.

— Итак, Николай Андреевич, вернемся в осень 1968 года...

— Отступим чуть дальше, в август шестьдесят восьмого. Двадцать пятого группа московских правозащитников — Павел Литвинов, Лариса Богораз, Константин Бабицкий, Вадим Делоне, Владимир Дремлюга, Наталья Горбаневская и Виктор Файнберг — вышла на Красную площадь с плакатами, протестуя против военного подавления Пражской весны. Они намеревались сделать это еще 21 августа, так сказать, по горячим следам события, но тот злополучный день, как на грех, совпал с судом над Анатолием Марченко. Демонстрацию пришлось отложить... Чем она закончилась, можно было предвидеть заранее: за считанные минуты ее участники были избиты и доставлены в милицию, как сказано в обвинительном заключении, «возмущенными советскими гражданами». Вместе с демонстрантами был избит и прихвачен один зазевавшийся прохожий (потом, на суде, он стал свидетелем защиты).

...Почему это дело оказалось для тогдашнего нашего руководства особенно щепетильным? Не только из-за достаточно широкого резонанса за рубежом. Была в деле одна подробность, которая шла вразрез с официальной версией событий, предназначенной, так сказать, для внутреннего потребления: среди выставленных демонстрантами плакатов был и такой — «Свободу Дубечку!» (как раз его-то и держал мой подзащитный). Между тем об аресте первого секретаря ЦК КПЧ в нашей печати ничего не сообщалось. Не было сообщений и о том, что Александр Дубчек в Москву был отнюдь не добровольно... (Когда же через неделю состоялся отъезд из Москвы всей чехословацкой делегации, то Дубчек

вдруг оказался в ее составе. Его проводы были обставлены всеми положенными почестями...) Понятно, что сам по себе суд над демонстрантами, требовавшими выпустить высокого иностранного «гостя» на свободу, никак не укладывался в этот артистически сработанный сценарий.

— Но разве не могло следствие избежать этой неловкости, исключив плакаты с именем Дубчека из материалов обвинения? Ведь в руках демонстрантов были и другие «клеветнические» призывы: «Руки прочь от Чехословакии!», «Долой оккупантов!»...

— Если бы один из плакатов был устранен из обвинения, то и державший его демонстрант не мог быть предан суду. Весь вопрос: кто именно? Указать точно, какой из плакатов держал конкретный демонстрант (сами плакаты были изъяты еще на площади), следствие не могло. Свидетели этого просто не помнили. Сами же обвиняемые, прекрасно зная, на что шли, не хотели компрометировать благородное дело мелочной делужкой своей ответственности. Обвинение, таким образом, оказалось перед дилеммой: либо не судить никого, либо судить пятерых за все пять плакатов вместе.

— Почему же пятерых? Ведь вы называли семерых демонстрантов.

— Судили только тех, про кого было известно, что они непосредственно держали плакаты. Дело Натальи Горбаневской, например, было выделено, поскольку она держала не плакат, а чехословацкий национальный флажок, который ни с какой стороны не годился для обвинения ее в клевете на наш общественный и государственный строй. Его, правда, оказалось достаточно для объявле-

ния Горбаневской ненормальной...

— Как же властям удалось избежать огласки щекотливых деталей?

— Начнем с того, что Московский городской суд не случайно организовал слушание «дела» не в своем собственном помещении, расположенном на многолюдной магистрали, а в одном из самых малопосещаемых уголков старой Москвы (помещение Пролетарского нарсуда). Адрес судебного заседания до самого последнего момента держался в секрете даже от адвокатов. Само здание, где проходил суд, было наглухо оцеплено милицией. В него не пропускались даже работники суда, «в гостях» у которых проводилась выездная сессия. — Пролетарский нарсуд два дня попросту не работал.

— Были ли на суде иностранные корреспонденты?

— Вы это всерьез?.. Все этажи были заполнены сотрудниками в штатском. Никого из правозащитников в помещение суда, разумеется, не впустили. Было несколько корреспондентов центральных газет. Для каких-то особо важных персон отвели смежную с залом комнату, откуда они могли слышать все происходящее в зале, оставаясь сами, как говорится, за кадром... Теперь вы представляете, в каких условиях пришлось работать адвокатам?

...Защита заявила о необоснованности обвинения в целом и о том, что следует полностью оправдать всех подсудимых. Калистратова, Каминская, Поздеев выступили блестяще — аргументированно, эмоционально, доказательно...

— И удалось стронуть с «мертвой точки» сложившееся против подсудимых предубеждение?

— Ни в малейшей степени... Ведь руководящую «накачку»

суду давала, по-видимому, такая высокая внесудебная инстанция, для которой попросту нет надобности считаться (хотя бы для приличия!) с законом. Только этим и можно объяснить вопиющие нарушения элементарных юридических норм. Так, трое осужденных были приговорены к ссылке на срок от 3 до 5 лет, в то время как по инкриминируемым им статьям закона ссылка в качестве меры наказания вообще не предусмотрена. Чтобы как-то прикрыть этот, мягко говоря, правовой нигилизм, суд вынужден был сослаться на статью 43-ю Уголовного кодекса — единственную, которая в принципе дает суду право отступить от предусмотренной законом меры наказания. Но тем самым суд только усугубил юридический абсурд: даже студенты-троечники знают, что статья 43-я кодекса нацелена как раз на смягчение наказания — «ниже низшего предела», — а не на его ужесточение. А по логике тогдашней нашей Фемиды замену десятирублевого штрафа пятилетней ссылкой Павел Литвинов должен был воспринять как великодушнейшее снисхождение суда... В приговоре имелись и другие юридические «новации», по отношению к закону настолько бесцеремонные, что изобрести их по собственной инициативе наши судьи-профессионалы просто не смогли бы... Вывод один: руководящие указания суду давала та неюридическая инстанция, возражать которой не полагалось. Вот почему по всем политическим делам приговоры выносились, как правило, на полную катушку. Они, приговоры эти, были предreshены.

— Сознавали ли сами адвокаты практическую невозможность добиться оправдания или хотя бы существенного смягчения приговора по делам данной категории?

— Несомненно!

— Тогда возникает вопрос: не сводилось ли при этих условиях само участие адвоката в политических процессах просто к некой «роли» в спектакле, к созданию видимости правосудия там, где оно фактически отсутствовало начисто? Иными словами, не следовало ли считать адвокатов в этих делах сознательными пособниками инсценировки? Почему они не уклонились от участия в показухе?

— Все не так однозначно... Начну с того, что при первом же свидании адвокат объяснял своему подзащитному нулевые шансы на успех. Собственно, и объяснять-то это было излишним. Потому что диссиденты не хуже адвокатов разбирались в механизмах воздействия на суд и тем не менее от адвокатской помощи, как правило, не отказывались. И вот почему. Желая максимально демаскировать неправосудность готовящегося (а точнее, уже готового!) приговора, они нуждались в чисто юридическом совете — ну, хотя бы по порядку ведения судебного процесса. Ведь даже очень высокая общая эрудиция наших правозащитников не могла компенсировать отсутствия у них профессиональных навыков ведения дел, незнания ряда правовых тонкостей. Имели ли мы при этих обстоятельствах моральное право посоветовать своему подзащитному откатиться от услуг адвоката?

Взяв хотя бы один из эпизодов нашего дела о демонстрации. Кроме обвинения в клевете на советский государственный строй, подсудимые обвинялись еще и в учинении уличных беспорядков. Четверо свидетелей в штатском (якобы случайные прохожие) дружно «изобличали» демонстрантов в якобы спровоцированной ими драке и иных экстремистских действиях. Нам стоило известного

труда убедить наших подзащитных, которые были крайне возмущены этой мимикрией стражей порядка, не поднимать самим в суде данный вопрос, а предоставить его выяснение адвокатам.

— Это почему же?

— Да потому, что защита предвидела, что суд не позволит так вот запросто выяснять ведомственную принадлежность этих свидетелей, а самих «прохожих» вопрос в лоб обязательно бы насторожил. Адвокаты решили действовать хитрее: исподволь мы вынудили свидетелей повторить все детали их показаний, данных на предварительном следствии. И только после того, как все четверо торжественно подтвердили, что друг друга не знают и что каждый из них оказался в месте демонстрации совершенно случайно, защита попросила суд огласить ту часть их ранее данных показаний, где они сами назвали местом своей работы одно и то же закрытое учреждение...

— Как же на это отреагировал суд?

— В том-то и состоял тактический ход защиты: если суду ничего не стоило воспрепятствовать выяснению номера почтового ящика, то он никак не мог отказать адвокатам в обнародовании одного лишь факта — одинаковости этого номера. То есть выходило, что свидетели, случайно оказавшиеся в тот день на Красной площади и до этого не знавшие друг друга (по их же собственным показаниям!), работали в одном и том же п/я. Поглядели бы вы, когда они поняли, в каком глупейшем положении оказались. Прямо-таки известная сцена с сыновьями лейтенанта Шмидта в «Золотом теленке»... Хохот в зале суда стоял гомерический. До слез смеялись сами сотрудники госбезопасности, которых там было предостаточно.

— Стало быть, адвокатам все-таки удалось подпортить заготовленный сценарий?

— Еще как! И власти им это припомнили...

— Николай Андреевич, сегодня имена многих диссидентов — «шестидесятников» и «семидесятников», как говорится, на слуху. Мы знаем, за что их судили, отдаем должное их мужеству, бескомпромиссности, достоинству, человеколюбию... Но в новейшей истории правозащитного движения немало еще нечитанных страниц. Одна из таких — судьба крымских татар... Расскажите о вашем участии в их защите.

— Запомнилось дело комсомольского активиста Баева Гомера, рассмотренное Симферопольским облсудом в апреле 1969 года, а также слушавшееся в июле того же года в Ташкенте дело, известное как «процесс десяти». В нем я защищал бывшего парработника Хаирова Иззета, ветерана войны Умерова Резу и молодого инженера Эминова Руслана. Все они обвинялись в клевете на советский общественный и государственный строй. Существо их «преступлений» сводилось только к тому, что они добивались возвращения крымско-татарского народа на свою историческую родину. Вместе со мной защиту по этому делу осуществляли адвокаты Валерий Заславский и Николай Сафонов (впоследствии тоже исключенный из коллегии адвокатов).

...В отличие от других подвергшихся незаконным репрессиям народов при реабилитации крымских татар не предусматривалось восстановление их национальной автономии, а значит, и само право возвратиться на землю отцов. И тут есть еще одна, бьющая по людским судьбам «деталь». (Она выпала из поля зрения даже нынешнего депутатского корпуса, ко-

торый в целом принял по данному вопросу справедливое решение.)

Дело в том, что в тексте Указа Президиума Верховного Совета СССР от 5 сентября 1967 года, по-видимому, не без умысла, была применена такая формулировка, которая при буквальном толковании сводит на нет самое реабилитацию. В качестве одного из оснований снятия с крымских татар «огульного обвинения» указ ссылается на то, «что в трудовую и политическую жизнь общества вступило новое поколение людей». Так вот и получилось, что в отличие, скажем, от чеченцев или калмыков крымско-татарский народ реабилитирован Советской властью не полностью, а только в послевоенном своем составе. Такая формулировка и по сей день позволяет недобросовестным людям обвинять старших представителей крымско-татарской нации в так называемом «массовом предательстве»... Теперь поставьте себя в положение моего подзащитного Р. Умерова или другого обвиняемого по тому же делу — И. Языджиева. Оба вернулись с фронта после взятия Берлина, в орденах, тяжело больные от полученных ран. А в благодарность — колючая проволока и комендантский режим. И — неотступное: «Предатель, предатель». И так сорок лет...

— Готовиться к «процессу десяти» вам помогал известный правозащитник генерал Григоренко...

— Петр Григорьевич — бывший начальник кафедры Академии имени М. В. Фрунзе, ветеран войны, орденоносец, ученый и писатель. В прессе его и теперь по инерции именуют генералом. На самом деле он был разжалован из генералов в рядовые еще задолго до нашей с ним встречи — в самый разгар так называемой хрущевской «оттепели». Тогда же его

в первый раз поместили принудительно в психбольницу — за публичное выступление против нарождавшегося культа Хрущева, а также против расстрела рабочих в Новочеркасске. (Этого не следовало бы забывать тем, кто склонен идеализировать нашего тогдашнего лидера...) Последний раз я виделся с Григоренко в начале мая 1969 года у меня дома. Мы вместе готовились к нашему «процессу десяти», в котором он намеревался выступить в качестве общественного защитника. Но ему так и не суждено было сделать это: через пару дней его арестовали — забрали в «воронку» по прибытии в Ташкент, прямо с трапа самолета...

— *Николай Андреевич, сегодня бытует мнение, что правозащитники шестидесятых, семидесятых годов — это как бы предтеча нынешних неформалов...*

— Я скажу так: просто щеголять радикализмом, левой фразеологией, когда тебе не грозит тюрьма или психушка, немудрено. Для этого не требуется ни личного мужества, ни глубинной убежденности в правоте своего дела. Понятное дело, имею в виду не всех неформалов огулом. Неформал неформалу рознь... Но представьте себе, каково было бороться за свободу мысли, за гласность, за права человека двадцать — двадцать пять лет назад?.. На это шли люди недюжинного ума, характера... Мне посчастливилось близко знать многих из них. Да, их выступления были шепотом в барабанном грохоте словоблудия. Но это был шепот во весь голос! (Как, впрочем, и наши защитные речи на суде...) Они кричали — с болью, с кровью, любя свою Родину, своих соотечественников. Ведь все, за что ратовали диссиденты, по сути, сегодня восстановлено «в правах». Мы

приходим к пониманию общечеловеческих ценностей — добросердечия, законопослушания, уважения сторонних мнений и взглядов... В какой-то мере диссидентское движение подтолкнуло общество к самообновлению. Это так. (Но, думаю, само инакомыслие в любом государстве закономерно. В нашем, нынешнем, набирающем «демократические обороты» — тем более...)

Если глубоко вникнуть в ход общественных процессов последних трех десятилетий, то как раз от диссидентов и берут начало истоки глубинного брожения в сознании миллионов. Отсюда же и конец слепой веры в незыблемость идеологических заклинаний.

Если же говорить только об интеллектуальной нашей общественности, то благотворное влияние на нее диссидентства происходило в более конкретной форме. Имеется в виду так называемый «экранирующий эффект». Термин впервые введен, если не ошибаюсь, Юрием Орловым и означает вот что. Столкнувшись со стоическим упорством наших диссидентов в отстаивании своих позиций, власти резонно опасались расширять круг применения репрессивных мер, если в этом для них не было крайней необходимости. Поэтому волей-неволей они смотрели сквозь пальцы на ту часть интеллектуалов, которые, по сути, несли в себе те же диссидентские идеи, но не вступали на путь открытой конфронтации с режимом. Таким вот образом в обществе сложились парадоксальные правила игры, при которых сама практика репрессий против открытого вольнодумства привела к известной его дозволенности в не слишком явной форме. В этом смысле можно говорить, что именно под прикрытием «Архипелага ГУЛАГ» получила возможность ле-

гального существования проза наших «деревенщиков», а под завесой кампании травли автора теории конвергенции многим ученым удавалось публиковать весьма прозрачную критику административной системы. Поэтому теперь было бы грех забывать отчаянную жертвенность, с какой наши правозащитники шли прямо в пасть режиму...

— ...при этом, не сгибаясь ни в следственном изоляторе, ни на суде.

— Более того, на присутствующих производили огромное впечатление выступления (последнее слово) самих подсудимых. Сдержанные по тону, прекрасно аргументированные, а главное, предельно искренние и без тени позерства... До сих пор памятна слова Владимира Дремлюги: «Государственный обвинитель попросил для меня три года лагерей — максимально возможный по моей статье срок. Думаю, что это весьма сносная плата за те десять минут, когда я чувствовал себя свободным гражданином. Ведь эти десять минут свободы — единственные за всю мою жизнь».

...А в ожидании приговора один из представителей центральной прессы отозвал Дину Каминскую в сторонку и сказал ей тихо, тет-а-тет: «Вы, конечно, догадываетесь, для чего здесь присутствуют корреспонденты и что у каждого есть давно заготовленный репортаж против обвиняемых. Так вот, считаю долгом уведомить, что подобного материала за моей подписью в моей газете вы не найдете. Настолько меня потрясло все, что я здесь увидел и услышал». И тот корреспондент сдержал свое слово...

— Стало быть, и среди «специально приглашенных лиц» были порядочные, совестливые люди?

— Неверно при оценке событий

прошлого с позиций сегодняшнего дня описывать людей только черной и белой краской. В нашем случае — подразделять лиц, так или иначе причастных к делам правозащитников, только на «борцов» и «сатрапов». Не могу в этой связи не отметить спокойную и непредвзятую обстановку, в которой судебная коллегия Верховного суда Узбекской ССР под председательством К. Сайфутдинова рассматривала упомянутое дело десятирех крымских татар...

В зал суда были допущены родные и близкие подсудимых — столько, сколько позволяло помещение, а вынесенный приговор — не в пример приговорам других судов по аналогичным делам — явно не отличался свирепостью: обе состоявшие под судом женщины (С. Аметова и М. Халилова) были из-под стражи освобождены. Самому младшему из обвиняемых, Р. Эминову, был вынесен условный приговор... Суд также отклонил ходатайство прокурора о вынесении в адрес Московской адвокатуры частного определения — по поводу слишком открытой солидарности одного из адвокатов с позицией своего подзащитного... Исходя из сегодняшних стандартов, можно было бы, конечно, возмутиться, почему суд полностью не оправдал обвиняемых. Но справедливости ради замечу: мог ли суд в тех конкретных условиях сделать для подсудимых больше, чем он сделал? И мы еще не знаем, сколько раз Сайфутдинова тягали потом на ковер соответствующие инстанции за проявленный либерализм. Поэтому я и сейчас не скрываю своего глубочайшего к нему уважения... А надо сказать, что такие люди были не только в составе наших судов. Они были и среди работников прокуратуры и КГБ. Говорю это со всей ответственностью...

— Прошло почти два десятка лет с вашего последнего выступления в суде в качестве адвоката... По-разному сложились судьбы защитников правозащитников (да простится мне этот невольный каламбур) да и самих диссидентов. Умерли в зарубежье Вадим Делоне, Петр Григоренко; в мордовском лагере закончилась жизнь Анатолия Марченко... Успешно занимается литературной деятельностью Наталья Горбаневская, стал видным бизнесменом Владимир Дремлюга... Но вот о чем хочу спросить вас, Николай Андреевич: изменилось ли что-либо в нынешнем положении адвокатов в системе нашего правосудия? Или по-прежнему судебные «спектакли», как говорится, имеют место?

— Безусловно, положение адвокатов сегодня лучше, чем было до перестройки. И в этом немалая заслуга нашей прессы, которая в последние годы весьма способствовала повышению их роли и престижа. Отрадно, что и в резолюции XIX партконференции по правовой реформе подчеркнута важная роль адвокатуры как самоуправляющейся ассоциации. В 1988 году был создан независимый Союз адвокатов СССР...

Но, думаю, было бы более правильным позаботиться о создании не «независимого союза», а «союза независимых» адвокатов. Потому что до тех пор, пока адвокат на деле зависит от органов власти, он вряд ли сможет полно и эффективно защищать подзащитного, не рискуя при этом так или иначе лично собой. И дело здесь не в декларациях и даже не в законе. Принципы состязательности и равноправия сторон в процессе декларировались и раньше. Все дело, по-видимому, в общей правовой культуре всего нашего судебного корпуса, которая все-

гда очень рельефно проявляется в конкретной судебной практике...

Пора наконец понять, что отношение к адвокатуре отражает отношение к правам человека вообще. До тех пор, пока работники так называемых правоохранительных органов допускают нарушения прав обвиняемого на защиту (а таких случаев немало), процессуальное положение адвоката будет оставаться ущербным. Тем более что сам-то адвокат ничем не защищен перед своими противниками — закон, увы, не предусматривает его иммунитета. Поэтому-то принципиальность адвоката даже и сегодня еще ой как может выйти ему боком.

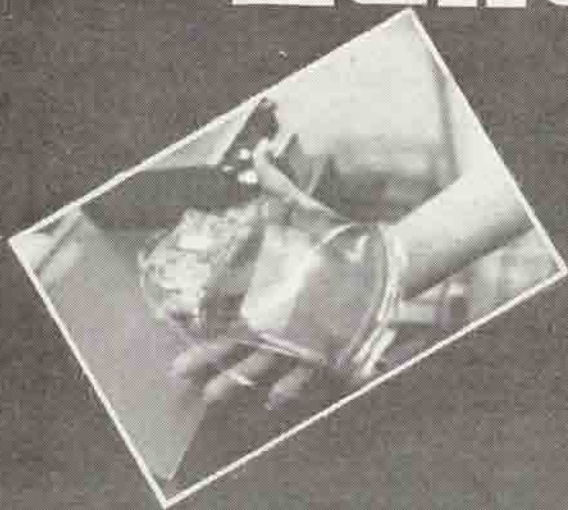
Но это уже тема разговора отдельного...

**Беседу вел
НИКИТА ЗЮКОВ-БАТЫРЕВ.**

КРОВАВОЕ

АННА ЛИТВИНОВА
ФОТО ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВА

ДЕЛО





Р

ота-а, па-адем!

И — взметнулись десятки одеял, посыпались с верхних коек ребята...

— Объясняю задачу: в городской больнице умирает женщина. Необходимо срочное переливание крови. Сейчас грузимся в машину и...

Солдаты, сколько раз отводили вы беду ценой крови своей!.. И эту женщину в больнице тоже спасете...

Донорской крови не хватает. Отменяют операции. Перепуганные болезнью близкого, сами спешим на донорский пункт.

Еще один дефицит? Да, но о масштабах его рассказать не могу. «Сколько крови в стране сдается ежегодно? И сколько необходимо, чтобы хватило?» — спросила я Ирину Георгиевну Зелинскую, главного специалиста Минздрава СССР.

— Не могу вам сказать. Закрытые цифры.

Что это, стратегические бомбардировщики?! Ракеты крылатые?

О размерах дефицита придется судить по косвенным данным. Московская городская станция переливания крови выполняет план от силы на 60 процентов. В Горьковской области число доноров за прошлый год снизилось на 20 тысяч человек. Если считать, что она, эта область, типична, то около полутора миллионов человек в стране, на которых рассчитывали врачи, не пришли на донорские пункты.

Отчего?

— Я три раза в том году кровь сдал, — рассказывал мне в Горьком мужчина, — шесть дней отгулял. А меня за это тринадцатой зарплатой лишили. Трехсот пятидесяти рублей! Хозрасчет...

Были раньше Дни донора. Приезжали на завод или в вуз люди в белых халатах, очередь к ним выстраивалась; десять неприятных минут, а потом — шоколадка, талон на бесплатный обед, и гуляй два дня, донор!.. Теперь редко какой директор подобное позволит. Нина Ярославовна Климова, главный врач Горьковской областной станции переливания крови, рассказывала мне, что руководитель одного из филиалов ГАЗа буквально стал на пути выездной бригады: «Не пуцуй!» Не объедешь директора.

— Хозрасчет и донорство не совмещаются. Нужен новый закон о донорах, — сказала И. Г. Зелинская.

Закон не закон, а постановление правительства необходимо. Но его готовить кому-то надо, пробивать? Наверно, Минздраву этим бы заняться?

Еще уповают на агитацию. Но кого, спрашивается, могут убедить косноязычные листовки: «Считайте своим патриотическим долгом активное участие в донорском движении!»? Или — киноленты «Возвращение к жизни» и «Бесценный дар донора», что крутят в нагрузку к «Кинг-Конгу»? Зная уровень нашей агитрекламы, легко поймешь: хоть двадцать таких роликов сделай, хоть двести — результат нулевой.

Готовя этот репортаж, пошла в одну из московских больниц. Не просто посмотреть, поговорить, а чтобы кровь сдать.

...В длинном больничном коридоре сидят по стеночке люди. Перед ними — диаграмма: рост числа доноров по сравнению с 1933 годом. На 1985-м линия достигает пика, а о дальнейшем изменении диаграмма скромно умалчивает.

По коридору снуют врачи, все время спотыкаясь о ноги парниш-

ки, уснувшего на стуле (длинная очередь-то). Доноры опытные невозмутимы, а новички вроде меня к ним пристают: «А не больно? А я в обморок не упаду?» «Упадешь — спирту дадут нюхнуть», — успокаивает розовощекий парень.

В кабинете все, как в настоящей операционной: бахилы, марлевые повязки и белый кафель. И еще кровь, загнанная в трубочки.

«Интересно, когда обморок-то будет?» — напряженно думаю я. И только собралась об этом медсестру спросить, а иголку уже выдернули и «спасибо» сказали...

Ну а как там, за нашими рубежами, обходятся с проблемой крови для больных? Ужели на заводе Форда или в «Макдональдсе» тоже устраивают Дни донора за отгулы?

В США донорство абсолютно безвозмездно. Ни тебе отгула, ни шоколадки. Но в доноры берут только совершенно здорового человека (даже близорукости не должно быть!). А быть здоровым, да еще абсолютно, там теперь ох как престижно. Приятно за ленчем (приготовленным из полусырых продуктов — полезно) обронить небрежно: «Вчера я вот кровь сдавал...» И это значит — ты в порядке, все у тебя о'кэй!

В ГДР донору выдают сертификат: предъявителю сего (или его родственнику) в случае болезни кровь смогут влить бесплатно (а иначе это дорого стоит).

В Сингапуре создали банк крови. Человек сдает кровь, она хранится до десяти лет и может быть (при болезни) влита только ему. За хранение, правда, надо платить (250 долларов в год), но от клиентов, говорят, нет отбоя — своего рода страховка на случай жизненных неприятностей.

И японский «минздрав» рекомендует использовать для переливания главным образом кровь самого больного, собранную заранее...

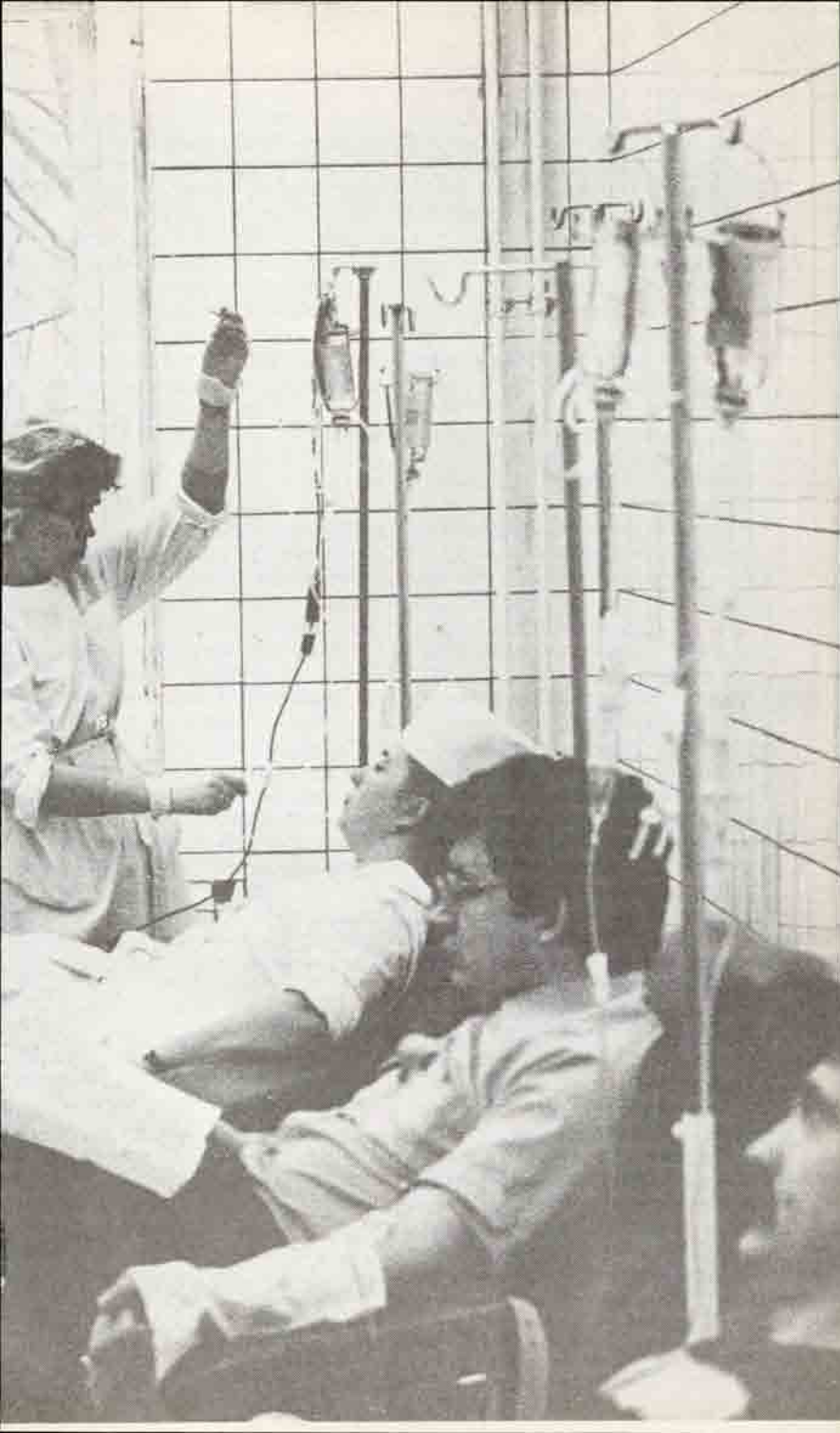
Перестали на станции переливания крови идти еще и потому, что боятся заразиться: СПИД... Я беседовала с очень многими медиками, в том числе теми, кто отвечает за донорство в масштабе страны (как, например, Андрей Иванович Воробьев, академик АМН СССР, директор ЦНИИГПК¹). И все мне говорили, просили в статье выделить, подчеркнуть: страхи беспочвенны. ЕЩЕ НИ РАЗУ И НИЧЕМ ДОНОРА НЕ ЗАРАЗИЛИ И НЕ ЗАРАЗЯТ! Это все равно что солнечный удар получить на Северном полюсе. Системы для взятия крови одноразовые, при вас вскрываются и потом, после процедуры, выбрасываются. Другое дело: могут заразить того, кому вливают кровь. Есть нечестные (или неграмотные) доноры: переболели гепатитом (желтухой), а идут «свершить гуманный поступок». На СПИД, гепатит, сифилис кровь проверяют. Останавливают зараженную. Выливают. Но порой не успевают (Элиста, Ростов-на-Дону)... Редко такое бывает, редко... Но заразившимся не легче. Так что предупреждаем всех, кому предстоит операция: просите кровь родственников или надежных друзей.

Главная же, как мне видится, причина нехватки донорской крови — технологическая наша отсталость. И «кровавую проблему», как и многие другие, мы решаем числом, не умением — опять пресловутый «вал».

О чем речь? А о том, что везде в цивилизованном мире кровь берут методом плазмафереза: в цен-

¹ ЦНИИГПК — Центральный НИИ гематологии и переливания крови.





трифуге разделяют ее на плазму и эритроциты, эритроциты возвращают обратно тому же донору (процесс разделения крови на компоненты занимает около сорока минут), плазму замораживают. (При нашем, дедовском методе кровь после взятия отстаивается до утра, тогда из нее вручную «отсасывают» плазму.)

Чем плазмаферез лучше?

Во-первых, эритроциты «не пользуются спросом». Их используют лишь для переливания малокровным и при операциях, и то если кровь сдана совсем недавно. Правда, кое-где из них производят лекарственные препараты, аминокровин, например, но таких мест в Союзе мало (нужны лаборатории со сложным оборудованием, которого, разумеется, нет). А так как эритроциты можно хранить не больше двадцати дней, их чаще просто... выливают. Правда, в одной области ими однажды додумались... кормить коров. Блестящее, если поразмыслить, новшество. Уж лучше, чем в канализацию... Второе преимущество плазмафереза: кровь разделяется на компоненты сразу же, а в противном случае, при старом методе, плазма в несколько раз снижает свою активность. Значит, чтобы получить то же количество плазмы, надо в несколько раз больше доноров.

В Москве больниц сотни. Плазмаферез применяют только в двух. Почему? Казалось бы, есть отработанная, проверенная мировой практикой метода — действуй, внедряй!

Не так все просто. Чтобы дать жизнь плазмаферезу, нужно оборудование. Простое, но много. Центрифуги (да не космические! Они скорее на миксер с длинной ручкой похожи) — раз. Пластиковая тара — два. Холодильники (обыкновенные, «Минск-18») — три. Центрифуг нет, потому что

«наша промышленность еще только раскачивается, чтобы выпустить нормальные центрифуги» (цитирую Ирину Зиновьевну Логвиненко, заведующую отделением переливания крови московской клинической больницы № 15).

Тары не хватает. (В Минздраве говорят, что не складывается что-то на фабрике «Кургансинтез», и... потребность в таре пока что производственники могут удовлетворить процентов на тридцать, никак не больше.) А холодильников нет, так как «...зачем они нужны, если все равно нет центрифуг и пластиковой тары!».

Все в жизни связано. Отказную резолюцию наложил директор курганской фабрики («Тары нет!»); вскочили по тревоге солдаты-доноры; отменили операцию в московской больнице...

Так все срослось, таким множественным капилляров переплетена экономика, что в одном месте поранишь — в десяти других будет кровь сочиться...

Р. С. Как-то я услышала в метро усиленное динамиками объявление: «Московскому роддому номер 23 срочно нужна донорская кровь четвертой группы отрицательного резуса!.. Товарищи, помогите!»

Вздрыгнула: что же это такое? Еще одно всенародное бедствие?..



4440



1. ОБВИНЯЕМЫЙ

142

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГЛОБУС

Вот уже почти полвека трижды в неделю он проделывал этот путь по Дворцу Правосудия: обходил по периметру огромный гулкий вестибюль и сворачивал в Торговую галерею. Эта прогулка, без которой он не мог обойтись, давала ему возможность, как он любил говорить, «подышать славным воздухом Дворца». Все его движения — и размеренная, неторопливая походка, и характерная манера при встрече с коллегой братья кончиками пальцев за край одежды с еле заметным намеком на поклон — выдавали многолетнюю привычку. По понедельникам, средам и пятницам, всегда ровно в час пополудни, он поднимался по ступенькам широкой лестницы, выходящей на бульвар, и, не обращая внимания ни на кого из встречных, направлялся к гардеробной адвокатов.

Там он не без сожаления расставался с цивильным головным убором (зимой это был котелок, летом — выгоревшее соломенное канотье) и водружал на голову старенькую шапочку, которую сдвигал назад, надеясь, по-видимому, прикрыть обширную лысину на затылке. Управившись с шапочкой, он, не давая себе труда даже снять порыжевшую от старости блузу, облачался в не менее поношенную мантию, которую не украшал ни бант ордена Почетного легиона, ни какой-либо другой знак отличия. Двойное одеяние придавало его фигуре солидность, каковой в действительности он похвастаться не мог, хотя ему и перевалило далеко за шестьдесят. Зажав под мышкой ветхий кожаный

Журнальный вариант.

ВУЛШЕ

ГИ ДЕ КАР



Рисунки
ИГОРЯ ГОНЧАРУКА

портфель, где взамен вещественных доказательств покоилась «Газетт дю Пала», он приступал к привычному обходу Дворца.

Только теперь, вооружившись этими профессиональными атрибутами, он чувствовал себя не частным лицом, а представителем судейской касты и разрешал себе приветствовать собратов по сословию. В лицо он знал во Дворце всех и вся, начиная со знаменитых председателей судебных палат и кончая самым последним секретарем, всю бесчисленную рать прокуроров, поверенных, адвокатов и адвокатишек, с которыми он столько раз встречался в душных палатах, пыльных коридорах и на нескончаемых лестницах. Он знал всех, его же в общем-то не знал почти никто. Самые юные из младших по возрасту коллег нередко недоумевали, чего ради этот нелепо одетый старикан с обвисшими усами и спадающими с носа очками бродит по огромному зданию Дворца Правосудия.

Впрочем, его мало беспокоило, какого о нем мнения адвокатское сословие. Он переходил из канцелярии в канцелярию, из палаты в палату, изучая объявления о приостановленных делах. Четыре-пять раз в году его можно было встретить в одной из палат Исправительного суда¹, где он пытался добиться снисходительности судей к какому-нибудь закоренелому бродяге. Казалось, этим и ограничивается его профессиональная

¹ Уголовный суд низшей ступени, в ведении которого находятся правонарушения и преступления средней тяжести. Тяжкие преступления рассматривает Суд присяжных (Здесь и далее примечания переводчика.)

деятельность, ораторский талант и честолюбие. Таков был Виктор Дельо, уже сорок пять лет состоявший в парижской адвокатуре.

Он всегда был одинок. Старые знакомые, изредка попадавшиеся навстречу, делали краткий приветственный жест и невольно ускоряли шаг, будто опасаясь заразиться невезением от этого ничего не достигшего в жизни старого чудака, явно неспособного когда-нибудь оказаться им полезным. Поэтому Виктор Дельо удивился и даже встревожился, когда его окликнул кто-то из секретарей:

— А, господин Дельо! Я вас ищу уже минут двадцать. Господин старшина адвокатского сословия Мюнье срочно вызывает вас к себе.

— Старшина сословия?..— пробормотал старый адвокат.— Что ему от меня надо?

— Не знаю, но дело срочное! Он вас ждет.

— Хорошо, иду.

Торопиться он счел излишним: Мюнье он знал с давних пор, еще со студенческой скамьи. Они вместе изучали право и в один год поступили в парижскую адвокатуру стажерами — после того, как Дельо помог товарищу подготовить выступление. Тогда Мюнье звезд с неба не хватал, а Дельо буквально покорила комиссию.

С тех далеких времен все изменилось. Мюнье неслыханно повезло в самом начале карьеры: он сумел добиться оправдания клиентки, заранее осужденной общественным мнением. Дальше молодому адвокату оставалось лишь держаться на гребне растущей популярности; по мнению Дельо, считавшего приятеля весьма посредственным защитником, его слава была изрядно преувеличена. Однако после сорока пяти лет безвестности Дельо смирился с тем, что он неудачник, и влачил жалкое существование, хватаясь за те дела, на которые не польстился никто из его коллег. Виктор Дельо довольствовался, если можно так выразиться, обедками Дворца.

В глубине души он не терпел Мюнье, который, как и все карьеристы, отнюдь не жаждал встречать на своем сиянном славы пути друзей юности, знававших его куда менее блестящим. Однажды — вскоре после того, как Мюнье был назначен на заветный пост, — Дельо довелось столкнуться с ним во Дворце: преисполненный сознания собственной значимости, старшина сословия еле удостоил его ответным кивком. Дельо, впрочем, не особенно оскорбился, прекрасно понимая, что в глазах такого вот Мюнье, который презирал вечных неудачников, он является позором корпорации. Вот о чем думал старый адвокат перед тем, как робко постучаться в дверь кабинета старшины сословия.

— Здравствуй, Дельо,— воскликнул тот с несвойственной ему приветливостью.— Давненько же мы с тобой не болтали! Почему, черт возьми, ты ко мне не заглядываешь?

Дельо был ошеломлен: его старый товарищ излучал дружескую улыбку!

— Да, знаешь ли,— пробормотал он,— не хотелось тебя беспокоить: ведь ты так занят...

— Какие пустяки, старина! Для друга я всегда свободен... Сигару?

Дельо нерешительно запустил руку в протянутую ему роскошную коробку и, вынув сигару, промолвил:

— Спасибо. Я поймаю ее вечером.

— Держи, держи... Возьми, сколько хочешь...

Старшина сословия протянул ему пригоршню сигар, и Дельо, конфузясь, рассовал их по карманам.

— Ну ладно, садись, старина!

Дельо повиновался. Мюнье, меряя шагами просторный кабинет, приступил к делу:

— Скажи, ты слышал о деле Вотье?

— Нет.

— Да, ты верен себе! Неужели ты никогда не изменишься? Позволь узнать, что же ты делаешь целыми днями во Дворце?

— Гуляю...

— Лучше занятия не нашел!.. В общем, я решил тебе помочь...

Дельо вытаращил глаза за стеклами очков и растерянно замгал.

— Так вот, дело Вотье, о котором ты ничего не слышал, полгода назад наделало немало шума. Этот самый Вотье убил американца на борту теплохода «Де Грасс», шедшего из Нью-Йорка в Гавр... Абсолютно бессмысленное преступление: мотив так и не удалось найти. Вотье убил совершенно незнакомого ему человека, причем без всякой корысти! Само собой, капитан «Де Грасса» тут же посадил его под замок, а потом передал в руки встречавшей на гаврском причале полиции. Сейчас он сидит в тюрьме Санте и ждет процесса: через три недели он предстанет перед Судом присяжных. Вот и все...

— Ты звал меня, чтобы рассказать об этом?

— Да... потому что я решил поручить это дело тебе...

— Мне?

— Именно.

— Но ведь я же никогда не выступал в Суде присяжных!

— Вот и прекрасно: будет почи! Неужели тебе не надоел Исправительный суд? Послушай, дружище, я огорчен, видя, как человек в твоём возрасте и с твоими способностями тратит свой талант и время на жалобы о задавленных собаках и мелких сутенерах! Встряхнись, Дельо! Ведь Суд присяжных — это звучит! Согласись, когда впереди маячит гильотина, страсти разгораются. А общественное мнение для нас — все! Будь уверен: если тебе удастся не слишком скверно провести это дело, получишь шанс подцепить другие, выгодные!

— Может и так, — согласился Дельо. — Спасибо, что подумал обо мне.

— Только я должен сразу предупредить, чтобы ты не обольщался по поводу гонорара: с финансовой стороны дело Вотьедохлое. Зато имя на нем заработать можно, а это как раз то, что тебе нужно. Да, я упустил одну существенную деталь: за это дело брались уже двое наших коллег: Шармо и де Сильв. Ты их знаешь?

— Понаслышке...

— Ну, это меня тоже не удивляет, бирюк ты этакий. Да пойми же, между коллегами существует взаимная поддержка, выручка, профессиональная солидарность, наконец! М-да... Ну так вот, Шармо некоторое время изучал это дело, а потом вернул его, не указывая причин. Тогда я поговорил с де Сильвом — кстати, очень способный молодой человек, — и он согласился вести дело Вотье. Шармо передал ему досье. У меня, признаться, создалось впечатление, что он был рад от него избавиться... Все вроде бы устроилось, как вдруг, черт побери, на прошлой неделе приходит мой де Сильв и заявляет, что решительно не может взяться за это дело, — и это за три недели до начала процесса! Мне пришлось срочно искать нового защитника, и я — хочешь верь, хочешь нет — никого не нашел! Все, под тем или иным предлогом, уклонились... В конце концов мне пришлось просить согласия председателя палаты Легри на назначение адвоката. И тогда я вспомнил о тебе...

Наконец-то Дельо понял истинную причину «заботы» о нем старшины сословия.

— Вот досье, — поспешно прервать паузу Мюнье, указывая на объемистую папку, дежавшую посреди стола.

Поднявшись, старый адвокат взвесил папку на руке и ответил:

— Все ясно... Во всяком случае, нельзя пожаловаться, что мои именитые предшественники поленились собрать свидетельства. Остается надеяться, что их убедительность не уступает весу...

146 Не добавив более ничего, он засунул досье в портфель, где оно нарушило привычное одиночество «Газетт дю Палэ», и направился к двери.

— Дельо, — окликнул его несколько смущенно старшина сословия, — ты на меня сердишься?

— Что ты, вовсе нет... Ты сделал свою работу, вот и все! Я постараюсь сделать свою...

— Ну-ну, напрасно ты так! Вчера, перед тем как принять окончательное решение, я пролистал это дело — просто чтобы понять, почему коллеги от него избавлялись. Думаю, теперь я знаю. Само по себе дело не сложное: преступление бесспорно, убийца и не пытался ничего отрицать. Жертва, похоже, совершенно безобидна... а вот преступник, Жак Вотье — предельно опытная личность. Скорее всего он сам отпугнул защитников...

— Вот как! Вдобавок окажется, что убийца — настоящее чудовище?

— Не хочу навязывать тебе своего мнения. Ознакомься с делом, и сам все поймешь... Возможно, тебе понадобится дополнительный срок, чтобы подготовиться к защите. Если что, обращай ко мне, и мы перенесем процесс.

— Я сделаю все, что в моих силах, чтобы до этого не дошло, — промолвил Дельо. — Раз вино на столе, его надо выпить; раз преступление совершено, его надо судить без промедления. Либо подсудимый виновен, и остается лишь как можно быстрее выне-

сти приговор, либо он невиновен, и тогда я считаю несправедливым продлевать его предварительное заключение.

— Ну, в данном-то случае, старина, виновность твоего защитного вряд ли подлежит сомнению. К тому же, судя по всему, он собирается сразу же признать себя виновным...

— Позволю себе заметить, дорогой старшина сословия, что теперь это касается только его и меня...

— Конечно, конечно. В конце концов убил-то он, это бесспорно! А раз так, то, боже мой, шесть или восемь месяцев предварительного заключения — ничто в сравнении со сроком, который он получит, если, конечно, тебе удастся спасти его от гильотины!

— Я загляну к тебе через неделку, поделюсь впечатлениями, — сказал Дельо вместо прощания. Пожимать руку этому горе-старшине, взвалившему на него такое дело, он посчитал излишним.

Впервые он шел по Торговой галерее быстрым шагом. У входа в вестибюль он нос к носу столкнулся с Бертэ, одним из многих, кто обыкновенно не замечал его.

— Да ведь это наш добрый Дельо! — воскликнул Бертэ. — Как поживаете, дорогой друг?

От изумления Дельо потерял дар речи: вот уж воистину день сюрпризов!

— В добрый час! — продолжал его собеседник, указывая на разбухший портфель. — Работа на столе! Интересная?

— Здесь у меня, — ответил старый адвокат с конфиденциальным видом, — весьма важное дело...

— В Исправительном суде?

— В Суде присяжных! — небрежно бросил Дельо, удаляясь. Теперь уже Бертэ остолбенел от изумления.

Пока новоявленный защитник Вотье шел в гардеробную, чтобы сменить свою бесформенную шапочку на измятый котелок, он думал о том, что впервые в жизни сумел произвести на кого-то впечатление. Одно то, что он получил возможность произнести эти два слова, одновременно страшных и магических — «Суд присяжных», — сразу возвысило его в глазах окружающих. Теперь надо любой ценой добиться успеха... Но отчего же за это дело никто не пожелал взяться?

Он понял это спустя несколько часов после того, как прочел и перечел материалы, собранные двумя его предшественниками. Некоторые бумаги были испещрены их пометками. Дельо начал с того, что стер все замечания своих коллег. Сам он никогда ничего не помечал, полагаясь на память и предпочитая иметь дело с сухим языком документа.

За окном уже сгустились зимние сумерки. Рабочий кабинет в скромной квартирке на пятом этаже старого дома по улице Сен-Пэр, которую Виктор Дельо занимал уже много лет, был освещен лишь лампой с зеленым абажуром, стоявшей на письменном столе. Обычной неспешной походкой старый адвокат подошел к вешалке в углу прихожей, снял с нее линялый домашний халат и накинул поверх блузы. Затем он прошел в крохотную кухню и подогрел кофе, сваренный приходящей

служанкой. Кофейник и щербатую чашку он отнес в кабинет и устроился в дряхлом кресле, закурив для полноты ощущений одну из сигар, подаренных старшиной сословия.

Но адвокат не просто блаженствовал — смежив веки, он размышлял. Из кажущегося оцепенения он выходил только дважды, чтобы переговорить по телефону.

— Алло! Мэтр Шармо? Это Дельо... К сожалению, не имею чести знать вас лично — пока не было случая познакомиться, дорогой коллега, чем я искренне огорчен... Я позволил себе позвонить вам по поводу дела Вотье, которое мне пришлось унаследовать, если можно так выразиться... Нет-нет, мэтр де Сильв им уже больше не занимается... А я согласился... Вот и хочу вас спросить — чисто по-товарищески и строго между нами: почему вы решили отказаться от этого дела?

Ответ был длинным, но маловразумительным. Выслушав его и поблагодарив, Виктор Дельо положил трубку, повторяя: «Любопытно! Весьма любопытно!», а спустя несколько минут набрал новый номер:

— Алло! Мэтр де Сильв? Это Дельо...

Он задал тот же вопрос, выслушал ответ, покачал головой, поблагодарил и положил трубку, бормоча: «Странно! Очень странно!» В кабинете вновь воцарилась тишина, которую нарушил лишь приход Даниеллы Жени.

— Добрый вечер, мэтр. Я разыскивала вас повсюду во Дворце и уже начала беспокоиться...

— Я ушел оттуда раньше обычного.

— Но вы, надеюсь, не захворали?

— О нет, внучка...

Даниелла отнюдь не состояла с ним в родстве — просто он привык называть так юную студентку, которая заканчивала юридический факультет и готовилась стать адвокатом. Они познакомились случайно на террасе кафе на бульваре Сен-Мишель. Очень скоро старожил Дворца и будущая адвокатесса прониклись друг к другу симпатией. Даниелла стала единственной женщиной, не считая служанки Луизы, которой не возбранялось в любое время дня и ночи заявиться в берлогу закоренелого старого холостяка. Нелюдимый ворчун научил ее уйме профессиональных уловок, и она все время удивлялась тому, что он не сделал карьеры.

Она-то и печатала ему на дряхлой машинке в его кабинете в тех редких случаях, когда необходимость перевешивала почти суеверное отвращение, которое он питал ко всякого рода переписке.

— Послушайте, внучка, — обратился окутанный облаком сигарного дыма Виктор Дельо к студентке, чье появление в кабинете вывело его из оцепенения. — Раз вы посетили меня, буду весьма благодарен, если вы сядете за машинку и отпечатаете вот это письмо в пяти экземплярах.

— Новое дело в Исправительном суде?

— Не совсем... Я принял важное решение: отказаться от Исправительного и посвятить себя Суду присяжных... Видите на столе внушительное досье? В этих бумагах — судьба первого

человека, которого я попытаюсь спасти от гильотины... На первый взгляд дело кажется безнадежным. Клиент далеко не обычный. Насколько я помню, подобного клиента защищать еще никому не приходилось... Вы готовы? Число — сегодняшнее. Оставьте место для обращения. Диктую: «Ввиду того, что я взял на себя защиту Жака Вотье, над которым 20 ноября сего года в Суде присяжных департамента Сены начнется процесс по обвинению в убийстве Джона Белла, имевшем место 5 мая сего года на борту теплохода «Де Грасс», я буду чрезвычайно Вам признателен, если Вы либо назначите мне встречу, либо согласитесь прийти ко мне — чем быстрее, тем лучше, поскольку до начала процесса осталось совсем немного времени. В ожидании ответа, искренне Ваш...». Так, теперь берите конверты, я диктую адреса. Госпоже Жак Вотье, отель «Регина», 16 бис, улица Акаций, Париж — это последний адрес, который значится в материалах дела. Не забудьте сделать пометку «Подлежит переадресовке»... Второй адрес: госпоже Симоне Вотье, 15, авеню Генерала Леклерка, Аньер. Третий: доктору Дерво, 3, улица Парижа, Лимож... Два последних письма — в один и тот же адрес: Институт святого Иосифа, Санак, департамент Верхняя Вьенна. Получатели: господин Ивон Роделек и господин Доминик Тирмон. Вот и все... Завтра у вас есть лекции?

— Только одна, но я могу ее прогулять.

— Обязательно прогуляйте! Мне надо, чтобы вы подежурили на телефоне с половины девятого. Меня не будет весь день, и вернусь я, наверное, не раньше девяти вечера. А вы отвечайте на звонки и дожидайтесь меня. Если кто-нибудь из тех, кому я написал, откликнется, назначьте ему встречу на послезавтра на любое удобное ему время. Да, и на обед не уходите: я распожусь, чтобы Луиза приготовила вам поесть.

— Скажите, мэтр, а если будет что-то срочное, где я смогу найти вас по телефону?

— Понятия не имею! Подождите, пока я вернусь... Ну, вот, письма подписаны. Теперь — на улицу Лувра, на почтамт!

— Мэтр, не будет нескромностью спросить, что это за люди, кому вы написали?

— Будет, будет нескромностью, внучка, но я все-таки скажу, раз уж вы стали помогать мне в этом деле: эти пятеро, как мне кажется, могут дать превосходные показания в пользу обвиняемого. Но это вовсе не значит, что все они изъявят желание предстать перед судом. Моя задача — найти аргументы, способные побудить их к этому...

Остаток ночи Виктор Дельо провел в размышлениях. Воздав должное сигарам старшины сословия, он пришел к выводу, что пора познакомиться со своим подзащитным...

Утром, оформив разрешение, он уже шел по коридору тюрьмы Санте. Надзиратель, сопровождавший его, сказал:

— Будет просто чудом, если вам удастся хоть что-нибудь выудить из этого типа! Он упрям как осел!

— Не слишком изысканно, друг мой.

— Я просто хотел предупредить вас, мэтр...

Зазвенели ключи, и тяжелая зарешеченная дверь отворилась. Виктор Дельо в сопровождении надзирателя, который тщательно, на два оборота, запер за ними дверь, вошел в камеру и поправил очки, чтобы хорошенько разглядеть своего нового клиента...

Тот сидел прямо на полу в самом темном углу тесной камеры. Но, даже сидя, он поражал своими гигантскими размерами... Квадратное лицо с огромной, выдающейся вперед челюстью, жесткие, как проволока, волосы — все это, казалось, не имело ничего общего с человеческим обликом. Адвокат инстинктивно попятился: ему вдруг почудилось, что перед ним — страшилище, вырвавшееся из чащоб девственного леса. На него нельзя было смотреть без содрогания... Грудную клетку словно распирало изнутри могучее сердце; длинные руки заканчивались волосатыми кулаками убийцы... руки, поджидающие жертву. Но самое большое впечатление производило лицо, лишенное всяких признаков жизни: остановившиеся незрячие глаза, обезьяньи губы, выступающие скулы, выпуклые надбровья, мертвенно-бледный цвет кожи. О том, что гигант жив, свидетельствовало лишь его мерное мощное дыхание. Никогда за свою жизнь Виктору Дельо не доводилось сталкиваться с подобным субъектом. Запинаясь, он спросил у надзирателя:

— И он всегда... э-э... в таком положении?

— Почти всегда.

— Как вы думаете, он знает, что мы здесь?

— Он? Да он узнаёт все! Даже не по себе становится: как ему удается все понимать, ничего не видя, не слыша и не умея говорить?..

— Этому я не удивляюсь, — возразил адвокат. — Ведь этот парень образован и весьма умен. Вы знаете, что это чудовище даже написало книжку?

— Как он сумел?

— Подменяя тремя чувствами, которыми он располагает, — осязанием, вкусом и обонянием, — все остальные, которых он лишен с рождения: зрение, слух и речь... Но объяснять это слишком долго.

— Что до обоняния, мы уже заметили: он распознает каждого из нас сразу, как войдешь в камеру.

— Аппетит у него хороший?

— Нет. Правда, и кормежка тут не ахти...

— А с ложкой и вилкой он умеет обращаться?

— Не хуже нас с вами! Только чаще всего он к миске и не притрагивается... Вот что я думаю: чего ему не хватает, так это посетителей... Здесь, в тюрьме, жизнь у него хуже, чем у животного в клетке. Ведь он ничем не может заняться! Ни читать, ни писать, ни даже поговорить с нами, когда мы к нему заходим...

— Возможно, вы и правы, но нужно еще, чтобы он захотел принимать гостей, и к тому же — чтобы они владели одним из доступных ему способов общения... Как вы считаете, психически он нормален?

— Все врачи, которые приходили его обследовать, — а их было Бог знает сколько! — в один голос заявляют, что да...

— Как же они, черт возьми, сумели в этом убедиться?

— Они приходили с переводчиками, которые пытались с ним общаться... Они касались его пальцев — вроде бы слова на них выписывали...

— И что же, удавалось?

— Все уверяют, что он нарочно не отвечает... Этот тип не желает, чтобы его защищали!

Внезапно клиент Виктора Дельо вскочил на ноги и, прислонившись спиной к стене, принял оборонительную стойку. Он был выше своих незваных гостей на целую голову.

— Вот это машина! — пробормотал адвокат. — Сложен как атлет... Теперь меня не удивляет, что он расправился с жертвой одним ударом...

— Осторожно, мэтр, — он нас засек! Смотрите: принохивается! Не приближайтесь к нему! Никогда не угадаешь...

Адвокат, пренебрегая предупреждением, приблизился к подзащитному и положил свои ладони на его руки, но тот резко их отдернул, словно испытывая отвращение к этому контакту. Не признавая себя побежденным, Виктор Дельо дотронулся до его лица: несчастный съезжился, испустив хриплый вопль, который с успехом мог бы принадлежать и зверю.

— Осторожней, мэтр! — повторил надзиратель.

Но было уже поздно: колосс схватил адвоката за плечи и встряхнул его, бормоча что-то нечленораздельное. Огромные ручки почти сомкнулись на горле... Но тут надзиратель изловчился стукнуть гиганта дубинкой по голове: тот отпустил добычу и отступил к стене.

— Я предупреждал вас, мэтр! Это настоящее чудовище!

— Вы в этом уверены? — спросил Виктор Дельо, водружая на нос упавшие очки.

Справившись с этим, он вновь приблизился к своему клиенту и долгое время разглядывал его, после чего заявил:

— Похоже, коллеги говорили мне правду... Теперь я понимаю, почему они постарались поскорее сбыть дело с рук! Защищать этого парня небезопасно... Но отчего же он так набрасывается на тех, кто пытается его спасти? Я не успел сделать ему ничего плохого, а он уже ненавидит меня. Странно! Как объяснить, что я желаю ему только добра?..

— Те тоже пытались, мэтр. Он знать ничего не хочет.

— Ничего, я найду к нему подход... А знаете, он совсем не так уж безобразен... Бывает такое уродство — возвышенное, что ли... Посмотрите: черты лица грубы, но энергичны, фигура хоть и громадна, зато пропорционально сложена... Думаю, он вполне мог бы понравиться женщине... Не всякой, конечно, а такой, которая любит грубую физическую силу... Я еще не видел его жену, но уже представляю ее себе: хрупкая, миниатюрная, этакое эфирное создание... Закон контрастов... Ну, а напоследок я еще раз подойду к нему, чтобы он запомнил мой запах. Тогда он узнает меня завтра. Вот бы он сам дотронулся до меня!

Лицо адвоката оказалось в нескольких сантиметрах от лица его странного подзащитного. Однако гигант не шелухнулся.

Дверь со скрипом затворилась. Виктор Дельо молча шагал рядом с надзирателем. Напоследок тот спросил:

— Ну что, будете его защищать?

— Думаю, да...

— Нелегко вам придется с таким чудовищем...

— Я не уверен, что этот парень — такое уж чудовище. Не доверяйте внешности! Как мы можем по-настоящему его узнать, если он не видит, не слышит и не может нам ответить? Мне нужно во что бы то ни стало проникнуть в его мир. Тогда, быть может, я обнаружу перед собой несчастного человека, который страдает и которого никто не пытается понять. Дубинкой тут ничего не добьешься! Вам никогда не приходило в голову, что если он и убил, то имел очень веские основания?.. Узнайте, может ли меня принять начальник тюрьмы?

Господин Менар, начальник тюрьмы, оказал адвокату самый радушный прием.

— Ну как, дорогой мэтр, познакомились со своим клиентом? И каково же, разрешите узнать, первое впечатление?

— Неплохое, — ответил Виктор Дельо к изумлению собеседника. — Не скажу, чтобы первая наша встреча была чересчур сердечной, однако питаю надежду, что со временем наши отношения улучшатся... Впрочем, я пришел к вам с нижней просьбой: нельзя ли изыскать возможность — разумеется, за определенную плату — несколько разнообразить стол моего подзащитного, давая ему с сегодняшнего вечера что-нибудь в дополнение к тюремной пище?

— Вы не хуже моего знаете, дорогой мэтр, что единственная добавка, предусмотренная правилами, — это передачи с воли.

— Получает ли их мой клиент?

— Никогда.

— Не правда ли, довольно странно? Ведь почти все его родственники живут в Париже.

— Знаю. Но я никого из них не видел.

— Неужели даже мать ни разу не захотела встретиться с сыном?

— Нет.

— А сестра, а шурин?.. В общем, все они отвернулись от него: он стеснял их с самого своего рождения, а теперь еще и опозорил... Похоже, у них одна забота: поскорее узнать о его казни и забыть о его существовании! Ну, а жена?

— Говорят, куда-то уехала.

— Меня удивляет, что она с таким безразличием отнеслась к судьбе мужа после стольких лет терпеливого ухаживания за ним...

— Чего не бывает на свете...

— Да-да, разумеется... Теперь, господин директор, я с вашего разрешения зайду в бистро — тут, напротив, его хорошо знают все родственники и друзья ваших подопечных — и распорядюсь, чтобы сюда доставляли кое-какую снедь: ветчину, хлебцы, крутые яйца, шоколад... Думаю, если он поужинает сегодня

поплотнее, то лучше будет спать... А если хорошо выспится, может, не откажется вступить со мной в разговор...

— Вы умеете общаться со слепоглухонемыми?

— Нет, но, к счастью, на свете есть другие люди, которые это умеют. Хотя бы те, кто некогда воспитывал моего клиента... Да! Еще одна просьба: попробуйте втолковать надзирателям, чтобы они перестали считать заключенного номер шестьсот двадцать два чудовищем. Пока в суде не будет доказано обратное, я буду твердо стоять на том, что он невиновен. До скорой встречи, господин директор...

Два часа спустя Виктор Дельо зашел в книжную лавку неподалеку от театра «Одеон».

— Дорогой мэтр, — воскликнул букинист, — какими судьбами?

— Представьте себе, дорогой мой Боше: обошел десяток магазинов и не нашел нужной книжки. И как это я сразу не подумал о добрейшем Боше? Вы случайно не помните роман под названием «Один в целом свете»?

— Как же, как же... Своеобразная вещь. Автор, кажется, слепоглухонемой от рождения? Да вы, наверное, слышали о нем — несколько месяцев назад о нем трубили все газеты в связи с убийством...

— О, вы знаете, если не считать «Газетт дю Палэ», я не интересуюсь прессой... Скажите, когда автор оказывается убийцей, его книгу, должно быть, начинают расхватывать?

— Да, но не тогда, когда она уже продана. Издателю бы следовало допечатать ее в двадцать четыре часа, пока в памяти читателей преступление было еще свежо.

— А когда вышел роман?

— Сейчас я вам скажу...

Букинист принялся листать свой гроссбух. Наконец он ткнул пальцем в страницу:

— Вот. Пять лет назад.

— Черт побери, ведь он был совсем молод — двадцать два года! Ну и как, это был успех?

— На первых порах — любопытство, подогретое двумя-тремя критическими статьями... Особого успеха книга не имела... Читатель слабо интересуется психологическими романами. Ему подавай действие, тайну, кипение жизни! Но вам я, наверное, смогу помочь: кажется, у меня остался один экземпляр, сейчас мой помощник его поищет...

Десять минут спустя автобус повез будущего защитника Жака Вотье к дверям Национальной библиотеки. Интересующие адвоката сведения оказались в газетах от 6 мая и нескольких последующих дней. Одна статья показалась ему наиболее интересной.

«По радио, 6 мая. Вчера на борту теплохода «Де Грасс», идущего из Нью-Йорка в Гавр, было совершено немыслимое по своей жестокости преступление. Произошло оно в каюте-люкс, которую занимал богатый двадцатипятилетний американец Джон Белл. Единственный сын влиятельного вашингтонского конгрессмена, он направлялся в Европу впервые. На борту «Де

Грасса» находилась также чета Вотье. Жак Вотье — тот самый слепоглухонемой от рождения, который несколько лет тому назад опубликовал занятый роман «Один в целом свете». Роман был переведен на несколько языков и пользовался большим успехом в Соединенных Штатах. Приглашенный американским правительством выступить в ряде городов с лекциями о достижениях Франции в такой сложной проблеме, как обучение и воспитание слепоглухонемых от рождения, Жак Вотье провел в Соединенных Штатах и Канаде пять лет. Повсюду в поездках его сопровождала жена, его незаменимая помощница.

По возвращении с послеобеденной прогулки по палубе госпожа Вотье с удивлением обнаружила, что мужа в каюте нет. Подождав немного, она отправилась искать его по всему теплоходу и, не найдя, поделилась тревогой с судовым комиссаром Бертенем.

На теплоходе тотчас начались поиски. Проходя мимо каюты Джона Белла, стюард, обслуживающий каюты, обнаружил, что дверь в нее приоткрыта. Анри Тераль — так зовут стюарда — не без труда открыл дверь, и его глазам предстало жуткое зрелище: молодой американец стоял на коленях, ухватившись за дверную ручку. Он был мертв. Из перерезанного горла на пижаму лилась кровь. В крови был и ковер... Здесь же на койке сидел Жак Вотье. Казалось, он в состоянии прострации: недвижимый, с бесстрастным лицом. Незрячие, лишённые всякого выражения глаза он уставил на собственные руки, обагрённые кровью... Стюард тотчас известил комиссара Бертена, который не мешкая бросился в каюту, где произошло убийство. Жак Вотье не оказал ни малейшего сопротивления. Он покорно дал себя арестовать и препроводить в судовой карцер. Его обезумевшая от горя супруга по просьбе капитана «Де Грасса» согласилась быть переводчицей на первом допросе: ведь никто другой на борту теплохода не владел способами общения с ее слепоглухонемым мужем.

Жак Вотье заявил, что не намерен давать никаких объяснений по поводу убийства. Он утверждал лишь, что оно вполне мотивировано, и безоговорочно признал себя виновным. Несмотря на мольбы жены, он в дальнейшем ни на йоту не отступил от занятой им позиции.

Мотив преступления тем более загадочен, что госпожа Вотье заявила: ни она, ни ее муж никогда не имели ни малейшего контакта с убитым. Они его совсем не знали. Судовой врач «Де Грасса», обследовав преступника, пришел к заключению, что психически Жак Вотье совершенно нормален.

Как только «Де Грасс» войдет в гаврский порт, убийца будет передан в руки уголовной полиции».

Та же газета, но уже от 12 мая, знакомила читателей с подробностями этой операции:

«Сразу же по прибытии «Де Грасса» в Гавр старший инспектор Мервель в присутствии переводчика с языка слепоглухонемых и судебно-медицинского эксперта вновь допросил Жака Вотье. Убийца Джона Белла почти слово в слово повторил через переводчика ответ, данный им сразу после преступления. Перед заключением под стражу странный преступник будет подверг-

нут углубленному медицинскому обследованию, которое должно определить, с кем мы имеем дело: с психически нормальным человеком или же с несчастным, внезапно обезумевшим от сознания своей неполноценности».

Не сделав по обыкновению ни одной пометки, Виктор Дельо поспешно покинул читальный зал Национальной библиотеки и снова сел в автобус, на сей раз направляясь в Латинский квартал. Во время поездки адвокат окончательно решил для себя, что под уродливой личиной Вотье скрывается душа, никак не соответствующая его внешности. Во всяком случае, налицо железная воля на службе у редкого интеллекта — своеобразного и почти непостижимого для обычного человека. Интеллекта, способного ввести в заблуждение любого — точнее, любого, кто воображает себя более пронзительным только потому, что способен видеть, слышать и говорить...

Выходя из автобуса на углу улиц Гей-Люссака и Сен-Жак, Виктор Дельо мысленно заключил, что защищать такого клиента и в самом деле будет нелегко.

Он остановился перед порталом дома номер 254 по улице Сен-Жак, где красовалась внушительных размеров надпись: «Национальный институт глухонемых».

Виктора Дельо принял директор института. Кратко изложив ему причину своего визита, адвокат спросил:

— Скажите, среди ваших воспитанников нет слепоглухонемых?

— Нет, мэтр. Здесь у нас только глухонемые. На обучении слепых специализируется Институт Валантена Айюи. И это естественно, поскольку наши методы диаметрально противоположны: для наших подопечных главным подспорьем является зрение, в то время как для слепых это слух и речь.

— А как же быть с теми, кто рождается без зрения и слуха?

— Единственный метод обучения, который им доступен, — комбинированное использование трех оставшихся чувств: осязания, вкуса и обоняния.

— Удастся добиться успеха?

— А как же. Некоторые слепоглухонемые от рождения достигают такого уровня образованности и культуры, какому могли бы позавидовать многие.

— И где же совершают подобные чудеса?

— В мире есть всего пять или шесть специализированных заведений такого рода. Во Франции — Институт святого Иосифа в Санаке, в департаменте Верхняя Вьенна, где братья ордена святого Гавриила терпением и настойчивостью добиваются поразительных результатов... Очень рекомендую там побывать. Тем более что ваш подопечный, Жак Вотье, выпущен из стен именно этого заведения, где он был, если не ошибаюсь, одним из самых выдающихся учеников.

— Не могли бы вы кратко обрисовать основные положения их методики обучения?

— Охотно... Мне не раз доводилось бывать в Санаке и встречаться там с замечательным человеком — господином Роделе-

ком. Именно он довел эту методику до совершенства. Если бы он не принадлежал к святому ордену, правительство давно бы уже наградило его орденом Почетного легиона... Итак, Ивон Роделек считает, что слепоглухонемому от рождения ребенку прежде всего следует дать понятие **символа**, чтобы он мог ухватить связь между осязаемым предметом и мимическим символом, его обозначающим. Для этого используются весьма хитроумные методы, с которыми вы познакомитесь в Санаке.

— Если я вас правильно понял, — спросил адвокат, — ребенку начинают давать представление об окружающем мире с помощью мимики, ведущей его от известного к еще неизвестному?

— Именно так. Только после этого его можно начинать учить дактилологической азбуке. Причем он не сможет получить понятие о буквах, не освоив предварительно двадцати шести положений пальцев — единственно благодаря послушанию, доверию к своему наставнику и, конечно, огромной подсознательной тяге к новым знаниям. Мало-помалу он научится обозначать предмет двумя способами: мимическим знаком и посредством дактилоазбуки.

— Таким образом, если я учитель и хочу дать своему необычному ученику понятие **книги**, я должен вложить ему в руки томик и довести до его сознания, что он может обозначать книгу либо с помощью мимического символа, либо воспроизводя пальцами пять букв: к-н-и-г-а?

— Вы верно уловили суть, дорогой мэтр. Комбинация из пяти букв очень скоро будет восприниматься учеником как некий образ, благодаря чему он поймет эквивалентность обоих обозначений: целостного, или синтезированного, и расчлененного, или аналитического. Повторение этого урока с различными предметами повседневного обихода закрепляет в его сознании оба способа выражения.

— Все это прекрасно, но как все-таки ребенка учат разговаривать?

— Учитель воспроизводит каждую дактилобукву на руке ученика. Одновременно он произносит соответствующий звук и дает ребенку ощупать, как расположен при этом язык, зубы и губы, а также осязать колебания груди, горла и дрожание крыльев носа — до тех пор, пока ученик наконец сам не сумеет воспроизвести этот «звук». Грудь учителя становится для слепоглухонемого своеобразным камертоном, с которым он сверяется, чтобы придать своим «звукам» надлежащую окраску... Будьте любезны, дорогой мэтр, произнесите согласный звук, неважно какой.

— Б, — произнес Виктор Дельо.

— Вам не приходилось задумываться над тем, какую сложную работу вы проделываете, чтобы выговорить этот, казалось бы, простейший звук? Все операции производятся механически, без всякого усилия, благодаря многолетней привычке, выработанной с самого раннего детства. Чтобы получилось это незатейливое «б», язык должен свободно и мягко лечь на основание ротовой полости, губы должны быть чуть поджаты, уголки губ слегка раздвинуты, дыхание — приостановлено. При таком положении органов речи мы, приоткрывая губы, резко выталкива-

ем изо рта порцию находящегося там воздуха: тот взрывной звук, что получается при этом, и есть звук «б»...

— Боже мой,— воскликнул адвокат с улыбкой,— признаться, я никогда ни о чем подобном не думал, и это хорошо: ведь если каждый раз задумываться над тем, как произнести тот или иной звук, я и рта не открою!

— Юному ученику,— продолжал директор,— приходится детально знакомиться с механизмом произнесения каждого звука, соответствующего определенной букве алфавита,— и так для всех букв и их сочетаний. Лишь усвоив это, он сможет воспроизводить устную речь... Она хоть и весьма несовершенна, но все же может быть понята посвященными. Вслед за этим наставник доводит до него соответствие между дактилологической буквой-символом, произносимым звуком и рельефной буквой: так он научится читать на ощупь письмо зрячих. Наконец, дабы подопечный овладел всеми доступными ему способами общения, наставник обучает его соответствию между дактилобуквой и выпуклой буквой алфавита Брайля. Все это, вместе взятое, и дает слепоглухонемому возможность писать так, чтобы его мог понять любой из нас, в том числе и вы, взявший на себя неблагодарный труд защищать его...

— Благодарю вас, уважаемый господин директор... Вот и для меня кое-что прояснилось. Разрешите попросить вас еще об одной услуге: не согласитесь ли вы сопровождать меня в качестве переводчика завтра утром в тюрьму Санта, где я надеюсь добиться от моего клиента, чтобы он заговорил?

— Я бы с радостью, дорогой мэтр, но не кажется ли вам, что лучше было бы пригласить для помощи в этом разговоре одного из братьев ордена святого Гавриила?

— Я сразу же подумал об этом и уже написал в Санак. Но время не ждет! Мне необходимо уже завтра вступить в контакт со своим клиентом... Только вы способны помочь!

Директор любезно согласился.

Даниелла встретила Виктора Делью на пороге:

— Как жаль, что вы не пришли часом раньше! Приходила госпожа Симона Вотье...

— Ого! Его матушка... Это меня радует, милая внучка! И что же она сказала?

— Утром она получила письмо и сразу отправилась к вам...

— Такой благоприятный момент нельзя упустить! Я еду...

— Куда, мэтр?

— К этой даме, в Аньер... Думаю, она уже вернулась, а если нет — подожду... Мне будет чем заняться...

При этих словах он достал из портфеля книгу. Мельком бросив на нее взгляд, студентка спросила:

— Я вижу, мэтр, вы увлеклись романами?

— А почему бы и нет? Начать никогда не поздно. Взгляните на обложку: вас ничего не удивляет?

— Название? «Один в целом свете» — звучит довольно грустно... А! Имя автора ведь это...

— Он самый. Видите ли, внучка, где-то на этих трехстах

страницах, я убежден, кроется ключ к разгадке... До скорого! А вы оставайтесь... Вдруг придет еще кто-нибудь из моих будущих свидетелей?

Адвокат вернулся лишь к полуночи, объявив:

— Падаю с ног, но мотался не зря... Как там насчет кофе?

— Кофе готов, мэтр.

— Вы мой добрый ангел, Даниелла! А теперь марш домой: вам пора спать.

— Но, мэтр, ведь ангелы не спят!

— Я в этом совсем не уверен! По крайней мере мой ангел-хранитель уже клюет носом...

— Вы виделись с дамой?

— Виделся... — лаконично ответил Виктор Дельо. — Спокойной ночи, внучка. И завтра снова приходите на дежурство к восьми тридцати...

Оставшись один, он накинул старенький халат, сунул ноги в шлепанцы и, удобно устроившись в кресле, погрузился в чтение «Одного в целом свете»...

Прочитанное повергло адвоката в изумление: такой глубины мысли мог достичь только исключительный человек. Как он сказал? «В противоположность приговоренным к смерти он был обречен на жизнь».

В десять утра Дельо в сопровождении директора Института глухонемых входил в здание тюрьмы. Вчерашний надзиратель провел их в камеру номер 622, только сейчас он помалкивал. Перед дверью адвокат сказал:

— Я прочел роман вашего странного подопечного. Занятно, и написано недурно... Кстати, вѣчером он получил передачу?

— Да, мэтр.

— Ну и как он к этому отнесся?

— Яйца и шоколад проглотил в мгновение ока.

Дельо обернулся к директору института:

— Дело идет на лад... Кажется, мне удалось его задобрить. Странно, что мои предшественники не прибегли к этому. Еще немного — и мы подружимся. Вот для чего мне нужен переводчик. Попомните мое слово — я добьюсь своего, или нам не выйти сегодня из этой камеры!

Как только массивная дверь распахнулась, узник, сидевший на койке, встал и отступил к стене.

— Сегодня он кажется мне огромнее, чем вчера! — воскликнул Дельо. — Но почему он так внезапно поднялся? Не мог же он услышать, как мы вошли?

— Говорю же вам, мэтр, — сказал надзиратель, — он чует...

— Верно подмечено: чует! — отозвался адвокат. — Итак, уважаемый переводчик, что вы скажете о моем клиенте?

Директор института, который все это время как вкопанный

стоял на пороге, охваченный изумлением и испугом, ответил не сразу:

— Впечатляющая личность...

— Еще одно меткое определение,— сказал Виктор Дельо.— Я даже позволю себе продолжить вашу мысль, мой друг: возможно ли, чтобы за подобным обликом скрывался высокоразвитый интеллект?

Адвокат подошел ближе к гиганту и, не оборачиваясь, сказал:

— Недаром вчера, перед тем как уйти, я дал ему возможность уловить мой запах... Теперь он не отшатывается: уже знает меня... Непривычно, но и приятно думать, что ему хватило один раз вдохнуть мой запах, чтобы потом узнавать! Это, конечно, еще не говорит о том, что мы уже друзья! Пока мы друг к другу приглядываемся — скажем так. Но его все-таки смущает чье-то присутствие... Ваше, уважаемый переводчик. Он разбирается в третьем, незнакомом запахе: ведь мой и надзирателя для него уже привычны... Надо бы, чтоб он привык и к вам, во время дорого, так что я попытаюсь сломать лед одной небольшой любезностью...

При этих словах Виктор Дельо вложил в правую руку Вотье открытую пачку сигарет. Тот, не колеблясь ни секунды, левой рукой вытащил из нее сигарету и поднес ко рту. Адвокат щелкнул зажигалкой, Вотье затянулся и с шумом выпустил дым через ноздри.

— Он курит,— заметил адвокат.— Это еще раз доказывает, что перед нами — такое же, как и мы с вами, цивилизованное животное... Похоже, сигарета доставляет царню истинное удовольствие. Наверное, до сих пор ему никто не предлагал закурить.

— Да никому и в голову не приходило,— отозвался надзиратель.— Попробуй догадайся, чего ему надо! Ворчит себе, и все тут...

— Обратите внимание, друг мой, сейчас — никакого ворчания! Так давайте же воспользуемся переменной в настроении и порасспрашиваем его... Глядите-ка, да ведь он побрился!

— Сегодня утром,— подтвердил надзиратель.

— Сам?

— Конечно. Ловкости ему не занимать.

— Вчера мне представилась возможность испытать это на себе! — поморщившись, заметил адвокат.— Дорогой мой переводчик, теперь, как мне кажется, вы можете подойти к нему без опаски: он уже успел привыкнуть к вашему запаху.

Переводчик пребывал в нерешительности.

— Да не бойтесь же! В сущности, этот верзила — славный парень... Он уже готов к общению: свежевыбрит, с сигаретой в зубах... Скоро он у нас агнцем станет! Уступаю вам слово, если можно так выразиться. Для начала сообщите ему, что я его новый защитник, а вы всего лишь переводчик... Объясните также, что я самый надежный его друг и буду впредь заботиться о его пропитании и сигаретах.

Пальцы переводчика начали осторожно прикасаться к пальцам узника. Тот не противился, но лицо по-прежнему оставалось непроницаемым.

— Что он отвечает? — с тревогой спросил адвокат.

— Он молчит.

— Плохо... Но главное — он понял, кто я такой. Теперь скажите ему, что мне понравился роман «Один в целом свете»...

Пальцы директора вновь забегали по руке Жака Вотье. На этот раз лицо узника прояснилось.

— Ого! — воскликнул Дельо. — Мы задели чувствительную струну: его писательскую гордость... Скажите ему сейчас же, что я добьюсь разрешения дать ему пуансон, трафарет и пачку плотной бумаги, чтобы он мог, пользуясь вынужденным одиночеством, делать наброски нового романа... Дайте ему понять, что его тюремные впечатления очень заинтересуют читателей...

Переводчик вновь принялся за дело. Когда его проворные пальцы замерли наконец в неподвижности, узник, в свою очередь, отстучал пальцами сообщение на ладони своего безмолвного собеседника.

— Он начал отвечать! — воскликнул адвокат. — Что он говорит?

— Он благодарит вас, но считает, что это ни к чему, потому что ему никогда уже не придется писать...

— Ну, это он напрасно! Скажите ему, что, на мой взгляд, он правильно сделал, что убил этого американца...

— Вы полагаете, я могу ему это сказать? — озадаченно спросил переводчик.

— Вы должны! Конечно, подобное заявление несколько выходит за общепринятые рамки, но в этом исключительном случае совершенно необходимо, чтобы мой клиент был убежден в поддержке своего защитника, иначе не быть между нами доверию!

Переводчик передал Жаку Вотье слова защитника, и Дельо показалось, что на замкнутом лице узника промелькнула тень удивления.

— Добавьте еще, — поспешно сказал адвокат, — раз он действовал правильно, следовательно, он не виновен, и задайте ему пять вопросов... Во-первых, почему он признает себя виновным?

— Он не отвечает, — сказал переводчик.

— Второй вопрос: почему он до сих пор отказывается от защитника?

— Он молчит.

— Третий вопрос: хотел бы он обнять свою мать?

— Нет.

— Хотя что-то определенное... Четвертый вопрос: хотел бы он увидеться с женой?

— Нет.

— Очень интересно... — пробормотал адвокат и прибавил: — Пятый и последний вопрос: хочет ли он, чтобы я устроил свидание с Ивоном Роделеком?

— Он не отвечает.

— Не отвечает, но и не говорит «нет»!.. Дорогой господин директор, закончим на этом: теперь я знаю достаточно. Еще раз приношу свои извинения за то, что отнял у вас драгоценное время. Напоследок сообщите, пожалуйста, моему клиенту, что

я очень хочу обменяться с ним рукопожатием; для меня это единственный способ выразить ему искреннюю симпатию.

Дельо пожал руку узнику, а переводчик между тем объяснял значение этого жеста. Однако рука Вотье осталась неподвижной.

На улице адвокат спросил:

— Скажите откровенно, что вы думаете о моем клиенте?

— То же, что и вы, дорогой мэтр. Вы правы: парень умен и осторожен. Из него не вытянешь ни слова сверх того, что он сам найдет нужным сказать, и он умеет пользоваться своей внешностью, чтобы вводить в заблуждение тех, кто на него смотрит...

— Совершенно с вами согласен... Увы, дорогой друг, я начинаю убеждаться в том, что умных людей защищать труднее, нежели глупцов!

Виктор Дельо отправился напрямик к себе домой, где его с нетерпением поджидала Даниелла, чтобы вручить письмо со штемпелем Санака. Пробежав его глазами, адвокат объявил:

— Я уезжаю... Как раз успею на двенадцатичасовой экспресс, который к семи часам доставит меня в Лимож... В этом славном городе мне предстоит кое-кого навестить. Затем поеду дальше. А вы будете жить здесь все то время, пока меня не будет, и продолжать нести службу.

Дельо отсутствовал четыре дня. Даниелла уже начала беспокоиться, но в десять вечера раздался характерный звонок в дверь.

— Наконец-то вы, мэтр!

— Добрый вечер, внучка... Поесть что-нибудь осталось? Голоден как волк: мой старый желудок уже не в состоянии приноравливаться к продукции вагона-ресторана...

— Ужин готов, мэтр... Вы, наверное, устали?

— Меньше, чем предполагал... Разрешаю вам поболтать со мной во время ужина, но потом — сразу домой...

Пока он с аппетитом насыщался, девушка не ропсала беспокоить его вопросами. Наконец, разрезав сочную грушу, он заговорил сам:

— Я вижу, вы стораете от желания узнать, что я сделал. И, раз уж вы сумели удержаться от расспросов, так и быть, скажу... Я присутствовал на нескольких опытах...

— Опытах?

— Да, над человеческими существами, рожденными без зрения, слуха и речи.

— И они живут?

— Да, и совсем не так плохо, как вы думаете...

Оставшись один, Дельо облачился в халат, но креслом на этот раз пренебрег: усевшись за письменный стол, он принялся изучать привезенные им из поездки брошюры, на обложках которых значилось: «Региональный институт слепых и глухонемых, Санака». От этого занятия его оторвал телефонный звонок:

— Алло! Он самый, мадам. С кем имею честь?... О, прекрасно!.. Значит, вы получили мое письмо? Выходит, вы отнюдь не так

неуловимы, как утверждали мои предшественники?.. Буду очень рад с вами встретиться, госпожа Вотье...

На свидание он пришел точно в назначенный срок, но дама в темно-синем костюме и с серым шарфом уже ожидала его, прогуливаясь по аллее розария. В этот утренний час сады Багатели были еще безлюдны. Адвокат пошел навстречу, поправляя на ходу очки, чтобы составить себе как можно более верное впечатление о ее облике в целом. Его ожидания полностью оправдались. Внешне Соланж Вотье являла собой полную противоположность мужу: светловолосая, хрупкая, с виду почти подросток, но, несмотря на это, чертовски хороша собой.

— Простите, мадам, что заставил вас ждать,— сказал старый адвокат, приподнимая головной убор.

— Это не имеет никакого значения,— ответила молодая женщина с еле заметной улыбкой, в которой сквозила затаенная грусть, тронувшая ее собеседника.— Я слушаю вас.

— Постараюсь быть кратким, мадам. В двух словах, вы мне необходимы. Говоря «мне», я имею в виду, что вы необходимы нам: вашему мужу и мне...

— Вы в этом уверены, мэтр? — скептически спросила она.— Ведь Жак, напротив, с самого момента убийства под любым предлогом уклонялся от встреч со мной. Сколько раз я добивалась согласия посетить его в тюрьме, но он всегда отказывал мне в этом. Похоже, он избегает меня, но почему?..

— Пока я ничего не в силах объяснить, мадам. Сам брожу в потемках... Я полон сомнений... Одно знаю наверняка — вы можете и должны мне помочь!

— Так ведь и я хочу того же, дорогой мэтр!

— Почему же вы отказали в помощи моим предшественникам?

— Им я не доверяла. В моем несчастном муже они видели лишь некий «казус» для использования в своих собственных целях, для саморекламы. Достаточно сказать, что эти так называемые защитники были уверены в его виновности, а ведь я убеждена, что Жак не убивал!

— Что заставляет вас так думать, мадам?

— Глубокая уверенность в том, что Жак не способен на убийство! Никто в целом мире не знает его лучше меня.

— Не сомневаюсь в этом, мадам. Как раз этим вы и окажете мне огромную помощь.

— Нет, мэтр! Я могла бы быть вам полезной, если бы Жак хотел, чтобы его защищали. Но он этого не хочет. Он делает все для того, чтобы его осудили: я чувствую, я знаю это! Ни вам, ни кому другому не удастся вырвать у него тайну, если даже я не добилась этого на корабле, когда была единственным посредником между ним и комиссаром во время допросов.

— Как ни прискорбно в этом признаваться, мадам, но я, как и мои предшественники, убежден, что ваш муж действительно убил американца! Тому множество доказательств: отпечатки пальцев, его собственные признания.

— Но почему же, по-вашему, он убил этого человека? Ведь он

не был с ним знаком, даже не подозревал о его существовании!

— Только вы, мадам, можете помочь мне найти ответ на это «почему»... У меня есть все основания полагать, что мотив преступления был настолько веским — это я, кстати, уже сообщил вчера вашему мужу, через переводчика, — что для меня не составит труда добиться его оправдания.

Молодая женщина устремила на адвоката долгий, испытующий взгляд. Потом произнесла почти шепотом, будто боялась, что ветер разнесет ее слова по пустынному парку:

— У Жака не было никакой причины убивать...

— К счастью, дорогая госпожа Вотье, вы сказали это всего лишь передо мной, защитником вашего мужа и, следовательно, вашим другом! Если вы повторите эти слова перед судом, куда я твердо намерен пригласить вас в качестве свидетеля защиты, боюсь, осуждения Жака Вотье не миновать! Полагаю, мадам, нам следует встретиться завтра у меня и поговорить более подробно. Будем считать, что это свидание на свежем воздухе послужило лишь нашему знакомству. Час назначьте сами, но не забывайте — время не ждет!

— Дайте подумать. Я позвоню вечером, часов в одиннадцать.

— Как вам будет угодно...

Минула неделя с тех пор, как старшина сословия поручил защиту Жака Вотье Виктору Дельо. И вот адвокат снова появился во Дворце.

— Ну, — спросил Мюнье, принимая его в своем кабинете, — как продвигается дело?

— Я почти готов, — непринужденным тоном ответил Дельо, буквально ошеломив этим своего товарища по студенческим годам.

— Браво! Ты пришел попросить отсрочить процесс?

— Нет. К началу судебного заседания — двадцатому ноября — я буду готов.

— В добрый час! Неужели тебе удалось так быстро разобраться в этом деле? Ну, и что же ты думаешь о своем клиенте?

— Позволь не отвечать...

— Как тебе будет угодно! В общем, ты доволен? Ты больше не сердись на меня за то, что я взвалил на тебя эту работу?

— С благодарностями пока повременю... А сейчас я хотел бы поговорить со своим соперником на предстоящем процессе¹.

— С Вуареном? Ты знаешь его?

— Понаслышке...

— Грозный противник! Адвокат при американском посольстве. По-моему, сейчас он должен быть во Дворце: я прикажу, чтобы его нашли...

— Ты оказываешь мне большую услугу! — заметил Дельо. — Я все думал, снизойдет ли мой знаменитый коллега до знакомства с жалким адвокатишкой...

¹ Во французском суде помимо государственного обвинителя — прокурора — обвинение поддерживает также адвокат, представляющий интересы потерпевшей стороны, — так называемый защитник гражданского истца.

— В любезности Вуарену не откажешь, хоть он и держится высокомерно... Может, он и не слышал о тебе, но я уверен, с уважением отнесется к коллеге, взвалившему на плечи тяжкое бремя защиты этого Вотье. Ваши профессиональные отношения будут отличными, иначе и быть не может... Ага, вот и он... Прошу вас, входите, дорогой друг. Это ваш оппонент в деле Вотье, мой старый добрый товарищ Дельо...

Рукопожатие адвокатов вышло вялым. Вуарен и Дельо являли собой полную противоположность друг другу. Вуарен выглядел прекрасно; будучи двадцатью годами моложе соперника, он любил изъясняться витиевато и упивался собственным красноречием. Внутреннее отличие было куда как существеннее: если Виктор Дельо думал только об интересах клиента, то Андре Вуарен пекся прежде всего о собственной персоне. Защитник интересов гражданского истца решил сразу же расставить все по своим местам:

— Вы, дорогой коллега, по-моему, впервые выступаете в Суде присяжных?

— По правде говоря, да, и не слишком этим горжусь!

— Как я вас понимаю! Перестраиваться всегда так трудно... Вот я, например, дела Исправительного суда предпочитаю уступать коллегам...

— Раз уж мне посчастливилось, дорогой коллега, встретиться с вами, разрешите спросить, скольких свидетелей вы собираетесь представить суду?

— Около дюжины... А вы?

— Едва ли половину... — развел руками Дельо.

— Это меня не удивляет! От ваших предшественников я слышал о трудностях, с которыми они столкнулись.

— Они не слишком старались! — с улыбкой заметил Дельо. — Что ж, дорогой коллега, до встречи на первом заседании суда...

После ухода Виктора Дельо эlegantный мэтр Вуарен доверительно сказал старшине сословия:

— Старый чудак! Откуда он взялся? Из провинции?

— Ошибаетесь, мой дорогой... Еще немного, и Дельо станет старейшиной парижской адвокатуры...

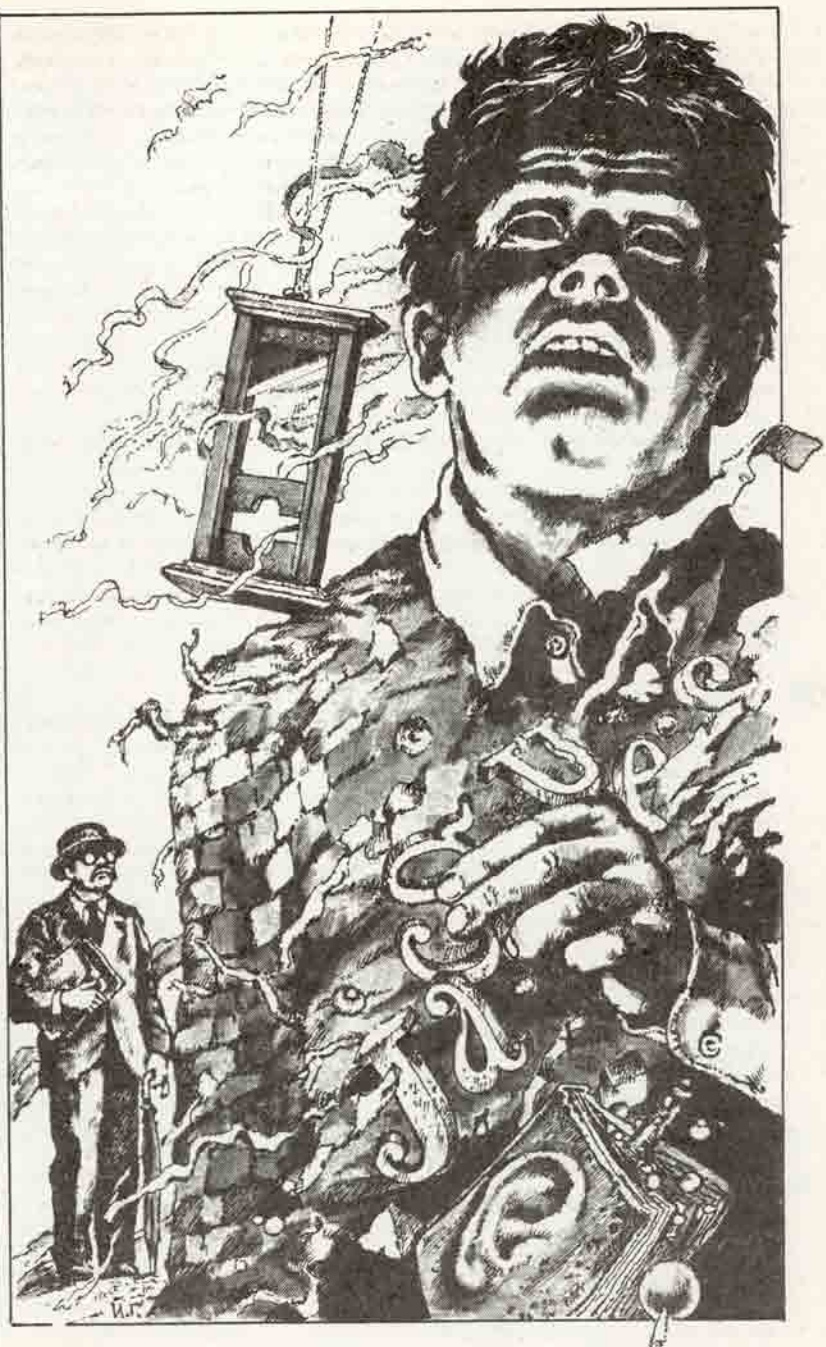
— Невероятно! Разрешите узнать, дорогой старшина сословия, почему вы поручили это дело именно ему?

— По трем существенным причинам: во-первых, никто не хотел брать на себя защиту Вотье; во-вторых, я счел справедливым поручить такому человеку, как Дельо, дело, которое может наконец принести ему известность — пока хотя бы среди коллег; в-третьих, ваш противник, по-моему, не лишен таланта...

— В самом деле? — скептически осведомился Вуарен.

— Пусть у него не слишком представительная внешность, однако он, на мой взгляд, обладает качеством, все более и более редким в нашей профессии: он любит свое дело...

Будущему адвокату, Даниелле Жени, до сих пор не выпадала удача присутствовать на процессе в Суде присяжных, поскольку места, выделяемые адвокатуры, всегда распределяются среди



элиты. Однако сегодня, двенадцатого ноября, в день открытого процесса по делу Вотье, девушке повезло. Получив место на скамье защиты благодаря Виктору Делью, представившему ее всем во Дворце как свою первую помощницу, она с любопытством рассматривала зал суда и заполнивших его людей. В накинутой на плечи мантии и адвокатской шапочке на темных кудрях Даниелла ощущала себя в своей стихии.

Первым объектом, попавшим под обстрел горящих жадным любопытством глаз девушки, стал, естественно, ее ближайший сосед — ее славный, несравненный Виктор Делью. Даже такое важное обстоятельство, как сегодняшний процесс, не заставило его изменить свой неказистый облик: на нем была все та же порывевшая мантия, и очки его по-прежнему то и дело спадали с носа. Меньше всего на свете адвокат обращал внимание на пятьсот пар глаз, нацеленных на него со смешанным выражением изумления и сочувствия: присутствующие спрашивали себя, откуда взялся здесь этот ходячий анахронизм и как он, черт побери, рассчитывает с честью выйти из битвы в таком безнадежном деле. Все внимание Виктора Делью было сосредоточено на том, чтобы разобрать в гаме голос своего соседа слева, директора Института глухонемых. Сей достойный господин в конце концов не на шутку увлекся «делом Вотье». Он добился, чтобы его назначили главным посредником между обвиняемым и судом. За те три недели, что предшествовали открытию процесса, этот отзывчивый человек постоянно сопровождал Виктора Делью в Санте и благодаря своему умению помог добиться от узника кое-каких существенных показаний.

166

Быстро скользнув взглядом по аудитории, в основном состоявшей из элегантно одетых праздных женщин, Даниелла остановилась на сопернике защиты — мэтре Вуарене. Он был — почему бы не признаться — весьма импозантен, не то что скромный, незаметный Делью. Мэтра окружал целый сонм помощников. В противоположность Виктору Делью он снисходительно поглядывал на публику. Чувствовалось, что мэтр готовится к очередному триумфу.

Наконец в зал суда ввели подсудимого, и при виде его у впечатлительной Даниеллы перехватило дыхание. Она даже не представляла себе, что на свете может быть подобное существо человеческой породы... Чудовищная косматая голова, посаженная на туловище атлета, зверское лицо с бульдожьей челюстью — таков был устрашающий облик гиганта, выросшего у скамьи подсудимых. Стоявшие по бокам жандармы в сравнении с ним выглядели просто недомерками. Девушка инстинктивно вжалась в спинку кресла: представшее перед ней страшилище никак не могло быть тем несчастным, о котором с такой теплотой отзывался Виктор Делью. Стоило лишь взглянуть на обвиняемого, чтобы почувствовать в нем зверя, монстра, какие редко встречаются на земле. Даниеллу охватил ужас. Одна мысль о том, что ее покровителю предстоит защищать такое чудовище, причиняла боль.

Она поспешила перевести взгляд на кучку присяжных, которые в ожидании начала процесса молча рассматривали странно-

го подсудимого, чье неподвижное, будто одеревенелое лицо не выдавало ни малейшего чувства. Понимал ли Жак Вотье, отрезанный от внешнего мира своей тройной ущербностью, какая трагедия разыграется здесь, осознавал ли, что в этой трагедии ему уготована роль жертвы? Окаменевший слепоглухонемой производил на присутствующих поистине угнетающее впечатление.

Но вот в зал вошли члены высокого суда и отвлекли девушку от печальных размышлений. Все находившиеся в зале поднялись, председатель суда Легри и ассессоры¹ заняли свои места. Государственное обвинение поддерживал прокурор Бертье, вызывавший у Дельо гораздо более серьезные опасения, нежели Вуарен. Назначенный на этот высокий пост совсем недавно, прокурор, похоже, считал вопросом чести отправить на гильотину каждого, кто имел несчастье попасть в его руки.

Секретарь суда монотонным голосом зачитал обвинительный акт, после чего началась процедура установления личности подсудимого, которая отличалась от обычной только тем, что вопросы председателя суда Легри доводились до слепоглухонемого через переводчика, воспроизводившего их с помощью дактилологической азбуки на пальцах Жака Вотье. Во избежание даже малейшей ошибки, которая могла бы возникнуть при подобном способе общения, суд обязал подсудимого пользоваться для ответа пуансоном и трафаретом по системе Брайля. Как только он давал ответ проколами на специальной бумаге, второй переводчик, хорошо владеющий этим письмом слепых, оглашал его ответ суду.

— Ваше имя?

— Жак Вотье.

— Дата и место рождения?

— Пятое марта 1923 года, Париж, улица Кардине.

— Имя вашего отца?

— Поль Вотье, скончался двадцать третьего сентября 1941 года.

— Имя вашей матери?

— Симона Вотье, урожденная Арну.

— Есть ли у вас братья и сестры?

— Одна сестра, Регина.

Из ответов подсудимого присяжные узнали, что Жак Вотье, родившийся слепоглухонемым в Париже, в доме номер шестнадцать по улице Кардине, под родительским кровом, провел первые десять лет жизни — точнее, существования, — окруженный близкими и находясь на особом попечении совсем юной, лишь тремя годами старше его самого, служанки, Соланж Дюваль, чья мать, Мелани, также была в услужении у семьи Вотье. Единственной обязанностью юной Соланж был уход за несчастным мальчиком, чья беспомощность требовала ее постоянного присутствия. Отчаявшись своими силами дать ему образование, родители Жака, люди состоятельные, стали обращаться в раз-

¹ В составе французского Суда присяжных — трое профессиональных судей (председатель и двое ассессоров) и девять присяжных заседателей.

личные специализированные заведения с просьбой принять несчастного ребенка. В конце концов Региональный институт Санака в департаменте Верхняя Вьенна, основанный братьями ордена святого Гавриила, — в этом заведении успешно обучался не один слепоглухонемой ребенок — согласился взять последнего отпрыска семейства Вотье на свое попечение. Забирал мальчика из отчего дома на улице Кардине сам глава института, брат Ивон Роделек. Следующие двенадцать лет жизни Жак Вотье провел в Санаке, где благодаря незаурядному уму быстро достиг значительных успехов.

Блестяще сдав оба экзамена на степень бакалавра, он, по совету Ивона Роделека, угадавшего в нем склонность к литературной деятельности, начал писать роман, который вышел тремя годами позже под названием «Один в целом свете» и произвел сенсацию. Начинающему писателю помогала в работе его бывшая служанка, Соланж Дюваль, которой Ивон Роделек тоже дал основательное образование.

Спустя полгода после выхода в свет «Одного в целом свете» Жак Вотье и Соланж Дюваль обвенчались в Санаке. В то время Жаку было двадцать три года, а его невесте — двадцать шесть. Несколько недель спустя молодая чета отправилась в Соединенные Штаты. Жак Вотье, получивший приглашение одного американского научного общества, на протяжении пяти лет успешно выступал в городах США с лекциями и докладами, целью которых было ознакомить американцев с замечательными достижениями Франции в области воспитания и обучения слепоглухонемых от рождения. Все это время Соланж Вотье была помощницей и переводчицей мужа. По возвращении из этого длительного путешествия на борту теплохода «Де Грасс» и разыгралась ужасная драма...

Первым свидетелем обвинения оказался скромно одетый молодой человек, высокий и стройный блондин, чье открытое лицо не могло не вызвать симпатии: на нем буквально отдыхал взгляд после вынужденного созерцания отталкивающей внешности подсудимого. Даниелла, не желая себе в этом признаваться, почувствовала, что свидетель, о котором она еще ничего не знала, успел понравиться ей... А раз он понравился Даниелле, у которой под строгой мантией билось сердце истой парижанки, готовое растаять под первыми же лучами солнца, не было решительно никаких оснований полагать, что он не понравится большинству из присутствующих дам.

— Ваше имя?

— Анри Тераль, — раздался несколько смущенный голос.

— Дата и место рождения?

— Десятое июля 1915 года, Париж.

— Национальность?

— Француз.

— Кем вы работаете?

— Стюардом на теплоходе «Де Грасс» Всеобщей трансатлантической компании.

— Поклянитесь говорить правду, одну только правду, ничего, кроме правды...

— Клянусь!

— Господин Тераль, в числе кают-люкс, что вы обслуживали на борту «Де-Грасса», была и каюта, которую занимал господин Джон Белл. Расскажите суду, при каких обстоятельствах вы обнаружили убитого.

— Господин председатель суда, обходить каюты в послеобеденный час, когда не принято тревожить отдыхающих пассажиров, я начал в тот день, пятого мая, только потому, что так распорядился судовой комиссар, господин Бертен. Это он дал указание всей команде искать исчезнувшего пассажира, господина Вотье. Все мы знали, по крайней мере в лицо, этого слепоглухонемого, который время от времени прогуливался по палубе под руку с супругой. В силу своей ущербности он не мог остаться на борту теплохода незамеченным, и потому поиски обещали быть недолгими. Открыв с помощью универсального ключа, который я всегда ношу с собой по служебной необходимости, несколько кают-люкс и извинившись перед разбуженными пассажирами, я с удивлением обнаружил, что дверь в каюту господина Джона Белла приоткрыта... Я толкнул ее, но она поддавалась только при некотором усилии, будто что-то было приклонено к ней изнутри. Войдя в каюту, я сразу понял причину странного сопротивления: дверную ручку сжимал в руках господин Джон Белл, стоявший почему-то на коленях. С первого же взгляда мне стало ясно, что передо мной — еще не остывший труп...

2. СВИДЕТЕЛИ ОБВИНЕНИЯ

— Господина Белла, — продолжал стюард, — убили только что. На этот счет невозможно было ошибиться: кровь, вытекшая из горла на пиджаму и дальше на ковер, только начала сворачиваться.

— Господин председатель суда, — произнес Виктор Дельо, поднимаясь, — разрешите задать свидетелю вопрос... Скажите нам, господин Тераль, где находился Жак Вотье, когда вы вошли в каюту?

— Господин Вотье сидел на койке... Он выглядел оцепеневшим и безразличным ко всему. Больше всего поразили меня его руки, которые он вытянул перед собой, растопырив пальцы, и, казалось, с отвращением разглядывал, хотя и не мог их видеть. Руки были в крови.

— И из этого вы заключили, — продолжил Виктор Дельо, — что убийца он?

— Я из этого ничего не заключил, — спокойно возразил стюард. — Передо мной находились двое: один — мертвый, другой — живой... Оба были залиты кровью. И вообще, кровь была везде: на ковре, на перине и даже на подушке... Неописуемый беспорядок в каюте говорил о том, что тут происходила жестокая схватка. Жертва защищалась, но убийца оказался сильнее. Присутствующие здесь могут убедиться: господин Вотье сложен, как атлет.

— Что вы сделали дальше? — спросил председатель суда.

— Выбежал из каюты и позвал на помощь одного из товарищей. Оставив его дежурить у дверей каюты, я побегал за комиссаром Бертенем. Я быстро разыскал его, и мы втроем вошли в каюту. Вотье не двинулся с места: он по-прежнему в оцепенении сидел на койке... Нам с товарищем оставалось лишь выполнять распоряжения господина Бертена...

— Какие именно распоряжения?

— Осторожно подойдя к Вотье, мы убедились, что оружия при нем нет. Возле трупа оружия тоже не оказалось. Господин комиссар сразу обратил на это внимание. Я хорошо помню его слова: «Любопытно! Судя по ране, тут явно воспользовались кинжалом. Где же он может быть? У Вотье, который, очевидно, один это знает, не спросишь, — ведь он нас не слышит и не может ответить! Ну, ладно, с этим разберемся потом... Сейчас главное — заняться этим парнем: уж очень похоже, что убил он. На всякий случай его надо сейчас же упрятать в судовой карцер... Вот только даст ли он себя туда отвести?» Вопреки нашим опасениям Вотье не оказал ни малейшего сопротивления. Он словно смирился со своей судьбой, совершив убийство, и даже нарочно остался сидеть на койке своей жертвы, чтобы ни у кого не возникло сомнений в его виновности! Он, как дитя, покорно дал нам отвести себя в карцер. Мой товарищ остался сторожить каюту. Сам я встал на часы у обитой железом двери карцера и стоял там с полчаса, пока меня не сменил один из членов команды, назначенный капитаном.

— После этого вы вернулись к каюте, где произошло убийство?

— Да, но у двери я увидел, что капитан теплохода, господин Шардо, уже опечатал каюту своей печатью.

— Суд благодарит вас, господин Тераль. Вы можете идти... Пригласите очередного свидетеля...

Показания судебного комиссара Бертена соответствовали рассказанному стюардом.

— Господин председатель, — начал третий свидетель обвинения, капитан «Де Грасса» Шардо, — о преступлении я узнал от старшего комиссара Бертена, который перед этим из соображений предосторожности запер подозреваемого в судовой карцер. Он спросил у меня дальнейших указаний. Хотя никто из пассажиров и команды не может быть арестован без моего личного распоряжения, я одобрил решение комиссара Бертена, действовавшего так исключительно во избежание огласки этого прискорбного происшествия. Вместе с комиссаром и судовым врачом, доктором Ланглуа, мы спустились в каюту-люкс, которую занимал господин Джон Белл. Вход в нее охранял стюард. В помощь ему я выделил матроса. Убедившись в том, что в каюте ничего не изменилось, я опечатал дверь. Передо мной стояла теперь только одна проблема: до Гавра оставалось еще семь суток ходу, так что труп нельзя было оставить в каюте из-за неминуемого разложения. После того как доктор Ланглуа самым тщательным образом, насколько это было возможно, произвел

медицинскую экспертизу, я принял решение с наступлением ночи, когда все пассажиры заснут, перенести тело в ледник, имеющийся на судне: там оно хорошо сохранится до прибытия в Гавр. Затем мы с комиссаром Бертенем прошли в его канцелярию, где госпожа Вотье с тревогой ожидала известий об исчезнувшем супруге.

Мы осторожно обрисовали ей разыгравшуюся трагедию, в которой ее муж был, по-видимому, самым серьезным образом замешан.

— Какова же была реакция госпожи Вотье? — спросил Виктор Дельо.

— Госпожа Вотье упала в обморок. Только час спустя нам удалось уговорить ее пойти вместе с нами в карцер, куда был заключен ее муж.

— Как повели себя супруги в первый момент встречи? — вновь задал вопрос защитник Жака Вотье.

— Сцена была душераздирающей. Госпожа Вотье бросилась к мужу, и тот сжал ее в объятиях. В отчаянии она громко повторяла: «Ведь ты не делал этого, Жак? Это невозможно, любимый мой! Почему?»

— Считаю своим долгом напомнить господам присяжным, — сказал Виктор Дельо, — что Жак Вотье не мог ни слышать, ни понимать горестных восклицаний своей супруги. Позволю себе задать свидетелю последний вопрос: держала ли при этом госпожа Вотье своего мужа за руки?

— За руки? — удивленно переспросил капитан «Де Грасса». — Точно не помню... Кажется, да...

— Припомните хорошенько, это очень важно! — настаивал Дельо.

— Суд да разрешит мне высказать свое удивление, — язвительно вмешался мэтр Вуарен, — той настойчивостью, с которой защита пытается набросить тень на показания свидетеля, чья добросовестность не может быть поставлена под сомнение...

— Не о добросовестности сейчас идет речь, дорогой коллега, — воскликнул Виктор Дельо, — а о человеке, рискующем головой! Здесь все имеет значение, малейшая деталь! И если я настаиваю на этой подробности, то лишь по той простой причине, что супруги, держа друг друга за руки, имели возможность поговорить между собой на пальцах — причем так, что для капитана Шардо и комиссара Бертена это осталось бы незамеченным.

— Ну и что из того, — заметил прокурор Бертье. — Даже если предположить, что супруги Вотье поговорили таким способом между собой без ведома остальных, что это может изменить в существе дела?

— Это может все изменить, господин прокурор! И в ходе дальнейшего разбирательства я берусь это доказать, сейчас же хочу только обратить внимание господ присяжных на эту деталь.

С этими словами Виктор Дельо сел на место.

— Что произошло в карцере потом, — спросил следователь суда, — когда излияния супругов закончились?

— Я тотчас приступил к допросу Жака Вотье, который по

настоянию комиссара Бертена велся письменно. Госпожа Вотье переводила мои вопросы супругу, а Жак Вотье отвечал, используя пуансон, трафарет и плотную бумагу — эти принадлежности для письма по методу Брайля его жена всегда носила при себе, в сумочке. Ответы, собственноручно написанные Жаком Вотье, затем тщательно собрал комиссар Бертен.

— Все эти документы находятся в распоряжении суда, — объявил прокурор Бертье.

— Какие вопросы вы задали Жаку Вотье, господин капитан? — спросил председатель суда.

— Мой первый вопрос был таков: «Признаете ли вы себя виновным в убийстве Джона Белла?» Ответ: «Этого человека убил я. Я признаю это категорически и ни в чем не раскаиваюсь». Второй вопрос: «Чем вы его убили?». Ответ: «Ножом для разрезания бумаги». Третий вопрос: «Каким именно ножом?» Ответ: «Тем, который был на ночном столике и который компания предоставляет в распоряжение пассажиров в каждой каюте. У меня в каюте есть точно такой же». Четвертый вопрос: «Что вы сделали дальше с этим ножом — ведь в каюте его не оказалось?» Ответ: «Я избавился от него, выкинув в море через открытый иллюминатор». Пятый вопрос: «Зачем же вы выбросили его в море, раз уж все равно не собирались отрицать свою виновность в преступлении? Этот поступок был совершенно бесполезен!» Ответ: «Нож внушал мне ужас». Шестой вопрос: «Знали ли вы до этого свою жертву?» Ответ: «Нет». Седьмой вопрос: «Тогда почему же вы его убили?» Жак Вотье не ответил. «С целью ограбления?» Ответ: «Нет». Восьмой вопрос: «Не потому ли, что Джон Белл причинил вам вред или нанес серьезный ущерб?» Жак Вотье не ответил и на этот раз. С этой минуты он вообще перестал отвечать на мои вопросы. Нам с комиссаром Бертеном оставалось лишь покинуть карцер, что мы и сделали, попросив госпожу Вотье выйти вместе с нами. Обняв напоследок мужа, она безропотно выполнила нашу просьбу.

— Разрешали ли вы госпоже Вотье видеться с мужем на протяжении оставшегося пути? — спросил председатель суда.

— Она виделась с ним ежедневно в моем и комиссара Бертена присутствии. Мы нуждались в ней как в переводчице, поскольку на борту теплохода она была единственной, кто знал азбуку глухонемых и письмо слепых по Брайлю... При этом я считал благоразумным последовать совету доктора Ланглуа и не оставлять госпожу Вотье наедине с мужем. Хотя, по мнению доктора, Жак Вотье и не обнаруживал никаких симптомов умственного расстройства, возможность того, что убийство он совершил в припадке внезапного безумия, не исключалась. Никто не рискнул бы поручиться, что подобный приступ не повторится и жертвой не станет на этот раз его собственная жена.

— Как проходили эти встречи?

— Госпожу Вотье охватывало все большее отчаяние. Я пытался задавать ее мужу вопросы, но он на них не отвечал. Напрасно жена умоляла его чуть ли не на коленях, пытаясь объяснить, что не в его интересах молчать, что мы с комиссаром не судим его, а желаем ему добра... Все было впустую. Послед-

няя их встреча состоялась за три часа до прибытия в Гавр. Я как сейчас слышу молящий голос госпожи Вотье: «Ты слышишь, Жак, ведь тебя приговорят! Ты же не убивал, я знаю!» Вот в тот день, как я сейчас вспоминаю, пальцы госпожи Вотье действительно лихорадочно постукивали по пальцам мужа. Однако тот продолжал хранить упорное молчание. Более того, он решительно высвободил руки и сунул их в карманы, всем своим видом показывая, что он сказал уже все, а последствия его мало трогают. Три часа спустя я самолично передал арестованного в руки инспектора Марвеля и жандармов, которые взойшли на борт одновременно с лодчманом...

— Суд благодарит вас, капитан. Вы можете идти...

После того как суд заслушал четвертого свидетеля, доктора Ланглуа, старшего судового врача «Де Грасса», который рассказал о результатах медицинского обследования трупа Джона Белла, в зал был приглашен следующий: старший инспектор Мервель.

— Изложите нам, инспектор, ваши наблюдения и выводы, сделанные на борту «Де Грасса» в гаврском порту,— предложил председатель суда.

— После участия в осмотре тела, находившегося в леднике «Де Грасса», я прошел в каюту, где произошло убийство. Отпечатки пальцев я обнаружил там почти повсюду, особенно много их было на перине, простыне и подушке, запятнанных кровью.

Сняв отпечатки, я провел следственный эксперимент, для чего распорядился привести Жака Вотье из судового карцера в каюту. Оказавшись перед дверью каюты, он издал рычание и попытался убежать. Жандармы силой удержали его и вынудили войти в каюту, где на койке уже лежал один из моих подчиненных, одетый в такую же пижаму, что была на убитом. Я стал понемногу подталкивать Вотье ближе к койке и к ночному столику, на который до этого положил нож. Когда руки Вотье ощутили распостертое тело моего помощника, он вновь испустил хриплый рев и отступил назад. Тогда я взял его правую руку и заставил его дотронуться до ножа. Вотье вздрогнул, но затем овладел собой: он спокойно взял нож в правую руку и занес его над головой. Сам склонился над лежавшим инспектором, который играл роль спящего Джона Белла, а левой рукой уперся ему в грудь, прижимая к койке и тем самым не давая возможности двигаться. Я вовремя перехватил его руку, иначе Вотье повторил бы свое преступление!

Больше всего в этой картине меня поразила исключительная точность движений слепого. Непонятно было одно: откуда Джон Белл, которому еще во сне перерезали сонную артерию, нашел в себе силы дотащиться до двери каюты? Приглашенный судебный врач сказал мне, что подобный рывок умирающего вполне возможен. Но, с другой стороны, опрокинутая мебель и кровавый след, ведущий от койки к двери, указывали на происшедшую схватку. Как бы то ни было, этот пункт остается неясным.

Отсутствия инспектора, суд заслушал шестого свидетеля обвинения, профессора Дельмо, который доложил о результатах

всестороннего медицинского обследования Жака Вотье медицинской комиссией.

Даниелла, которая с напряженным вниманием слушала все свидетельские показания, после ухода профессора украдкой бросила взгляд на своего убежденного сединой друга... Дельо сидел с полупущенными веками и, казалось, был погружен в глубокие размышления. Девушка не смогла удержаться и шепотом зада-ла ему вопрос:

— Мэтр, что вы обо всем этом думаете?

— Я ничего не думаю, внучка. Я жду...— сквозь зубы проворчал Виктор Дельо.

Не мог же он признаться в одолевавших его сомнениях: «Во всей этой истории, с первого же знакомства с делом, что подсудил мне старшина сословия, мне не дает покоя одно: проклятые отпечатки пальцев, которые мой клиент будто специально постарался оставить на месте преступления... С такими уликами кого угодно можно отправить на гильотину!»

Даниелла окинула взглядом публику, сидящую в зале. Лица всех были серьезны: первых же свидетельских показаний оказалось достаточно, чтобы понять, что Жак Вотье, сознательно упорствующий в своем молчании (явно не лучшая тактика!), ведет весьма опасную игру, в которой рискует головой. Смогут ли быть приняты во внимание смягчающие обстоятельства? Никто из присутствующих на процессе, в том числе и Даниелла, не был в этом уверен. Единственная надежда, что тройная ущербность подсудимого, без сомнения, сыграет в его пользу. Во всяком случае, задача защиты представлялась весьма трудной. Поневоле взгляды всех обращались на старого адвоката, о котором до сих пор никто ничего не слышал: он, казалось, лишь терпеливо дожидался завершения этого кошмара.

В противоположность этому скамья гражданского истца была очень оживленной: эlegantный мэтр Вуарен, окруженный помощниками, был, несомненно, в ударе. Он знал, что в первый день слушания не преминет подчеркнуть все решающие пункты обвинения. Кроме того, он чувствовал мощную поддержку со стороны «грозы преступников» — прокурора Бертье, чье кажущееся спокойствие не предвещало для подсудимого ничего хорошего.

Даниелла улавливала все это, как никто из сидящих в зале. Взгляд ее то и дело устремлялся на зверскую физиономию Вотье. Чем пристальнее она рассматривала подсудимого, тем больше убеждалась в том, что он воплощает в себе образец убийцы, достойный украсить собой галерею знаменитых преступников в Музее криминалистики. Каким образом женщина, какая бы она ни была, смогла выйти замуж за подобного субъекта? Это никак не укладывалось у нее в голове.

Из тягостных раздумий девушку вывел невыразительный голос председателя суда, вызывавшего седьмого свидетеля.

— Томас Белл,— объявил вновь прибывший.— Родился девятого апреля 1897 года в Кливленде, США.

— Ваша должность?

— Сенатор от штата Огайо, член конгресса Соединенных Штатов.

— Господин сенатор, разрешите мне прежде всего публично засвидетельствовать вам, одному из самых больших друзей нашей страны в Соединенных Штатах Америки, свое глубокое почтение... А теперь прошу вас, расскажите нам о сыне.

— Джон был у меня единственным ребенком,— начал сенатор.— С самого его рождения — он родился шестнадцатого февраля 1925 года в Кливленде — я перенес на него всю свою любовь, поскольку мать его умерла после родов. Джон, росший славным и смышленным мальчуганом, поступил в Гарвардский университет. По моему настоянию он изучал французский язык, на котором вскоре стал уже бегло говорить, и я, в целях совершенствования его в вашем прекрасном языке, давал ему читать книги ваших лучших писателей. Я старался привить ему любовь к Франции и обещал отправить после окончания университета в Париж. К несчастью, разразилась вторая мировая война. Джону едва исполнилось восемнадцать, когда мы узнали о трагедии Перл-Харбора. На следующий же день с моего полного одобрения он поступил на службу в Военно-морские силы США. Назначенный в одну из частей морской пехоты, он спустя год отправился на Тихоокеанский театр военных действий, где провоевал всю войну, удостоившись четырех наград за боевые заслуги.

Демобилизовавшись после капитуляции Японии, он вернулся в Кливленд. Война способствовала его возмужанию, как физическому, так и нравственному, и он решил отдать свои силы делу восстановления Европы. По роду обязанностей он постоянно разъезжал по стране. Я был поглощен деятельностью в конгрессе и в последние годы виделся с Джоном лишь от случая к случаю. Каждая встреча выливалась для нас обоих в настоящий праздник: мы с Джоном чувствовали себя товарищами. Я очень гордился сыном, и он, смею надеяться, платил мне тем же, доверяя во всем. Главным удовольствием, которое доставляла ему работа, было постоянное общение с французскими кругами Нью-Йорка. Однако я убедил его, что французский дух и культуру можно узнать по-настоящему, только побывав в вашей замечательной стране.

Несмотря на искреннее желание поехать во Францию, Джон решил на это не сразу, и вот почему: он влюбился в танцовщицу с Бродвея, что, признаться, совсем мне не нравилось. Лучшим способом нарушить эту идиллию было ускорить отъезд Джонни во Францию. Я посадил его на теплоход: мальчик выглядел таким счастливым... Перед отплытием я спросил, не жалеет ли он о том, что оставляет свою подружку с Бродвея. Он со смехом ответил: «О, нет, папа. Думаешь, я не понял, почему ты так торопил меня с отъездом? Ты был прав, эта девушка не создана для меня...» Тогда я, обняв его на прощание, доверительно сказал: «Может, ты приведешь в наш дом француженку? Чего не бывает... а я был бы несказанно рад!» Больше я Джонни не видел...

— Суд благодарит вас, господин сенатор.

— О чем господин сенатор Белл не обмолвился ни словом, господа присяжные,— подчеркнул мэтр Буарен,— так это о своем душевном состоянии. Не следует видеть в нем отца, взывающего к отмщению, это прежде всего друг Франции, требующий от французского суда присяжных свершить правосудие, дабы подобная трагедия в будущем не могла повториться. Сам американский народ устами одного из своих полномочных представителей спрашивает у французского народа, могут ли отныне его доблестные сыны приезжать в нашу страну, не опасаясь, что им перережут горло. Это налагает на всех нас большую ответственность, господа присяжные... Не забывайте: когда вы будете выносить приговор, на вас будет смотреть вся Америка!

Закончив свою тираду театральным жестом, адвокат гражданского истца уселся на место. Тогда неторопливо поднялся Виктор Дельо:

— Глубоко сочувствуя отцовскому горю сенатора, защита все же полагает, что выступление господина адвоката гражданского истца имеет претензию придать нашему разбирательству чересчур всеобщий характер. Преступность, увы, к несчастью, не является исключительной привилегией какого-то одного народа...

Даниелла не осмеливалась даже посмотреть в сторону своего друга и наставника. Только теперь перед ней открылось все величие и все тяготы их профессии — то, что так часто живописал Виктор Дельо,— и она всем сердцем ощущала несправедливость того, что в эту минуту он один вынужден сносить всеобщее осуждение, которого несколько не заслужил. Ну зачем, зачем он согласился на эту защиту?

Тем временем перед судом предстал восьмой свидетель.

— Ваше имя?

— Регина Добрэй,— ответила элегантно одетая молодая женщина, положив руки на решетку.

— Кем вы приходитеесь подсудимому?

— Я его сестра.

— Что вы можете сказать нам о своем брате, мадам?

Виктор Дельо принялся разглядывать нового свидетеля с пробудившимся интересом.

— Не знаю, виновен Жак или нет,— заговорила молодая женщина,— но, когда я узнала из газет о преступлении на «Де Грассе», я не особенно удивилась... Мы прожили с братом под одной крышей десять лет — первые десять лет его жизни, когда он был еще в отчем доме на улице Кардине. Могу сказать, что все это время Жак был для нас источником постоянной тревоги. Мы делали все возможное и невозможное, пытались обучить его чему-нибудь и хоть как-то скрасить его существование. Наша любовь подкреплялась жалостью, которую внушал нам этот несчастный ребенок,— ведь он не мог ни видеть, ни слышать, ни говорить с нами. Мой бедный отец был вынужден прибегнуть к услугам дочери нашей горничной, Мелани, чтобы подле Жака постоянно был кто-нибудь и заботился о нем. Отец решился на это, лишь убедившись, что Жак нас всех ненавидит. Семи лет от роду Жак был уже настоящим маленьким чудовищем: стоило

нам только заглянуть в его комнату, как он встречал нас нечленораздельными воплями и припадками ярости. Знайте же, что присутствие в нашей семье Жака не только явилось для нас тяжким испытанием, но и послужило причиной моего собственного несчастья...

— Не угодно ли вам объясниться, мадам?

— Я вышла замуж, когда Жаку было всего семь лет. Мой жених, Жорж Добрэй, всегда был заботлив и внимателен к Жаку. Приходя в наш дом, он никогда не забывал принести для него какое-нибудь лакомство. Однако Жак не испытывал к нему ни малейшей признательности и швырял на пол все его подарки. Из опасения, как бы родители Жоржа не воспротивились нашему браку, мы решили скрыть от них существование моего неполноценного брата: они могли бы подумать, что в нашей семье плохая наследственность.

С тех пор, как Жака забрали в Институт Санака, я его не видела. Мой муж, которого я буду любить до конца дней своих, понемногу отдалялся от меня. И не потому, что разлюбил: он боялся, как бы ребенок, который мог у нас родиться, не оказался похожим на своего дядю! Это превратилось у него в навязчивую идею. Терзаемый мыслью, что может стать отцом неполноценного ребенка, он в конце концов открыл своим родителям существование Жака. Это было ужасно. Свекор со свекровью так и не простили мне и моим родителям, что мы утаили от них правду. С того дня они начали оказывать на Жоржа давление, чтобы он потребовал развода, пока я не забеременела. Кончилось тем, что муж уступил им. Мои религиозные убеждения запрещают развод. Поэтому мы просто разъехались и живем так уже четырнадцать лет. Не считайте, что я затаила зло на Жака, но сами можете убедиться, что мой несчастный брат, пусть невольно, разбил мне жизнь.

В один прекрасный день я была буквально поражена известием о том, что Жак написал и опубликовал роман под названием «Один в целом свете»,— это сообщил по телефону мой муж. Я тотчас купила книгу, проглотила ее за ночь и пришла в ужас от злобы, с какой мой брат описал семью своего главного героя. В отвратительном образе его сестры без труда можно узнать меня...

— Раз свидетель признает, что его можно узнать,— елейным голосом проговорил Виктор Дельо,— значит, описание точное.

Регина Добрэй обернулась к прервавшему ее адвокату:

— Она, несомненно, имеет со мной некоторое сходство, но какая же это чудовищная пародия! Эту книгу, где на протяжении трехсот страниц жалкое существо, всем обязанное своим близким, распинается в своей к ним ненависти, следовало бы запретить! Кстати, большую ответственность за публикацию романа несет этот самый Ивон Роделек...

— А я-то понял из ваших слов,— вновь перебил свидетельницу Виктор Дельо,— будто приезд господина Роделека на улицу Кардине явился для всей семьи освобождением!..

— Поначалу мы уверовали в этого почтенного старца, прибывшего, казалось, исключительно с благими намерениями:

вырвать Жака из тьмы невежества. Со временем, однако, мы поняли, что замышлял директор Института Санака! Для господина Роделека мой брат был лишь очередным «объектом» среди множества тех, кому он дал образование. В доме наших родителей в Париже он заметил дочку Мелани, Соланж, тремя годами старше Жака, находившегося на ее попечении. В свои тринадцать лет она была уже далеко не дитя: упрямая, тщеславная, несмотря на свой юный возраст, она хорошо знала, чего хотела. Я была весьма удивлена, узнав, что она и Мелани оставили службу у моей матери и отправились в Санак, где господин Роделек прискал им обеим место в институте! В то время Соланж превратилась в нахальную двадцатилетнюю девушку, которой посчастливилось оказаться довольно смазливой. Движимая растущим честолюбием, она с помощью господина Роделека принялась изучать различные системы общения, посредством которых изъяснялся Жак в институте, и весьма скоро приобрела такое влияние на моего брата, что тот в конце концов женился на ней. Так дочка бывшей служанки стала моей невесткой! Нас даже не пригласили на брачную церемонию, состоявшуюся в часовне Института Санака.

— У защиты больше нет вопросов к свидетелю? — осведомился председатель суда.

— Вопросы нет, — ответил Виктор Дельо, — зато есть одно маленькое замечание для господ присяжных... Находят ли они нормальным, что госпожа Регина Добрэй выступает в лагере обвинения? Старшая сестра, знавшая брата только несчастным, отрезанным от мира ребенком, пришла сюда, чтобы засыпать его упреками с опозданием на семнадцать лет!

Не добавил ничего существенного к показаниям свидетельницы и ее бывший муж, биржевой маклер Жак Добрэй. Следующей свидетельницей оказалась Мелани Дюваль, скромно одетая женщина лет пятидесяти.

— Госпожа Дюваль, — спросил председатель суда, — в течение восьми лет вы были в услужении у семьи Вотье, не так ли?

— Да, господин председатель...

— Что вы думаете о Жаке Вотье?

— Да ничего не думаю. Ведь он убогий, что с него возьмешь?

— Сделал ли он вашу дочь счастливой?

— Мою крошку Соланж? Да что вы! Слава Богу, что его посадили: хоть теперь я за нее спокойна!

— Значит, замужество вашей дочери не обрадовало вас?

— В том-то и беда, что у моей Соланж слишком доброе сердце... Провозилась с Жаком, когда он был еще дитем, а потом дала обвести себя вокруг пальца этому Ивону Роделеку: он нас уговорил поехать работать в Институт Санака. Я там заведовала бельем, а Соланж — ее господин Роделек обучил языку слепоглухонемых — помогала Жаку готовить занятия. Что из всего этого вышло, вы знаете: они поженились. Я тысячу раз твердила Соланж, чтобы она не сходила с ума, но она и слушать меня не хотела... Посудите сами! Такой умной да пригожей, ей ничего не стоило выйти замуж за нормального парня, красивого и при деньгах. Я уверена, она вышла за него из жалости! Какая

уж тут любовь, к убогому-то... Потом они уехали в свадебное путешествие. Помню, как через месяц вернулись... Видели бы вы мою бедную малышку! Когда я спросила ее, как дела, она только разрыдалась... Я рассказала об этом господину Роделеку, а он мне в ответ: надо, мол, подождать, они поедут в Америку, и все сладится, в общем, плел всякие басни, как и раньше бывало... И что же в конце-то вышло: стою, жду в Гавре на пристани — уж пять лет, как их не видела, — гляжу, зять-то мой сходит с корабля в наручниках... А доченька, бедняжка, вся слезами заливаается!.. Уж я-то по-всякому ее утешала в поезде, пока мы в Париж возвращались... но она отказалась жить в доме, где я работаю, а ведь хозяева такие хорошие люди, комнату для нее приказали приготовить... Обняла она меня на прощание на вокзале Сен-Лазар, и больше я ее не видела... Где-то прячется. Только открытку иной раз пришлет: у нее, мол, все хорошо. Ясное дело, ей стыдно на глаза показаться. Еще бы — жена убийцы!

Председатель суда вызвал очередного свидетеля, декана Тулузского филологического факультета.

— Господин декан, суду хотелось бы услышать ваше мнение о способностях подсудимого.

— В стенах нашего факультета Жак Вотье сдал свою первую сессию на степень бакалавра двадцать восьмого июня 1941 года с оценкой «очень хорошо», которой у нас устаиваются весьма редко. Его сочинение оказалось воистину образцовым. На следующий год он с той же легкостью сдал и вторую сессию. На обеих сессиях он писал такие же письменные работы, что и обычные кандидаты, но под наблюдением преподавателя, специально прибывшего из Института Валантена Айви, чтобы выступить в роли переводчика. Жак Вотье писал сочинения символами Брайля, а преподаватель слово в слово перелагал их на обычный алфавит и отдавал проверяющим. Для проведения устных экзаменов, которые представляли для меня большой интерес, посредником между экзаменуемым и экзаменаторами выступал другой преподаватель, приглашенный из национального института глухонемых. Могу со всей ответственностью заявить, что воспитанник Института Санака Жак Вотье оказался одним из самых блестящих бакалавров, которых знал Тулузский факультет.

Следующий свидетель был слеп, и его подвел к решетке судебный пристав.

— Ваше имя?

— Жан Дони.

— Дата и место рождения?

— Двадцать третье ноября 1920 года, Пуатье.

— Род занятий?

— Органист в соборе Альби.

— Господин Дони, на протяжении одиннадцати лет вы были соучеником и товарищем Жака Вотье в Институте Санака. Вы сами вызвались выступить в суде в качестве свидетеля, когда узнали из газет о преступлении, в котором обвиняется ваш бывший товарищ. Суд слушает вас...

— Господин председатель суда, не будет преувеличением сказать, что на протяжении шести первых лет пребывания Жака Вотье в Санаке я был его лучшим другом... Втройне неполноценный, он показался мне бесконечно несчастнее меня самого, лишенного только зрения. Новичок был на три года моложе.

Прошел год индивидуальных занятий с вновь прибывшим, и вот наш директор, господин Роделек, вызывает меня однажды и говорит: «Я заметил, ты интересуешься успехами своего младшего соученика и всегда к нему очень внимателен. Теперь, когда он освоил дактило-азбуку и письмо Брайля, ты будешь его товарищем — на прогулке, в играх и даже во время занятий: он уже умеет выражать свои мысли и понимать чужие, так что сейчас для него начнется настоящая учеба». Начиная с этого дня я стал в некотором роде помощником господина Роделека, и так продолжалось шесть лет — до тех пор, пока Жаку не исполнилось семнадцать. В ту пору мое место подле Жака заняла та, кому суждено было стать его женой. Должен сказать, появление в Санаке Соланж Дюваль и ее матери было с неудовольствием воспринято в институте, где до тех пор не было ни одной женщины. Тем не менее я уверен, что директор, господин Роделек, пригласил Соланж Дюваль в Санак из самых лучших побуждений.

— Какое впечатление произвела на вас в то время Соланж Дюваль?

— Лично на меня — никакого, господин председатель. Ведь я не мог ее видеть... Но от своих товарищей-глухонемых я узнал, что девушка очень красива. Мы же, слепые, могли наслаждаться лишь музыкой ее голоса. Однако по некоторым интонациям чувствовалось — слух нас никогда не подводит! — что под этой кажущейся кротостью, способной обмануть лишь зрячих, замороженных ее внешним обликом, скрывается недюжинная воля, способная довести дело до конца...

— До конца чего? — спросил Виктор Дельо.

— До замужества с Жаком Вотье.

— Что свидетель хочет этим сказать? — вновь задал вопрос адвокат защиты.

— Ничего... вернее, свое мнение по столь деликатному вопросу я предпочитаю оставить при себе.

— Господин Дони, раз вы сами так настаивали на даче свидетельских показаний, суд вправе ожидать от вас конкретности, а не туманных намеков, — заявил председатель суда. — Благоволите довести вашу мысль до конца.

— Что ж, ладно! — произнес слепой после некоторого колебания. — Соланж Дюваль, которая в свои двадцать лет была уже вполне созревшей молодой девушкой, не могла любить Жака — в то время всего лишь подростка, безусого семнадцатилетнего юнца. Я уверен.

— Можете ли вы чем-либо доказать это суду?

— Она сама неоднократно так говорила.

— Господин Дони, обращаю ваше внимание на важность подобного утверждения.

— Понимаю, господин председатель... Мы с Соланж одногод-

ки. Она знала, что я лучший друг Жака в институте. Поэтому и поверяла мне некоторые вещи, которые не решилась бы сказать ни господину Роделеку, ни матери... Бесспорно, Соланж питала к Жаку привязанность, но чтобы она переросла в любовь — это абсурд!

— А он? Как, по-вашему, любил он эту девушку?

— Относительно него трудно что-либо утверждать, господин председатель... Жак очень скрытен; никогда нельзя сказать с уверенностью, что он думает на самом деле. А человек, в столь юном возрасте умеющий быть до такой степени скрытным, впоследствии может оказаться способным на многое... Одна история побудила меня потребовать разрешения выступить на судебном разбирательстве... Когда суд узнает ее, он поймет, почему я не удивился, услышав по радио, что мой бывший протеже обвиняется в убийстве... Я долго колебался: должен ли я оставлять всех в заблуждении, что Жак Вотье не способен на преступление, или же, наоборот, показать, что он не впервые покусился на человеческую жизнь? Мой долг, как он ни тягостен — ведь речь идет о товарище юности, к которому я испытывал, да и до сих пор испытываю, привязанность, — повелел мне открыть глаза правосудию.

Это случилось — я помню совершенно точно — двадцать четвертого мая 1940 года в десять вечера. Тот весенний вечер выдался на редкость погожим. Я в одиночестве прогуливался в глубине парка, каждый уголок которого знал до мельчайших подробностей, и сочинял в уме фрагмент органного произведения. С головой, полной звучащих аккордов, я направился к дощатому сарайчику, где имел обыкновение уединяться, чтобы с помощью пуансона и карманного трафарета запечатлеть на бумаге первые наброски рождающейся композиции. Этот сарайчик служил Валантену, институтскому садовнику, кладовой для его незатейливого инвентаря. Дверь запиралась, но Валантен всегда оставлял ключ на вбитом рядом гвозде. Внутри, если не считать инструментов и ящиков с рассадой, стояли грубо сколоченный деревянный стол да колченогая табуретка. Окон в сарае не было, и Валантен зажигал старую керосиновую лампу, обычно стоявшую на столе рядом с большой коробкой серных свечек. Мне-то она, естественно, была ни к чему...

В тот вечер, взявшись рукой за гвоздь, я с удивлением обнаружил, что ключа на нем нет, он почему-то торчал в замке. Едва я отворил дверь, как изнутри донесся приглушенный вскрик. Я двинулся вперед, но тотчас получил сокрушительный удар по голове, от которого зашатался и потерял сознание. Очнувшись, я ощутил едкий, удушливый запах и услышал потрескивание горящего дерева. Меня изо всех сил трясла обеими руками за плечи Соланж Дюваль, испуганно крича: «Скорее, Жан! Мы горим! Жак опрокинул лампу и устроил пожар! А сам убежал и запер нас на ключ!» В тот же миг я вскочил на ноги. Ощущение грозной опасности придало мне силы: я бросился на дверь, пытаясь ее выломать. Насмерть перепуганная Соланж могла только рыдать. Жар становился нестерпимым: к нам уже подбирались невидимые языки пламе-

ни... Наконец дверь поддалась, и мы выскочили наружу. Навстречу нам уже бежали брат Доминик, привратник, и брат Гаррик, старший надзиратель. Вскоре от сарая садовника осталось лишь пепелище. «Как это случилось?» — спросил брат Гаррик. «По моей неловкости, — быстро ответила Соланж. — Я из любопытства заглянула в сарай, но там было очень темно, и я зажгла керосиновую лампу, но нечаянно столкнула ее на пол, и тут же вспыхнул огонь. Я страшно перепугалась и стала кричать. Жан Дони — он, видно, гулял тут неподалеку — бросился на помощь и вытолкнул меня наружу».

В тот момент я был настолько поражен услышанным, что не смог проронить ни слова. Когда мы шли к главному зданию института, мне удалось шепотом спросить у Соланж Дюваль: «Зачем вы сочинили эту историю?» Она ответила: «Умоляю вас, Жан, повторите мою выдумку! К чему навлекать лишние неприятности на бедного Жака? Ведь он просто был не в себе!» Я не нашелся что ответить и подумал: в конечном счете Соланж права, потеря сарайчика с граблями — не такое уж несчастье, а из людей никто не пострадал. Я направился прямо в комнату Жака и с удивлением обнаружил, что он уже в постели и притворяется спящим. Вернувшись к себе, я отдался размышлению о происшествии, которое могло бы закончиться трагически. Видимо, Жак с гнусными намерениями затащил девушку в сарай, стоявший в безлюдном уголке парка. Мое неожиданное появление спутало его карты. В ярости он чуть не убил меня и сбросил лампу на землю, чтобы поджечь сарай. Учувя запах дыма, он выскочил и запер нас с Соланж на ключ, чтобы мы сгорели живо. Таким образом, ровно за десять лет до убийства, совершенного на борту «Де Грасса», Жак Вотье уже делал попытку уничтожить сразу двоих...

При этих словах раздался хриплый, нечеловеческий вопль, от которого у присутствующих кровь застыла в жилах. Подсудимый, выпрямившись во весь свой огромный рост, выбросил вверх руки и потряс пудовыми кулачищами, затем рухнул на свое место меж двумя стражами.

— Имеет ли подсудимый что-либо сказать? — обратился председатель суда к переводчику. Спустя несколько секунд тот ответил:

— Нет, господин председатель. Он ничего не говорит.

Председатель суда объявил перерыв в заседании.

Когда члены суда удалились, в зале вновь поднялся возбужденный гул. Мэтр Вуарен не скрывал своего удовлетворения. Виктор Дельо поспешно нацарапал несколько слов на клочке бумаги, затем, впервые за все время процесса, обратился к своей соседке:

— Милая Даниелла, сбегайте на почту и отправьте эту телеграмму в Нью-Йорк... Разберете мой корявый почерк? Тогда вперед! Как раз успеете вернуться к концу перерыва.

Выходя из зала, девушка оглянулась: старый адвокат забился в уголок на скамье защиты, которую она только что покинула, и, слегка запрокинув голову, полузакрыв глаза за стеклами очков: это была его излюбленная поза для раздумий...

Разлепив веки, Виктор Дельо заговорил с переводчиком:

— Дорогой директор, как бы вы ответили, если бы я заявил, что Жак Вотье не убивал Джона Белла?

— Боюсь, дорогой мэтр, вам трудненько будет заставить суд в это поверить... Только если вы предьявите ему настоящего убийцу...

— Попробую это сделать,— безмятежно ответил адвокат.— Все будет зависеть от ответа на коротенькую телеграмму, которую я попросил отправить в Нью-Йорк...

Телеграмму приняли без задержек, и девушка заняла свое место рядом с наставником в тот самый момент, когда к решетке подходил первый свидетель, представленный защитой: женщина лет пятидесяти с еще не утратившей стройности фигурой, одетая в строгий, но изысканный черный костюм.

— Мадам, суд просит вас призвать на помощь все ваше мужество и рассказать о своем сыне Жаке...— сказал председатель.— Вы не можете не понимать, что свидетельство матери имеет особо важное значение, тем более в данном случае, когда ваша дочь и ваш зять выступили с показаниями на стороне обвинения...

— Я знаю, господин председатель,— ответила Симона Вотье хриплым от волнения голосом.

— Суд слушает вас...

3. СВИДЕТЕЛИ ЗАЩИТЫ

— Господин председатель, мне пришлось собрать все свои силы, чтобы прийти на суд над моим маленьким Жаком... Прежде всего я должна признать, что мой сын, до крайности нервный и впечатлительный, по-видимому, вовсе не чувствовал себя счастливым первые десять лет своей жизни, которые провел под родительским кровом. Мое истерзанное материнское сердце чувало, как он угнетен. А ведь мы с мужем делали все, чтобы хоть как-то скрасить существование нашего несчастного ребенка! Только после того, как все наши попытки воспитать его окончились неудачей, мы решили вверить его Институту Санака. Отъезд Жака привел нас в отчаяние, но меня утешала надежда, что господину Роделек удается вырвать мое последнее дитя из власти беспроектной ночи.

— Таким образом, вы полностью доверяли господину Роделеку?

— Поначалу — да... После года разлуки я приехала в Санак навестить сына. Свидание состоялось в приемной института. Господин Роделек с восхищением рассказывал о способностях моего сына. Как я была счастлива! И вот показался Жак... Он сильно преобразился: мало того, что вырос, раздался в плечах, но и держался прямо, с гордо поднятой головой... Я удивилась той легкости, с какой он направился в мою сторону, ни секунды не колеблясь и не пользуясь тросточкой, словно видел меня или слышал мой голос. Поступь его была почти как у нормального ребенка — спокойной и уверенной. Неужели этот подросток был

тем самым беспомощным мальпшом, который еще год назад не мог сделать и шагу, не наткнувшись на какое-нибудь препятствие?

Обливаясь слезами, я прижала его к груди, но он вдруг начал вырываться из моих объятий. Он отвернулся от своей матери! Я чуть не лишилась рассудка. Господин Роделек поспешил мне на помощь: он взял руки Жака в свои и стал чертить на них знаки, повторяя для меня их смысл: «Послушай, Жак! Ведь тебя хочет обнять твоя мама, которую ты так долго ждал и о которой я тебе часто рассказывал...» Лицо моего сына оставалось непроницаемым. Потом он повернулся и выбежал из приемной. Я стояла, не в силах вымолвить ни слова, и господин Роделек сказал: «Не сердитесь на Жака, мадам! Он еще не совсем хорошо осознает свои действия... Он совершенно не знал вас, мадам, когда жил дома! Дайте мне возможность его переубедить... Когда вы в следующий раз окажете нам честь своим визитом, то увидите, что сын любит вас. Это очень чувствительная душа; для него первый непосредственный контакт со своей матерью, о которой я ему столько говорил и которую он ждал с волнением, смешанным с чуточкой боязни, явился настоящим потрясением... Дома он даже не подозревал о существовании такого понятия — «мама»... Теперь знает. Сейчас, наверное, плачет где-нибудь в уголке. После вашего отъезда я попытаюсь его утешить. Обещаю вам, что сегодня вечером он не заснет, пока не помолится за вас...»

Я поверила его словам и уехала, несколько приободрившись. Шли годы... Каждый год я регулярно навещала Жака, радуясь его успехам. Однако он встречал меня все так же холодно. После того, как Жак сдал второй экзамен на бакалавра — ему в то время было девятнадцать лет, — я спросила, хочет ли он вернуться жить в наш дом. Он наотрез отказался. Господин Роделек дал мне понять, что для Жака предпочтительнее остаться еще на некоторое время в Санаке, где он сможет полностью сосредоточиться на обдумывании романа, публикация которого может открыть перед ним блестящее будущее. Имела ли я право мешать карьере сына? Я уступила и на этот раз, с тревогой ожидая выхода книги в свет: три года спустя она была наконец напечатана.

— Что вы думаете об этом произведении, мадам? — спросил председатель суда.

— «Один в целом свете» — прекрасный роман. Я испытала большую гордость за сына при виде его имени на витринах книжных магазинов.

— Виделись ли вы, мадам, с вашим сыном после публикации его романа?

— Нет. К моей материнской гордости примешивалась обида на сына за то, что он даже не выслал мне экземпляр... Тем не менее я отправила ему письмо с поздравлениями: он не ответил. Тогда я решила еще раз съездить в Санак. В поездке меня сопровождал знакомый журналист, который хотел взять у Жака интервью. В тот раз я испытала самое большое унижение, какое только может выпасть на долю матери: Жак отказался увидеться со мной, но согласился принять журналиста! Я была вне

себя... Господин Роделек вышел в приемную и объявил о решении сына в выражениях, которые не оставляли мне никакой надежды. Не утруждая себя выбором слов, он заявил, что было бы весьма желательно, чтобы мы с Жаком, во избежание тягостных и бесполезных сцен, более не вступали в непосредственный контакт. Добавил, что мой сын уже достиг совершеннолетия, завоевал известность и скоро встанет на ноги. Ему, Ивону Роделеку, удалось найти Жаку верную спутницу жизни в лице Соланж Дюваль, которая будет служить моему сыну гораздо более надежной опорой, нежели его семья. Напоследок он сказал, что его роль наставника окончена и он рассчитывает исчезнуть из жизни Жака, как только тот женится.

— Что вы ответили господину Роделеку по поводу женитьбы вашего сына?

— Чтобы на мое согласие он не рассчитывал. К несчастью, мое мнение не играло особой роли: Жак уже достиг совершеннолетия. Я вернулась в Париж и лишь полгода спустя получила от господина Роделека уведомление о том, что брачная церемония назначена на следующую неделю! Мой сын даже не удосужился сам написать о своем решении...

За все пять лет, что прошли после свадьбы, я так ни разу и не получила весточки ни от сына, ни от невестки, ни даже от господина Роделека! Лишь по чистой случайности я узнала об отъезде молодых в Соединенные Штаты. Мое материнское сердце жестоко страдало от того, что они уехали, не попрощавшись, но я подумала, что господин Роделек, возможно, прав и мой бедный мальчик нашел счастье. Я уже начала свыкаться с этой мыслью, как вдруг будто обухом по голове: читаю в газете, что мой сын обвиняется в убийстве! Узнав, когда прибывает «Де Грасс», я нашла в себе силы поехать в Гавр, но там мне не разрешили поговорить с сыном... Он прошел в нескольких метрах от меня, сквозь толпу застывших в ужасе пассажиров, не подозревая, что мать его — здесь, на пристани, готовая изо всех своих слабых сил помочь ему во вновь обрушившемся на него отчаянии...

Голос Симоны Вотье прервался: перед судом была теперь лишь несчастная мать — вся в слезах, она судорожно ухватилась за барьер, чтобы не упасть. Виктор Дельо подошел ее поддержать.

— Если хотите, мэтр,— сочувственно произнес председатель суда,— мы можем на некоторое время прервать заслушивание свидетеля.

Но тут Симона Вотье выпрямилась и выкрикнула, глотая слезы:

— Нет! Я не уйду! Я скажу все! Я пришла сюда затем, чтобы защитить моего сына от всех, кто его обвиняет... от всех тех, кто причинил ему зло и кто является истинным виновником... Он не убивал! Это невозможно! Он невиновен! Мать не может ошибиться... Даже если в детстве он и был немножко грубым, это еще не причина, чтобы стать убийцей! Я знаю, здесь все ополчилось против него, потому что судят по внешним признакам, но это ничего не доказывает! Умоляю вас, господа судьи, оставьте его! Освободите его! Отдайте мне! Я увезу его... буду

охранять, клянусь вам! Наконец-то он будет только мой... Никто никогда не услышит о нем...

— Поверьте, мадам, суд понимает ваши чувства,— сказал председатель Легри,— но попытайтесь найти в себе силы ответить на последний вопрос: удалось ли вам увидеть сына, пока он находился в заключении? И поведал ли он вам что-нибудь важное?

— Нет, я не виделась с ним: Жак не пожелал этого... Бедный мальчик! Он так и не понял, что я желаю ему только добра...

Последние ее слова потонули в горестном вздохе. Симона Вотье повернулась к скамье подсудимых, где переводчик продолжал дословно воспроизводить на неподвижных руках подсудимого, лежащих на ограждении, все сказанное его матерью.

— Умоляю вас, господин переводчик,— сказала она,— скажите ему... Мать умоляет его защищаться, ради нее, ради чести нашей фамилии, ради памяти отца... Мать прощает ему безразличие, что он выказывал по отношению к ней с самого раннего детства... Умоляю тебя, Жак, сын мой, подай знак, все равно какой! Просто протяни ко мне руки...

— Отвечает ли подсудимый?— спросил председатель суда у переводчика.

— Нет, господин председатель.

— Суд благодарит вас, мадам...

Судебные исполнители буквально унесли Симону Вотье, провозжаемую взглядами публики.

Даниелла разглядывала подсудимого, не в силах оторвать от него глаз, будто замороженная этим чудищем с ничего не выражающим взглядом. Она спрашивала себя, мог ли Вотье, хоть в краткий миг своего существования, проявить человечность и показаться кому-либо симпатичным. И в самом деле, девушке было нелегко разобраться в переплетении противоречивых чувств, которые внушал ей подсудимый.

Внешность нового свидетеля была весьма необычной. Высокого роста, сутуловатый, он был закутан в сутану, полы которой, расходясь книзу, открывали взору концы штанин и огромные черные башмаки с окованными железом квадратными носами. Единственным светлым пятном на этом черном одеянии были голубые брыжи. Венчик седых волос обрамлял румяное, в красных прожилках лицо, на котором выделялась пара глаз стального цвета. Весь его облик дышал доброжелательностью и застенчивостью, и с первого взгляда можно было понять: этот старец принадлежит к разряду тех прекраснодушных существ, что склонны с самого детства видеть вокруг себя только хорошие стороны людей и явлений и закрывать глаза на их изнанку. Неловкий, с принужденным видом стоял он подле решетки и, не зная, куда девать свои большие крестьянские руки, вертел в них черную фетровую треуголку:

— Ивон Роделек, родился третьего октября 1875 года в Кимпере, директор Института святого Иосифа в Санаке.

— Господин Роделек, расскажите суду о своем воспитаннике Жаке Вотье.

— Семнадцать лет тому назад я приехал за ним в Париж, чтобы увезти в Санак. Жака я нашел в его комнате, окна которой выходили во внутренний дворик. Когда я вошел туда, он сидел за столом: единственным проявлением жизни были лихорадочные движения рук — они беспрестанно поворачивали лежавшую на столе тряпичную куклу. Пальцы пробегали по очертаниям игрушки с жадностью, которую, казалось, никогда не удастся насытить... Прямо перед ним сидела девочка чуть старше его, малышка Соланж, и ее выразительный взгляд был прикован к замкнутому лицу Жака, будто стремясь вырвать у него тайну. С первой же встречи мне показалось, что все нежные словечки, которыми Жака когда-либо награждали, сходили только с дрожащих губ Соланж. Его же губы оставались безжизненными. Это придавало ему облик звереныша. Комната была небольшой, но очень чистенькой: я понял, что Соланж заботливо поддерживает в ней порядок. Несчастный мальчуган также имел опрятный вид: на его школьном костюмчике не было ни пятнышка. Лицо и руки его были чисто вымыты.

Я сел за стол между двумя детьми, чтобы поближе рассмотреть малыша... Вначале я попытался раздвинуть его сомкнутые веки, однако при прикосновении моих рук он вздрогнул и резко отстранился, издав ворчание. Но я не отставал, и его недовольство перешло в необузданный гнев: он вцепился руками в крышку стола, затопал ногами, его сотрясала нервная дрожь... Девочка пришла мне на помощь, приложив свои маленькие пухлые ручки к лицу Жака и принявшись его гладить. Это прикосновение возымело самое благотворное действие на ее товарища: он моментально успокоился... По всему было видно, что она очень любит Жака. Я спросил у девочки: «Он тебя любит?» «Не знаю, — с грустью ответила она. — Он же не может сказать мне об этом». Тогда я объяснил Соланж, что настанет день, когда ее друг сумеет выразить свои мысли и чувства, и добавил: «Тебе приятно будет услышать, как Жак говорит, что ты его лучшая подруга?» «Зачем вы говорите о том, чего не может быть? — с грустью ответила девочка. — Что верно, то верно: он относится ко мне лучше, чем ко всем другим. Он не любит, чтобы кто-нибудь другой гладил его по лицу». «Даже его мама?» «Даже она», — понурясь, ответила Соланж. Испугавшись, что проговорилась, она недоверчиво спросила:

— А вы кто, месье?

— Я? Просто отец большой семьи. У меня триста детей!

— И вы их всех любите?

— Ну да!

Маленькая Соланж, видимо решив, что мне можно довериться, принялась объяснять, как она сумела научить Жака уйме всяких вещей и как им удастся очень хорошо понимать друг друга.

— Они все считают Жака чокнутым. Это неправда! Я-то знаю, что он очень сообразительный!

— Как тебе удалось это узнать?

— Мне помогла Фланелька...

— Кто такая Фланелька? — удивленно спросил я.

— Моя кукла. У него не было никаких игрушек, вообще ничего, чем он мог бы заняться...

— Значит, ты больше не играешь со своей куклой?

— Мне больше нравится играть с Жаком. Это важнее: ведь больше никто не хочет с ним играть... Я даю ему куклу, а потом время от времени забираю ее назад... Он очень привязан к Фланельке: когда хочет с ней поиграть, просит у меня. Для этого я придумала такой знак: он нажимает указательным пальцем мне на ладонь правой руки. Это означает: «Дай куклу», — и я даю. Когда я хочу, чтобы он вернул куклу, подаю ему точно такой же знак.

— Как тебе пришла в голову мысль общаться знаками?

— Однажды утром я в первый раз дала ему Фланельку, а перед обедом забрала. Он разозлился, бросился на пол и стал рычать. Пришлось куклу вернуть. Некоторое время он подержал ее в руках, и я снова забрала, но при этом подала такой знак. Он снова расвирипел, но я вернула Фланельку только после того, как он догадался подать мне такой же знак.

— Чему ты еще его научила?

— Просить любимые кушанья... Моя мама готовит их тайком от его родителей: они не любят, когда его балуют.

— А кто твоя мама?

— Служанка у госпожи Вотье.

— Знаешь, малышка, ты была бы для меня очень ценной помощницей в Санаке!

— Так вы живете не в Париже?

— Нет. И я приехал за Жаком, чтобы увезти его туда.

— Вы что, забираете Жака? — спросила она, приходя в отчаяние.

— Ты увидишь его через некоторое время. Пойми, Жак не может всю жизнь оставаться в таком состоянии! Хорошо, конечно, что ты научила его многим полезным вещам, и все же этого недостаточно: ему надо получить образование, чтобы стать настоящим человеком, как все.

— О, за Жака я не беспокоюсь; он такой умный!

Глаза Соланж наполнились слезами.

— Но вы увезете Жака ненадолго, правда?

— Все зависит от того, как пойдет обучение... Но ты сможешь иногда навещать его в Санаке. Обещаю: он обязательно будет тебя вспоминать.

В то время я и вообразить не мог, что познакомился с той, которая впоследствии будет носить имя моего нового ученика!

Ивон Роделек умолк.

— Как прошла первая поездка с новым учеником? — спросил председатель суда.

— Не так плохо, как я предполагал. Мать разрешила Соланж проводить нас до вокзала, и девочке пришла в голову хорошая идея принести Фланельку. Жак нянчил и ласкал куклу на протяжении всей поездки. В тот же вечер мы приехали в Санак, где я распорядился приготовить для малыша комнату, смежную с моей: о том, чтобы сразу поместить его в дортуар глухонемых или слепых, не могло быть и речи.

— Были ли в числе ваших трехсот воспитанников,— спросил председатель суда,— другие слепоглухонемые от рождения, когда Жак Вотье появился в вашем институте?

— Нет. Его предшественник, восемнадцатый по счету подобный ученик, которому я дал образование, покинул нас шестью месяцами раньше: мне удалось устроить его в мастерскую подручного столяра. К тому же, чтобы Жак учился успешнее, он должен был быть у нас единственным слепоглухонемым. Как и в предыдущих восемнадцати случаях — а они дали мне богатую практику,— я решил лично заняться Жаком.

— На мой взгляд,— заявил прокурор Бертье,— свидетелю следует описать суду этапы обучения, которое превратило бессловесное, влачившее животное существование существо, каким был Жак Вотье в свои десять лет, в нормального человека, в полной мере наделенного разумом. Тогда у господ присяжных исчезнут последние сомнения в полноценности личности, скрывающейся под весьма обманчивой внешностью подсудимого.

— Суд разделяет мнение господина прокурора. Мы слушаем вас, господин Роделек...

— Ту первую ночь пребывания Жака под крышей нашего института я провел в молитвах и размышлениях, готовясь к тому нелегкому сражению, что мне предстояло начать.

Пробуждение поутру было у мальчика совершенно нормальным. Первые трудности начались с утреннего туалета, к которому я принудил Жака буквально силой: он прекрасно сознавал, что его намывают, умывают, расчесывают вовсе не те руки, к которым он привык. В ярости он не раз опрокидывал тазик для умывания и бросался наземь. После каждого из таких припадков я помогал ему подняться и вновь наполнял тазик водой, стараясь не выказывать признаков нетерпения: началась подспудная, но ожесточенная борьба между его и моей волей, каждая из которых стремилась заполнить собой малейшую брешь в рядах противника. Борьба, которая неминуемо должна была закончиться чьей-то победой. Насколько трудным был этот первый туалет, настолько же легким предстояло стать завтрашнему и уж совсем привычным — послезавтрашнему. В обучении Жака все должно было сводиться к методичному повторению мельчайших актов повседневной жизни. И каждое из подобных сражений помогало мне открывать все новые черточки в характере моего необычного ученика. Конечно, вначале это были лишь самые неясные признаки: то хриплый вскрик, то гримаса, а чаще всего сумбурный жест получеловека-полуживотного, однако опыт обращения с предыдущими воспитанниками позволял мне извлекать пользу даже из таких, казалось бы, незначительных деталей.

Так, например, этот опыт подсказал мне идею подержать несколько секунд руку Жака под струей холодной воды, которая била в тазик из крана и оказывала чувствительное давление на маленькую зябнувшую ладонку. Я повторил этот эксперимент раз десять, удерживая под струей напрягавшуюся руку и воспроизводя на ладони другой руки определенный символ. Тогда

из-под постоянно опущенных век брызнули слезы — первые увиденные мной на этих, казалось, навсегда потухших глазах... До чего же я был рад этим слезам!.. Разве не были они самым ярким проявлением жизни, которая уже искала способ выразить себя? Жак успокоился, смирился с неприятным ощущением холодной жидкости. Я отвел его руку и прижал ее к своей щеке: благодаря контрасту ребенок открыл для себя благотворное воздействие тепла. Так в мозгу его начинали укореняться понятия холода и тепла.

Рука его, по-прежнему увлекаемая мной, ощупывала теперь край таза, а я тем временем запечатлевал на его вялой, но готовой к восприятию ладони другой характерный символ, весьма отличный от предыдущего... Внезапно мой ученик побледнел, затем покраснел и, наконец, застыл в безмерном возбуждении. Окутывавший его непроницаемый туман стал разлетаться в клочья: он постиг! В глубине неизвестности вдруг забрезжил огонек, осветивший его дремлющее сознание и прояснивший ему, что каждый из двух знаков, запечатленных на его правой ладони, соответствует одному из предметов, которые он только что осязал: холодной жидкости и металлу таза. Он разом усвоил пару таких важных понятий, как **содержимое** и **вместительность**. Он также начал смутно осознавать, что отныне сможет просить, получать, слушать и понимать посредством обмена характерными символами с Неизвестным, каковым я пока еще являлся для него и который постоянно находился с ним в контакте... Наконец-то он вырвался из ограниченного мирка, созданного заботами Соланж и сводившегося к нескольким любимым кушаньям и тряпичной кукле.

В пароксизме радости Жак принялся ощупывать все, что находилось в комнате: столик, на котором стоял таз, тарелки, часть мокрые, часть сухие, мыло, скользившее в его руках, губку, которую он лихорадочно сжимал, чтобы из нее потекла холодная влага... Инстинктивным движением он подносил каждый предмет к лицу, чтобы почуять, вдохнуть, втянуть в себя свойственный тому запах... Он поочередно попробовал на зуб губку и кусок мыла, от которого скорчил гримасу: мыло оказалось не столь уж приятным на вкус! Я предоставил ему возможность делать все, что заблагорассудится, на протяжении долгих минут, что возмещали ему десять лет, прошедшие в потемках. Я был свидетелем чуда: три чувства, которым предстояло послужить Жаку орудиями для получения законченного образования, начали взаимно дополнять друг друга, помогая мозгу в постижении окружающего. Обоняние и вкус поочередно пришли на помощь осязанию. Все это произошло самым естественным образом: достаточно было понаблюдать за движениями ребенка — то беспорядочными, то осмысленными, — чтобы убедиться: каждый предмет в комнате уже осязан дрожащими от возбуждения пальцами, обнюхан трепещущими ноздрями и попробован алчущими познания губами.

Даже на лице его, остававшемся до этой минуты неподвижной, непроницаемой маской, казалось, можно было прочесть название того или иного предмета. Жак держал в руках ключ от

дверей, ведущих к пониманию мира. Теперь у меня не осталось сомнений в живости его ума: доброе сердечко Соланж не ошиблось. Минул час, другой, третий, наполненные новой жизнью: все это время я побуждал его методично ощупывать, обнюхивать, ощущать все знакомые ему предметы, одновременно с этим воспроизводя их тактильное обозначение на его жадных до восприятия руках, вспотевших от возбуждения... Дыхание его прерывалось... Я понял, что не следует долее затягивать первый урок, иначе его неокрепший мозг может не выдержать нагрузки. Возобновить его я решил назавтра, намереваясь закрепить список предметов повседневного обихода и дополнить его кое-какими новыми объектами.

Пока же я подумал, что Жаку нелишне будет проветриться и размяться на свежем воздухе. Колоссальная умственная работа, проделанная им за последние несколько часов, требовала для восстановления сил физической разрядки. Я отвел его в институтский парк, где прошел с ним заранее намеченным маршрутом. С этой целью я заблаговременно распорядился соединить отдельные деревья между собой веревками. Жаку оставалось лишь идти вдоль натянутых веревок от дерева к дереву — они служили ему ориентирами. Благодаря этому способу он спустя три дня уже мог совершать прогулку самостоятельно. Так он постиг понятие **пространство**, очень скоро уяснил себе смысл понятия **движение** и обнаружил, что способен прекрасно управлять собственными ногами.

Разумеется, во время этих прогулок я постоянно находился подле него, чтобы оградить от какого-нибудь случайного происшествия, но избегал направлять: я давал ему возможность действовать по собственному усмотрению. Как только он запомнил первый маршрут по парку, я изменил его, перевязав иначе веревки: Жаку не следовало чересчур привыкать к одному и тому же пути.

После того, как я приучил Жака обозначать каждый предмет домашнего обихода мимическим жестом, я стал обращаться к нему просто как к глухонемому, обучая буквам дактилологического алфавита, запечатлеваемым на коже его рук. Затем я стал общаться с ним, наоборот, как с обыкновенным слепым, и преподавал ему азбуку Брайля, что позволило ему читать. Однако пока он мог воспринимать и обозначать лишь конкретные предметы или материальные действия. Чтобы обратиться к его душе, мне необходимо было внушить ему некоторые фундаментальные понятия.

Я начал с понятия **величины**, дав ему возможность внимательно ощупать двух своих соучеников, рослого и маленького. Затем мне оставалось лишь продолжать свои усилия в том же направлении. Однажды вечером, когда какой-то бродяга пришел в институт попросить корку хлеба и пристанища, я привел его к Жаку, чтобы мой ученик ощупал изорванную одежду и стоптанные башмаки несчастного. Опыт мой был жесток, но необходим. Жак выказал явное отвращение при первом прямом столкновении с нищетой. Пару минут спустя я подвел к Жаку доктора Дерво, врача нашего института, чтобы мальчик потро-

гал его дорогой костюм, тонкую сорочку, наручные часы и новенькие ботинки. Жак тут же заявил на мимическом языке: «Я не хочу быть бедным! Я не люблю нищих!» «Ты не имеешь права так говорить,— ответил я ему.— Ты любишь меня хоть немного?»

Выражение несказанной нежности осветило его лицо. «Ты любишь меня,— продолжал я,— а ведь я тоже беден!»

Так Жак понял, что любить бедных вовсе не зазорно, и в то же время усвоил два новых понятия: **богатства** и **бедности**. Я воспользовался удобным моментом, взял его за руки и приложил их к своему лицу. После того, как он долгое время ошупывал мои морщины, он сделал сравнение со своим собственным, по-детски свежим лицом. Я объяснил ему, что настанет день, когда и его, Жака, лицо покроется морщинами: так в его мозгу утвердилось понятие старости. Реакция была бурной: он заявил, что с ним этого не произойдет, он намерен всегда оставаться молодым и на его коже никогда не будет морщин! Немало сил пришлось потратить, чтобы втолковать ему, что каждый человек стареет и старость не так уж безутешна, если сумеет окружить себя юностью.

Несколько дней спустя Жак гулял по парку, шагая вдоль веревок под моим наблюдением, как вдруг меня осенила идея дать ему еще одно важное понятие: **будущего**. Неизвестно, как долго длились бы мои объяснения, чересчур путанные, несмотря на все усилия, если бы ребенок не опередил мою мысль, продемонстрировав простой жест, доказывающий, что он прекрасно все понял: с протянутыми вперед руками, нарочно оставив в стороне обозначенный деревьями обычный маршрут, он быстро пошел впереди меня, самостоятельно найдя извечное сравнение жизни с дорогой. Как раз по возвращении с этой волнующей прогулки, на которой ему открылись безбрежные дали, Жаку пришлось впервые столкнуться со смертью. Теперь, уже зная, что такое будущее, он, на мой взгляд, был достаточно подготовлен, чтобы осмыслить это великое и трагическое понятие.

Брат Ансельм, наш институтский эконо́м, только что почил в бозе. Жак был очень привязан к брату Ансельму, который никогда не упускал случая сунуть ему в кармашек плитку шоколада. Я, как только мог мягко, сказал своему ученику о смерти, объясняя, что брат Ансельм уснул навеки, что он больше никогда не встанет на ноги, не сможет ходить и приносить Жаку шоколадки. Дотронувшись до распростертого тела, ребенок неприятно поразился тому, что оно холодное, и разрыдался. Однако не следовало оставлять в его сознании такую сугубо материальную и неполную картину смерти, поэтому я должен был открыть ему существование души...

Только благодаря незримому, но всегда живому присутствию Соланж в сердце Жака, мне удалось привести в действие те душевные силы, с помощью которых юный разум мог воспарить в сферы самых высоких отвлеченных понятий. Я спросил у него: «Ты очень любишь Соланж? Но чем же ты ее любишь? Руками? Ногами? Головой?» На каждый из трех последних



вопросов Жак кивком головы отвечал отрицательно. «Ты прав, мой мальчик. Это нечто в тебе любит Соланж. Нечто, способное любить, заключено в твоём теле, но не является его частью: без этого «нечто» тело твоё было бы неподвижным. Это называется душой, и в смертный миг душа расстается с телом. Ты трогал мертвое тело брата Ансельма: оно окоченело потому, что душа покинула его... Она отлетела в мир иной... Тебя любила его душа, а вовсе не тело: душа живет вечно и продолжает тебя любить...» Так в сознании Жака пустила ростки непростая идея нематериального существования и бессмертия души. Мне оставалось лишь довести ее до кульминационной точки, до вершины, которой должна достичь любая система воспитания: до постижения Бога. Чтобы добиться этого, я обратился за помощью к самому могущественному и самому щедрому союзнику человека: солнцу. К солнцу, которое мой ученик за приносимое им тепло любил так же неистово, как ненавидел смерть, несущую с собой могильный холод...

Однажды, после того как он вдоволь набегался в поле и возвратился ко мне весь мокрый от пота, счастливый, каждой клеточкой и каждой порой вобравший в себя солнце, преисполненный ребячьего восторга и благодарности к светилу, я спросил: «Жак, кто, по-твоему, смастерил солнце? Может быть, столяр?» «Нет, — ответил он, — пекарь!» С детской наивностью он связал в сознании, где теснилось столько новых понятий, солнечный жар с жаром печи, где поджаривается хлеб. Я объяснил ему, что пекарь не может создать солнце, что это выше его возможностей, что пекарь — всего-навсего человек, такой же, как и мы с Жаком, разве что умеющий месить тесто и выпекать хлеб... «Тот, кто создал солнце, Жак, неизмеримо больше, сильнее, чем пекарь и мы с тобой, и ученей всех на свете...» Жак слушал меня как зачарованный. Я рассказал ему о сотворении мира, описал красоту неба, звезд, луны...

194

Мало-помалу я продолжил урок. Вскоре он уже знал наизусть отдельные стихи Священного писания, которое очаровало его, как и любого ребенка. Понятие о времени было у него еще весьма туманным, и однажды он с беспокойством спросил у меня: «А мой папа был среди тех злых людей, которые убили Иисуса?»

«Нет, дитя мое. Твой отец, как и ты, как и все мы, относится к тем, ради кого Иисус стал искупителем...» Я воспользовался вопросом об отце, чтобы завести речь о семье, о которой он пока имел лишь самое смутное представление, и дал ему понять, что у него есть еще и мама, которую он обязан любить и почитать. Он не раз выказывал свое удивление по поводу того, что так долго не видит своих родных, и в особенности мать.

Я мог лишь ответить: «Она скоро придет...» Действительно, к концу года она приехала. К несчастью, эта встреча, на которую я возлагал столько надежд, не принесла ничего, кроме горя...

— Госпожа Вотье уже рассказывала нам об этом, — заметил председатель Легри.

Ивон Роделек покачал головой и медленно проговорил:

— Госпожа Вотье так никогда и не узнала, что ее сын чуть не

покончил с собой после того, как убежал из приемной, где она безуспешно пыталась удержать его в объятиях...

— Расскажите об этом подробнее, господин Роделек.

— Детали не имеют особого значения, однако извольте: Жак спрятался на чердаке главного здания института, а когда понял, что я обнаружил его убежище, спрыгнул вниз, на землю. Лишь спустя много дней мне наконец удалось выведать у него причину, толкнувшую его на такой шаг. Он сказал: «Я подумал, что вы пришли за мной, чтобы вернуть той женщине... Лучше умереть, чем вновь встретиться с ней! Напрасно вы говорите, что это моя мать: я знаю, она не любит меня и никогда не любила! Я узнал ее по запаху. Она не обращала на меня никакого внимания, пока я жил у нее. Меня там никто не любил, кроме Соланж». Я долго размышлял об этой семейной драме и в конце концов решил положиться на целительное действие времени. Тем не менее я пожурил Жака — он послушался меня и приложил все усилия, чтобы заставить себя лучше встретить свою матушку, когда спустя год она снова приехала в Санак. Однако впоследствии я понял, что мой ученик никогда не сможет полюбить ни мать, ни кого-либо другого из своей семьи.

— Как относился Жак Вотье к другим вашим воспитанникам?

— Прекрасно. Со дня прибытия в Санак он, благодаря своей приветливости и добродушию, завоевал всеобщую симпатию.

— Действительно ли один из них, по имени Жан Дони, занимался с ним больше остальных? — спросил прокурор.

— Да, это так: двое подростков на долгие годы превратились в неразлучную пару...

— До прибытия в Санак Соланж Дюваль! — вставил прокурор.

— Когда для Жака настало время готовиться к сдаче экзаменов, я подумал, что лучшей помощницы, чем Соланж Дюваль, для него не найти. При всех своих достоинствах Жан Дони был очень разборчив в выборе друзей: когда в жизнь Жака вошла эта девушка, он заметно приуныл. Я объяснил, что ему так или иначе уже не придется в будущем заботиться о своем более юном товарище: ведь через несколько месяцев Жану предстояло покинуть нас, чтобы стать органистом в соборе Альби. Поэтому вместо него Жаку будет помогать Соланж Дюваль. Жан Дони согласился с моими доводами.

— Может ли свидетель сказать нам, какими мотивами он руководствовался, приглашая Соланж Дюваль и ее мать в Санак? — спросил прокурор Бертье.

— Только настоятельной необходимостью, — ответил Ивон Роделек. — Воспитание Жака не получило бы должного завершения, если бы он не испытал на себе нежность, какую способна дать настоящая любовь, доходящая до полного самоотречения. Соланж Дюваль хранила в своем сердце такую бесконечную нежность к Жаку и каждую неделю писала ему. Письма эти, которые я внимательно прочитывал и на которые отвечал за своего ученика, накапливались в одном из ящиков моего стола.

Наконец, настал день, когда я смог вручить их Жаку, конечно, после того, как переписал азбукой Брайля. Он жадно перечитал их. Однако не один Жак делал успехи. Соланж, превратившаяся в почти взрослую девушку, писала теперь прекрасно. Сестра Мария по моей просьбе давала ей в Париже уроки, и они начали приносить плоды. По достижении совершеннолетия Соланж Дюваль должна была иметь достаточно солидное образование, чтобы на деле оказывать помощь Жаку. Я был уверен, что мой ученик не сможет жить один — рядом с ним всегда должна быть заботливая подруга, — и принял меры к тому, чтобы подготовить девушку.

Я настоятельно рекомендовал сестре Марии позаботиться о том, чтобы чуткая, восприимчивая девушка не заподозрила о наших столь далеко идущих планах. Одному лишь божественному провидению дано было ускорить ход событий, когда для этого настанет час. Соланж и Жак были еще слишком молоды, следовало дожидаться их совершеннолетия.

Так, читая и перечитывая письма, переписанные мной по Брайлю, Жак открывал для себя сердце девушки, которая некогда научила его просить любимые блюда и подарила Фланельку. «Когда же она приедет?» — неустанно вопрошал он. Как только я узнал от госпожи Вотье, что ей стало не по средствам держать у себя в услужении Мелани и ее дочь Соланж, я написал госпоже Дюваль письмо с приглашением работать в нашем институте: ей предлагалось место кастелянши, а ее дочери, достигшей уже двадцати лет и получившей прекрасное образование, предстояло занять место Жана Дони подле Жака. Госпожа Дюваль охотно приняла это предложение. Спустя месяц рядом с моим учеником наконец оказалась та, которую он так долго ждал.

— Скажите, господин Роделек, когда и при каких обстоятельствах был решен вопрос о женитьбе Жака?

— Моему ученику исполнилось двадцать два года, а Соланж Дюваль — двадцать пять. Жак уже не мог обходиться без Соланж — она помогала ему совершенствоваться в словесности и собрала все необходимые документы, позволившие ему написать роман «Один в целом свете». Тотчас после его выхода в свет Жак Вотье приобрел широкую известность: пресса заинтересовалась им и, как следствие, нашим институтом. Даже Америка изъявила желание познакомиться с необычным автором книги. Однако у меня не было возможности сопровождать ученика в его поездке по Соединенным Штатам: неотложные дела требовали моего присутствия в Санаке. В то же время я понимал, что ряд докладов, с которыми мог выступить Жак, открыл бы наш скромный труд широкой публике, доставил бы денежную помощь, в которой мы испытывали острую нужду, и прославил бы французскую методику обучения слепоглухонемых от рождения, пока мало известную за пределами страны. Должен сказать, что из Парижа в Санаке специально прибыл представитель министерства просвещения с заверениями, что правительство весьма благосклонно смотрит на этот цикл докладов в Соединенных Штатах и сделает все необходимое, дабы облегчить поездку.

Имел ли я после всего этого право удерживать Жака от путешествия? Наконец, и сам он был не против поездки. Единственно, что тяготило его, — предстоявшая разлука с Соланж. Если бы только... Он поделился со мной страстным желанием жениться на ней. Я посоветовал ему хорошенько все обдумать. Он ответил, что за последние пять лет, пока Соланж находилась рядом, у него было достаточно времени для размышлений. На это нечего было возразить, и по его настоятельной просьбе я согласился стать его посланцем к той, которую он желал видеть своей женой.

— Какова была реакция Соланж Дюваль? — спросил председатель суда.

— Она испытала бурную радость, но вместе с тем и озабоченность, как если бы предложение Жака застало ее врасплох. Я успокоил ее, заметив, что в глубине души они с Жаком любили друг друга с самого раннего детства. Спустя три месяца в нашей часовне впервые состоялось бракосочетание слепоглохонемого от рождения: для нашей общины это было самой прекрасной церемонией на свете. Мы увидели, как Жак, наш маленький Жак, которого мы двенадцать лет тому назад приняли в почти животном состоянии, выходит из часовни, улыбающийся, преисполненный радости, рука об руку с той, что отныне целиком вошла в его жизнь, принесла ему в дар свои чудесные лучистые глаза, чуткие маленькие уши, мелодичный голос и — почему бы не сказать об этом? — пару проворных женских рук, способных защищать его от жизненных неурядиц и расточать ему ласку, которой он до сих пор был лишен.

— Молодая чета сразу же покинула институт?

— Да, в тот же вечер: они отправились в свадебное путешествие в Лурд, куда Жак еще раньше изъявил желание поехать, чтобы возблагодарить Чудотворную деву, если Соланж согласится стать его женой.

— Впоследствии вы видели Жака Вотье и его супругу?

— Только раз: по возвращении из свадебного путешествия. Они были в Санаке проездом в Гавр, где должны были сесть на теплоход.

— Как вам показалось, они были счастливы?

От внимания Виктора Дельо не ускользнуло легкое замешательство Ивона Роделека.

— Да... — ответил свидетель. — Правда, новобрачная поделилась со мной некоторыми трудностями интимного свойства. Я посоветовал ей набраться терпения. Спустя месяц я с огромным удовлетворением прочел обстоятельное письмо Соланж из Нью-Йорка, в котором она писала, что я оказался прав и теперь она совершенно счастлива.

— Сохранилось ли у свидетеля это письмо? — спросил прокурор Бертье.

— Думаю, оно у меня в Санаке, — ответил Ивон Роделек.

— Итак, — произнес председатель суда, — сейчас вы впервые за пять лет видите вашего бывшего ученика?

— Да, господин председатель.

— Посмотрите на него. Сильно он изменился?

Внимательно рассмотрев подсудимого, Ивон Роделек глухо ответил:

— Да, он действительно очень изменился...

При этих словах по залу суда прокатился ропот.

— Что вы хотите этим сказать?

Ивон Роделек подошел к скамье защиты.

— Позволит ли мне суд задать моему бывшему ученику единственный вопрос?

— Какой именно?

— Почему он не хочет защищаться?

— Спрашивайте,— разрешил председатель суда.

Пальцы старика коснулись рук подсудимого, и тот вздрогнул.

— Он отвечает? — спросил председатель суда.

— Нет, он плачет.

В первый раз присяжные увидели на лице подсудимого слезы.

— Суд разрешает вам задать и другие вопросы подсудимому, господин Роделек... — сказал председатель суда.

— Бесполезно,— с печалью в голосе ответил директор Института Санака.— Жак будет молчать... Я хорошо его знаю! Только не подумайте, что из гордости. Боюсь, он скрывает от нас нечто, чего мы никогда не узнаем...

Председатель суда отпустил свидетеля, и тот, сутулясь более обычного, побрел к выходу.

Даниеллу Жени обуревали новые чувства — вероятно, те же, что владели сердцами большинства присутствующих в зале. Директор Института Санака с присущими ему великодушием и здравым смыслом представил личность подсудимого, которая до сих пор оставалась для всех непостижимой загадкой, в совершенно новом свете. Кульминационной точкой долгого выступления Ивона Роделека явился тот миг, когда, коснувшись пальцами рук подсудимого, он вызвал слезы из его потухших глаз. Для сидящих в зале, считавших до этой минуты подсудимого чудовищем, явилось открытием, что сердце его способно дрогнуть. Со слезами на глазах Жак Вотье вызывал чуть ли не симпатию. Впрочем, очень скоро он снова скрылся под маской животной бессмысленности.

— Доктор Дерво,— обратился председатель суда Легри к новому свидетелю,— мы знаем, что при всей вашей обширной практике в Лиможе вы одновременно исполняли обязанности врача в Институте Санака, который посещали трижды в неделю, чтобы наблюдать за здоровьем его воспитанников. Следовательно, вы лечили и Жака Вотье, когда это было необходимо.

— Да, это так. Но я должен сразу же заявить суду, что Жак Вотье обладал отменным здоровьем и практически никогда не болел, благодаря чему господин Роделек получил возможность без помех приступить к его воспитанию, которое он столь блистательно завершил.

— Господин Роделек так уж замечательно воспитал Жака Вотье? — ироническим тоном спросил прокурор Бертье.

— Воистину только по злонамеренности можно утверждать обратное! И я сузу об этом непредвзято, поскольку в отличие от

братьев ордена святого Гавриила, всегда верил не в чудеса, а в науку. Господину Роделеку упорным трудом удалось вывести Жака Вотье из состояния неполноценности, частично компенсировав нехватку одних чувств интенсивным развитием оставшихся, нормально функционирующих. При всем моем уважении к господину Роделеку я всегда считал, что доброта может прекрасно существовать и без того, чтобы ее рядили в религиозные одежды... Когда после приезда в Санак Жака Вотье господин Роделек сообщил мне, что, по его мнению, новый ученик отличается очень живым умом, я воспользовался этим удобным случаем и посоветовал ему воспитывать маленького Жака, не слишком забывая ему голову евангельскими сказками. Директор ответил: если забота о телесной оболочке Жака Вотье возложена на меня, то о душе его печься надлежит ему, Ивону Роделеку. «Вдвоем мы сделаем хорошую работу», — заключил он. Так вот, несмотря на неблагоприятные обстоятельства, я продолжаю верить, что над Жаком Вотье мы с господином Роделеком поработали хорошо.

— Итак, свидетель согласен разделить с господином Роделеком всю ответственность за воспитание Жака Вотье, которое в конечном счете привело его к преступлению? — спросил прокурор.

— Я горжусь тем, что на протяжении долгих лет сотрудничал с таким высоконравственным человеком, как Ивон Роделек, и решительно протестую против попытки внушить присутствующим, будто совершенное преступление — чуть ли не логический венец воспитания, полученного в Санаке! Это явная клевета! Уж поверьте мне, господа: если бы эти маленькие чудовища не были подобраны и обучены таким вот Ивоном Роделеком, они, вне всякого сомнения, несли бы серьезную угрозу для общества по мере того, как их аппетиты и потребности росли бы в хаосе животной жизни. Человечество должно быть благодарно таким, как Ивон Роделек! И я утверждаю, что если на свете и существует школа, которая была бы полной противоположностью самой мысли о преступлении, то это как раз Институт Санака, наипервейшее правило которого — научить детей любви к ближнему!

— Не могли бы вы, как врач, прикрепленный к институту, сказать нам, чем вы объясняете безрассудную попытку самоубийства Жака Вотье после первого визита матери? — спросил председатель суда.

— Это случай непростой. Вероятно, отвращение ребенка к собственной матери уходит корнями в младенческие годы. Благодаря неистощимому терпению Ивону Роделеку за те несколько месяцев, что Жак пробыл в Санаке, удалось внушить ему благоговение перед понятием «мама». К несчастью, в возбужденном мозгу мальчика оно оказалось, видимо, чрезмерно идеализированным. Когда Жак вошел в приемную, где его ждало воплощение этого идеала, и вдохнул запах госпожи Вотье, он испытал сильнейшее потрясение. В памяти его вмиг всплыла вся ненависть, которую он питал к этому существу. Ивон Роделек сказал мне в тот вечер: «Это ужасно, доктор! Ребенок

убежден, что я обманывал его, приписывая всевозможные добродетели человеку, который на деле был для него олицетворением зла. Вы не хуже моего знаете, что никоим образом нельзя обманывать доверие даже нормального ребенка, не говоря уже о таком, кто чувствует себя неполноценным. Сама основа моего метода — полнейшее доверие ученика к своему учителю. Теперь вы видите, насколько серьезна эта проблема: помогите же мне, доктор!»

Я ответил: раз он убежден, что Жак никогда не полюбит свою мать, наилучшим выходом было бы найти отвлекающее средство, взлелеять в его душе другую нежную привязанность, способную заменить несостоявшуюся любовь к матери. Еще до этого господин Роделек рассказывал мне о маленькой Соланж, о письмах, которые она писала Жаку каждую неделю. По его словам выходило, что Соланж Дюваль сможет заменить Жаку мать, а позднее, быть может, и стать супругой. Хорошоенько поразмыслив над моим советом не усердствовать в религиозном воспитании, Роделек решил отчасти последовать ему и сделать из Жака человека в полном смысле слова. Он сказал также, что рассчитывает в этом на мою помощь. Я обещал сделать все, что в моих силах, да и сам проникся огромным интересом к этому мальчику, который становился для нас с господином Роделеким объектом любопытнейшего морального и физического эксперимента. В то время как наставник обогащал его все новыми и новыми понятиями, я направлял его физическое развитие.

Очень скоро я убедился, что Жак не сможет обойтись без женщины, и поделился своими наблюдениями с господином Роделеким. Мы знали, что Соланж думает только о Жаке... Возможно, и Жак вспоминает о ней с таким же теплом. Правда, у него это могло быть пока только неосознанно... В процессе образования Жак, разумеется, получил некоторое представление о женщине и об акте зачатия, однако ввиду его тройной уязвимости проблема оставалась крайне деликатной. Безмятежная набожность господина Роделека позволяла ему пребывать в уверенности, что между двумя любящими существами все уладится, если на то будет благоволение небес. Я же, увы, гораздо лучше осведомлен о некоторых вещах и знаю, что неловкость мужчины при первом физическом контакте с юной женщиной может непоправимо все испортить. Ну, а стесненный своим врожденным недостатком, Жак наверняка совершит все мыслимые и немыслимые промахи.

Долгое время меня беспокоила мысль, что Соланж, единственно возможной подруге жизни для Жака, предстояло сыграть роль подопытного кролика. Не пострадают ли от этого ее неискренность и целомудрие? Затянется ли потом душевная рана?

Я всегда буду помнить приезд девушки в Санак. Встреча молодых людей состоялась в приемной, в нашем присутствии. Войдя, Соланж тотчас остановилась, окаменев при виде Жака, которого знала ребенком и который предстал сейчас перед ней в облике взрослого юноши. Первые шаги сделал Жак: он медленно приблизился к ней, словно влекомый некой таинственной

силой, остановился и глубоко втянул в себя воздух. Позже он признался, что в эту незабываемую минуту вновь обрел «запах Соланж», запах, который он так любил раньше, когда вел почти растительное существование в маленькой комнатке парижской квартиры, запах, всегда являвший собой полную противоположность ненавистному запаху матери... Он вытянул руки и принялся тихонько обводить ими очертания лица, которое уже любил... Соланж, застывшая как изваяние, во время этого своеобразного обследования едва осмеливалась дышать. Внезапно руки Жака схватили руки девушки: шершавые пальцы юноши жадно забегали по ее почти прозрачным пальчикам. Они «говорили» с ней с чудесным проворством, получив возможность высказать непосредственно ей самой все, что Жак годами тайно вынашивал в сердце.

Что это были за слова, мы никогда не узнали. Как бы то ни было, контакт установился — отныне и на всю жизнь...

Постоянное присутствие этой девушки рядом с Жаком поставило меня перед необходимостью посвятить возмужавшего юношу в мучившие его тайны физиологии. Да не покажется вам вольным выражение, которое я вынужден употребить, однако оно точно отражает то состояние, в каком находился Жак: он буквально чувал подле себя женщину. Необходимо было дать ему ясное представление обо всем, иначе его неудовлетворенное любопытство очень скоро стало бы болезненным.

Ивон Роделек предоставил мне в этом полную свободу действий, сознательно ограничив свою роль воспитателя только интеллектуальной и моральной сферами. Совершенно очевидно, что именно врач как нельзя лучше подходил для этих целей, но моя задача оказалась бы неизмеримо труднее, если бы в лице Соланж я не нашел самую ценную и понятливую помощницу. Она согласилась познакомить Жака с анатомией женщины — это является самой обычной вещью, например, на медицинском факультете. Соланж предпочла, чтобы она сама, а не какая-нибудь другая девушка открыла Жаку тайну женского тела... Когда Соланж разделась, я подошел к Жаку и, взяв его за запястья, дал ему оцупать шею женщины, груди женщины, бедра женщины. По мере этого волнующего знакомства он получал необходимые пояснения. Лицо его осветилось. Когда же я описал ему акт любви, соединяющий два существа, он, похоже, нашел его вполне естественным. Этого я и добивался. Нечто библейское было в этом своеобразном уроке естественной истории... Что до меня, то я испытывал такое чувство, будто знакомлю нового Адама, чистого и целомудренного, с извечной Евой... Юношу охватило радостное возбуждение. Его плотские устремления теперь самым естественным образом сосредоточились на Соланж. Так, почти незаметно, низменные инстинкты переросли у Жака во властное желание стать творцом новой жизни совместно со своей идеальной подругой, встреченной им на жизненном пути.

Прошло несколько дней, в течение которых я был свидетелем того, как его все больше мучила неотвязная мысль... Он испытывал острое желание до конца познать женщину. С тревогой

ожидал я минуты, когда он разыщет меня и признается, что страстно желает Соланж... Как только это произошло, я немедленно поставил в известность Ивона Роделека. Жаку было в то время двадцать два года, Соланж — двадцать пять: ничто более не препятствовало их браку... Спустя три месяца Соланж Дюваль стала госпожой Жак Вотье.

— Положа руку на сердце, доктор, — спросил председатель суда, — считаете ли вы этот брак удачным?

— Он был бы еще удачнее, если бы у них появился ребенок...

— Есть какие-нибудь препятствия?

— Никаких. Оба супруга абсолютно здоровы, а слепота, глухота и немота по наследству не передаются. Самое лучшее, что я могу пожелать Жаку и Соланж: когда вся эта печальная история закончится, завести ребенка, который окончательно скрепит их союз.

— Таким образом, вы убеждены в невинности подсудимого?

— Да, убежден, господин председатель. Когда я узнал из газет о преступлении на борту «Де Грасса», я упорно пытался найти причину, которая могла бы побудить Жака Вотье к убийству. И не нашел ее... Вернее, причина могла бы быть только одна, но она настолько неправдоподобна, что о ней нечего и говорить...

— Все же назовите ее суду, доктор, — посоветовал Виктор Дельо со своей скамьи.

202 — Хорошо... Жак слишком любил свою жену, чтобы позволить кому-то не оказать ей должного уважения. Не хочу порочить убитого, тем более что ничего не знаю об этом молодом американце, но немалая сила сексуального влечения, полностью сосредоточенного у Жака на единственном существе, могла вызвать порыв устранить не соперника — о сопернике не может идти и речи при столь высоконравственной супруге, как Соланж, — а просто незнакомца, который неосмотрительно рискнул попытаться счастья, как любой мужчина при виде красивой женщины...

— Умозаключение господина доктора Дерво, который к тому же выступает свидетелем защиты, — живо отреагировал прокурор Бертье, — заслуживает внимания господ присяжных: оно отнюдь не лишено здравого смысла. Быть может, это и есть, наконец, истинный мотив преступления, который подсудимый упорно отказывается открыть?

— Нет, господин прокурор! — воскликнул Виктор Дельо. — В своем похвальном стремлении действовать на благо моего подзащитного свидетель допускает ошибку, пытаясь найти веское оправдание человекоубийственному акту, в котором обвиняют Жака Вотье. Мотив преступления, которое, если уж допустить невозможное, действительно совершил бы подсудимый, гораздо более серьезен. Для защиты не подлежит сомнению, что Жак Вотье и в самом деле имел очень основательную причину убить Джона Белла, и она берется доказать это в любое время. Однако Жак Вотье не исполнил своего намерения.

— Что вы хотите этим сказать, мэтр Дельо? — спросил председатель суда.

— Всего лишь то, господин председатель, что Жак Вотье не совершал преступления, в котором его обвиняют!

В зале на мгновение воцарилась тишина, настолько все были поражены услышанным, затем послышался ропот.

— В самом деле? — воскликнул мэтр Вуарен.— А что же вы намерены делать с отпечатками пальцев, с признаниями подсудимого, дорогой коллега?

— Боже мой, да никто и не спорит, что отпечатки принадлежат Жаку Вотье, но, мне представляется, уголовное расследование не велось со всей тщательностью, какую требует столь необычное преступление. Мы беремся доказать и это в любое удобное суду время... Что же касается признаний, сама готовность Жака Вотье с самого начала признать свое злодеяние заставляет нас хорошенько призадуматься. И мы, несмотря ни на что, не оставляем надежды вынудить подзащитного здесь же, в этом зале, во всеуслышание откаться от своих слов. Но это может произойти лишь в том случае, если мы представим Жаку Вотье неопровержимые доказательства его невиновности. Ведь мой подзащитный лгал офицерам «Де Грасса», полицейским инспекторам, медикам, следователю, собственной жене и мне самому, на которого возложена задача спасти его. Жак Вотье лгал всем!

— Но с каким же намерением? — спросил прокурор.

— Ах, господин прокурор, здесь-то и кроется ключ к тайне! — ответил Виктор Дельо.— Когда мы узнаем точную причину, по которой мой подзащитный возводит на себя напраслину, чтобы спасти кого-то другого, мы разоблачим настоящего убийцу!

— Обвинение имеет все основания опасаться, что так называемый «настоящий» убийца никогда не предстанет перед правосудием по причине того, что его просто-напросто не существует! — съязвил прокурор Бертье.— Есть только один убийца, господа присяжные, не из царства теней, а вполне реальный, из плоти и крови,— и этот человек перед вами: Жак Вотье!

— Защита не позволит обвинению применять к подсудимому этот оскорбительный термин, пока не будет произнесен вердикт! — вскричал Виктор Дельо.

— Ни обвинение, ни господа присяжные,— так же запальчиво ответил прокурор Бертье,— не поддадутся словесной эквилибристике защиты, за которой нет ничего, кроме пустоты! Коекому не мешало бы напомнить, что судят лишь по фактам! Если защита будет по-прежнему настаивать на своей версии, мы попросим ее представить нам этого пресловутого загадочного преступника, о котором она не устает твердить, и тогда первыми потребуем безоговорочного оправдания Жака Вотье... Мы жаждем правосудия не меньше, чем защита, но, увы, отлично знаем, что в этой прискорбной истории есть только единственно возможный преступник.

— Инцидент исчерпан,— отрезал председатель и задал вопрос доктору Дерво, по-прежнему стоявшему у решетки: — У вас есть что сказать суду?

— Да, господин председатель... Боюсь, как бы суд не понял меня превратно... Я лишь высказал предположение, которое

в принципе могло бы объяснить убийство, однако такое объяснение не удовлетворяет меня самого, поскольку за те двенадцать лет, что Жак провел в Санаке, я лучше, чем кто-либо другой, изучил его склад ума. Несмотря на все обстоятельства, говорящие как будто против него, Жак Вотье не мог совершить убийства, потому что Ивон Роделек вложил в его мозг и сердце такой запас нравственности, с которым просто невозможно совершить насилие над другим человеком!

— Суд благодарит вас, доктор. Вы можете идти...

Услышанное заставило Даниеллу задуматься над деликатной проблемой интимных отношений между слепоглухонемым и той, что согласилась стать его женой. Вначале Даниелла содрогнулась при мысли, что женщина, молодая, красивая, судя по признанию многих свидетелей, какой была Соланж, могла отдаться ласкам чудовища... Однако уже не вызывало сомнений, что слепоглухонемой питал к Соланж огромную любовь. По сути дела, этой Соланж Дюваль в общем-то повезло: она любима! Многие ли женщины могут похвалиться тем, что приручили подобного гиганта?

Новый свидетель, появившийся у решетки, был облачен, как и Ивон Роделек, в черную сутану с голубыми брыжами. Однако он был настолько же дорожен и коротконог, насколько тот — худ и высок. С его приветливого лица, похоже, никогда не сходила жизнерадостная улыбка.

— Господин Тирмон, что вы можете рассказать суду о Жаке Вотье?

— Об этом чудесном ребенке? — воскликнул брат Доминик. — Только самое хорошее, как, впрочем, и обо всех наших воспитанниках... Они так милы!

— Вы занимались с Жаком Вотье?

— Эту обязанность в основном возложил на себя наш директор, однако и я частенько беседовал с этим милым мальчуганом с помощью дактило-азбуки. И каждый раз меня, как и всех преподавателей института, приводила в изумление его необыкновенная сметливость. Особенно он привязался ко мне после того, как я сделал новое платье для его куклы Фланельки. Я очень хорошо помню наш разговор. Я немножко поддразнил его: «Платьице Фланельки уже вышло из моды, как и ее волосы, — они слишком длинны!» «А какого цвета должно быть ее новое платье?» — тотчас спросил Жак. Меня так удивил этот вопрос — поймите, слепой ребенок говорил о цвете! — что я ответил не сразу: «Красного!.. Но скажи, каким ты представляешь себе красный цвет?» «Теплым», — ответил он. «Ты прав, мой мальчик. Господин Роделек уже рассказывал тебе о цветах солнечного спектра?» — «Да. Он даже объяснил мне, как выглядит радуга». Мальчик составил себе представление о красках по аналогии с разнообразием запахов и вкусовых ощущений. Ни один предмет он не представлял себе без того, чтобы подсознательно не наделить его теми или иными цветами радуги.

— Может ли свидетель сказать нам, насколько соответствует действительности представление о цветах, укоренившееся в со-

знании Жака Вотье? — спросил Виктор Дельо.

— Знаете, я почти сразу обнаружил несовпадение, которое нам, увы, в дальнейшем так и не удалось устранить. Он спросил, какого цвета у Фланельки глаза. Я ответил, что голубые, а волосы — черные. Ребенок выказал явное разочарование: «Мне так не нравится! Фланелька будет красивее с желтыми глазами и голубыми волосами!» В тот момент я не стал ему возражать, вспомнив, что на портретах некоторых модернистов доводилось видывать кое-что и похлеще! Быть может, Жак создал в воображении собственную цветовую палитру, в которой зеленый является олицетворением свежести, красный — силы и буйства, белый — искренности и чистоты? Даже если воображаемая гамма не совпадает с действительной, это имеет лишь весьма относительное значение, поскольку в восприятии цветов нет абсолютного мерил. Сколько зрячих, среди которых немало дальтоников, не может прийти к согласию по поводу истинной природы того или иного цвета? Да и вообще, кому не известна поговорка: на вкус и цвет товарища нет!

— Все эти рассуждения свидетеля по поводу цветоощущения у подсудимого, вероятно, представляют большой интерес, — заявил прокурор Бертье, — но, по нашему мнению, выходят за рамки настоящего разбирательства.

— Это не так, господин прокурор! — возразил Виктор Дельо. — Именно цвет, как бы неправдоподобно это ни звучало, сыграл решающую роль в развитии событий.

— Воистину с мэтром Дельо не соскучишься! — воскликнул прокурор. — Если б я кэ боялся оскорбить достоинство места, где вершится правосудие, то сказал бы, что загадочные намеки защиты заводят нас в дебри детективного сюжета!

— А кто с этим спорит? — парировал старый адвокат. — В любом детективном романе налицо преступление, виновник которого раскрывается на самых последних страницах... Я повторяю: настоящий преступник «Де Грасса» будет изобличен, видимо, на последних минутах разбирательства...

— Почему бы защите не открыть его имя прямо сейчас? — спросил прокурор.

— Защита никогда не заявляла, что знает убийцу! — спокойно возразил Виктор Дельо. — Она лишь утверждала и продолжает утверждать, что подзащитный не является преступником и в настоящее время он один знает убийцу. Трудность состоит в том, чтобы найти способ вынудить Жака Вотье рассказать нам все, что ему известно. Дополнительно к этому защита пока может утверждать лишь следующее: вескую причину уничтожить Джона Белла могли иметь по меньшей мере три человека... В их число, без сомнения, входит и подсудимый, но убил не он — это мы докажем. Есть другое лицо, в чьем поведении много неясного, однако у него удовлетворительное алиби. Остается третий — он-то, по всей видимости, и является виновником преступления... К несчастью, защита пока не располагает именем этого человека, иначе процесс был бы уже завершен!

— Как вы полагаете, господин Тирмон, — спросил председатель суда, чтобы положить конец спору между защитой и обви-

нением,— способен ли Жак Вотье совершить преступление, в котором он обвиняется?

— Жак?! — вскричал брат Доминик. — Да ведь он самый мягкосердечный из питомцев нашего института за всю его историю! У него врожденное отвращение к злу и жестокости. Наш старый садовник Валантен сказал так: «Жак Вотье — убийца? Что вы, ведь он так любит цветы!»

— Небезызвестный Ландрю¹, — заметил прокурор, — обожал свои розы, за которыми с любовью ухаживал в перерывах между убийствами!

— Кстати, о Валантене, — вмешался председатель суда. — Он, кажется, пользовался для хранения садового инвентаря сарайчиком в глубине парка?

Брат Доминик никак не ожидал подобного вопроса.

— Да, верно... А что, вы бывали у нас в Санаке, господин председатель?

— Нет, — ответил председатель Легри. — Хотя теперь надеюсь там побывать... Этот сарайчик до сих пор там?

— Да. Правда, его выстроили заново после пожара.

— Какого пожара?

— О, незначительное происшествие, при котором, к счастью, никто не пострадал... Забавно, но сейчас я припоминаю, что в нем была замешана Соланж Дюваль — будущая госпожа Вотье.

— Можете ли вы описать это происшествие? — спросил председатель суда.

— Если мне не изменяет память, как-то весною, поздно вечером мы с братом Гарриком прогуливались в парке и вдруг увидели, что сарай горит. Мы бросились туда и обнаружили у догоравших обломков Соланж Дюваль и одного из воспитанников, Жана Дони, — их одежда и лица были перепачканы сажей.

— Не повстречался ли вам поблизости Жак Вотье?

— Нет, господин председатель... Однако ваш вопрос напомнил мне любопытное признание Жана Дони. Он пришел ко мне на следующий день и сказал: «Соланж солгала, заявив, что пожар произошел по ее оплошности. Лампу опрокинула вовсе не она: ее сбросил на землю Жак Вотье — нарочно, чтобы сарай загорелся, а потом запер нас с Соланж на ключ, а сам удрал». «Что за чушь вы городите! — ответил я Жану Дони. — Понимаете ли вы, что это очень тяжкое обвинение? Зачем клевете на товарища? К тому же Жака там и не было!» «Нет, он был там, брат Доминик, но успел убежать, пока я пытался выбраться. Если бы дверь не поддавалась в самую последнюю минуту, вы нашли бы лишь два обугленных трупа — Соланж и мой». «Да вы что, с ума сошли, Жан? С какой бы стати ему совершать столь дикий поступок?» «Потому что он ревнует, — ответил Жан Дони. — Воображает, будто Соланж любит меня, а не его!»

Несколько дней я пребывал в нерешительности: стоит ли

¹ Ландрю А.-Д. — скандально известный в свое время преступник-маньяк, казненный в Париже в 1922 году по обвинению в зверском убийстве одиннадцати человек.

посвящать в наш странный разговор директора, и предпринял собственное маленькое расследование. Когда ко мне в очередной раз зашел Жак Вотье, я сказал ему: «Бедный мой Жак, вы, должно быть, так огорчились при известии о том, что Соланж и ваш лучший друг Жан едва не сгорели заживо в сарае Валантена?» Жак ответил: «Не понимаю, как все это могло произойти... Во всяком случае, одно я знаю точно: Жан мне больше не друг...» Больше я от него ничего не добился. Я попытался вновь вызвать на разговор Жана Дони, но тот, жалея, очевидно, о вырвавшихся у него необдуманных словах, всячески избегал встречи со мной. Тогда я решил предать сказанное Жаном Дони забвению. И дальнейшие события подтвердили правильность такого решения: позже я с радостью встретил Жана, специально приехавшего из Альби в Санаж, чтобы вести партию органа на бракосочетании Соланж и Жака. Из этого я заключил, что бывшая неприязнь исчезла.

— Как вы полагаете, новобрачные были счастливы на своей свадьбе?

— Вы спрашиваете, были ли они счастливы, господин председатель? Да их лица прямо-таки лучились счастьем, когда они рука об руку вышли из часовни, навек соединив свои судьбы!.. В тот день все были счастливы! Ах, что это было за торжество! Немало празднеств я перевидал и надеюсь еще увидеть в Санаке, но вряд ли хоть одно из них весельем и радостью сравнится с этой свадьбой — первой свадьбой в часовне Института святого Иосифа! Мы все ощущали себя в какой-то мере творцами этого счастья...

— Суд благодарит вас. Вы можете идти... Пригласите следующего свидетеля...

Хрупкая фигурка вошедшей являла собой разительный контраст с атлетической фигурой Вотье. Взгляды присутствующих обращались попеременно то на изящное белокурое создание с порозовевшим точеным личиком, явно смущенное тем, что находится в подобном месте, то на колосса, чье гладко выбритое лицо оставалось по-прежнему бесстрастным. Соланж Дюваль подошла к решетке, ни разу не повернув головы в сторону скамьи подсудимых, и замерла перед председателем суда.

«Так вот она какая!» — подумала Даниелла Жени. В словах даже самых благожелательных свидетелей не было преувеличения: Соланж была на редкость хороша собой. Будущий адвокат ощутила легкий укол зависти, к которой примешивалось нечто похожее на ревность. Пусть это глупо, но она ничего не могла с собой поделать.

— Госпожа Вотье, — мягко сказал председатель Легри, — суд уже знает, что вы познакомились с Жаком Вотье задолго до того, как вышли за него замуж.

Молодая женщина довольно подробно описала свои переживания того времени: как она жалела несчастного мальчика, как возмущалась его бессердечными родителями. Рассказала о том, как огорчил ее отъезд Жака в Санаж, как надеялась вновь обрести его, как училась у сестер-наставниц.

— На протяжении тех семи лет разлуки, что предшествовали вашему приезду в Институт святого Иосифа, вы регулярно переписывались с Жаком Вотье?

— Я писала ему каждую неделю, но первые два года мне отвечал за него господин Роделек. Потом Жак стал писать мне сам — по методу Брайля, который я к тому времени уже изучила. Отвечала я ему тем же способом.

— Помните ли вы старшего товарища Жака Вотье, который также обучался в Санаке, — Жана Дони?

— Да, — коротко ответила Соланж.

— Мадам, вы должны разъяснить суду один немаловажный момент. Жан Дони заявил суду, что в свое время вы кое-чем в нем ему признались.

— В чем же? — с живостью спросила Соланж.

— Секретарь, — сказал председатель, — будьте любезны зачитать госпоже Вотье показания свидетеля Жана Дони.

Соланж выслушала их в полном молчании. После этого председатель спросил:

— Согласны ли вы, мадам, с данными утверждениями?

— Жан Дони позволил себе изобразить это прискорбное происшествие абсолютно лживо, представив свою неблагоприятную роль в совершенно ином, выгодном для себя свете! Чтобы Жак завлек меня в этот сарай и попытался овладеть мной! Да это же просто смешно! Жак слишком уважал меня, чего никак нельзя сказать о Жане Дони, чьи манеры мне никогда не нравились. Напротив, это он имел в тот день дурные намерения и оказался истинным виновником происшедшего...

— Что вы хотите сказать этим, мадам?

— Не сомневаюсь, господин председатель, что суд хорошо меня понял, так что задерживаться далее на столь давнем инциденте, который в конечном счете не представляет особого интереса, нет никакой нужды... Замечу лишь, что я никогда не делала Жану Дони ни малейших признаний!

— Суд принимает это к сведению, — заявил председатель. — Теперь, мадам, суд желал бы узнать, насколько активно вы сотрудничали с Жаком Вотье в написании его романа.

— Вас, вероятно, ввели в заблуждение: Жак написал «Одного в целом свете» совершенно самостоятельно. Моя роль сводилась лишь к тому, чтобы собрать все необходимые документы, список которых он составил сам. Что же касается господина Роделека, он только взял на себя труд переложить роман на обычный язык.

— И все же, мадам, не вы ли явились вдохновительницей этого произведения и, в частности, тех его страниц, где речь идет о семье героя? — вкрадчиво спросил прокурор Бертье.

— Ваши намеки, месье, — вспыхнула молодая женщина, — по меньшей мере неучтивы! Если я правильно уловила смысл ваших слов, вы пытаетесь возложить на меня ответственность за те весьма нелестные суждения, что Жак вынес о своих близких. Так вот, знайте: ни до, ни во время замужества я никогда не пыталась на него повлиять.

— Расскажите нам, пожалуйста, мадам, как вы стали супругой Жака Вотье, — попросил председатель суда.

— Приехав к Жаку в Санак, я быстро поняла, какие чувства он питает ко мне, обрадовалась этому, но и несколько встревожилась. Я уже тогда любила его, но не истинной любовью; в моих чувствах было чересчур много сострадания. Так прошло пять лет — к счастью, они были до предела заполнены вначале интенсивной учебой, затем работой над романом «Один в целом свете».

Наконец роман был издан, и Жак получил известность. Вскоре после этого господин Роделек постучался в дверь моей комнаты. «Не сердитесь на меня за столь поздний визит: у меня к вам серьезный разговор... Вы давно поняли, что Жак влюблен в вас. Но он очень робок и не осмеливается открыть вам свое чувство. Поэтому я, как его названный отец, пришел просить для своего сына руки очаровательной девушки... Только, ради всего святого, не подумайте, что я хочу повлиять на вас! Поразмыслите хорошенько! Времени у вас Жаком сколько угодно...»

Я медлила с ответом, и господин Роделек внимательно смотрел на меня. «Не могу поверить, — сказал он, — чтобы вы не любили Жака. Союз ваш должен быть прочным. Жак, без сомнения, стоит на пороге карьеры мыслителя и писателя. Его уже приглашают в Соединенные Штаты... Кому сопровождать его туда, как не его супруге? Кто, кроме вас, сумеет окружить его постоянной заботой, участием и любовью, в которых он так нуждается? Подумайте обо всем этом, Соланж. Как вы чувствуете, сможете ли жить без него? Вот единственный вопрос, который вы должны задать своему сердцу... Спокойной ночи, милая моя Соланж...»

На протяжении долгих часов я вновь и вновь возвращалась к тому, что сказал господин Роделек, и спустя три дня ответила: «Я согласна стать женой Жака...»

— Очень трогательная история, мадам, — признал председатель суда. — Ответьте нам, если можете: вы были счастливы?

— Я была счастлива, господин председатель, — ответила Соланж после едва заметного колебания.

— И долго вы оставались счастливой? — брякнул прокурор Бертье.

Вместо ответа молодая женщина залилась слезами, но потом, справившись с собой, сказала:

— Даже если бы Жак и совершил преступление, в котором он, я уверена, не виновен, я все равно была бы счастлива, зная, что он меня по-прежнему любит... Но со дня той ужасной трагедии я терзаюсь неведением... Я не услышала от него ничего, кроме ложного самообвинения. Он не захотел видиться со мной, пока находился в заключении, несмотря на все попытки добиться свидания через защитников, сменявших один другого. Он даже сказал одному из них, мэтру де Сильве, что отныне я для него не существую... Он сердится на меня, но не знаю, за что! Главное, он мне больше не доверяет, а потеря доверия — это потеря любви! Со дня убийства я потеряла безоглядную любовь, которую дарил мне Жак с детских лет... Вот единственная причина моего несчастья!

— Суд понимает ваше горе, мадам, — сказал председатель. —

И все же не могли бы вы сообщить нам еще кое-какие сведения относительно вашей супружеской жизни? Господин Роделек вскользь заметил, что по возвращении из свадебного путешествия вы поделились с ним некоторыми затруднениями интимного характера, которые не позволяли вам быть полностью счастливой.

— Быть может, так оно и было, но время все уладило, как и предсказывал господин Роделек. Жак стал для меня идеальным супругом...

— И ваше счастье ничем не омрачалось за все время пребывания в Америке?

— Да. Мы переезжали из города в город и повсюду встречали благожелательных слушателей.

— Припомните, мадам, не приходилось ли вам за пять лет странствий по Соединенным Штатам встречаться с Джоном Беллом?

— Нет, господин председатель.

— А во время плавания вы или ваш муж разговаривали с этим человеком?

— Нет. Лично я вообще не знала о его существовании. Могу с уверенностью сказать то же самое и о Жаке, который выходил из каюты только вместе со мной: дважды в день мы совершали часовую прогулку по палубе. Все остальное время проводили в каюте, куда нам приносили и еду.

— Как же в таком случае вы объясняете то, что ваш муж набросился на неизвестного ему человека?

— Я никак не объясняю, господин председатель, поскольку уверена, что этого американца убил не Жак.

— Раз вы в этом уверены, мадам, то, наверное, подозреваете кого-нибудь другого?

— Кого угодно, кроме Жака. Я, его жена и друг, знаю, что он не способен причинить другому человеку ни малейшего зла.

— Позвольте, мадам,— воскликнул прокурор,— чем же вы объясняете тот факт, что ваш муж, который, по вашим же словам, в первые три дня выходил из каюты только с вами, ускользнул из-под вашего бдительного надзора и вам пришлось заявить судовому комиссару о его исчезновении, причем как раз в момент преступления?

— В тот день Жак, по своему обыкновению, прилег вздремнуть после обеда, и я вышла на верхнюю палубу подышать свежим воздухом. Минут двадцать спустя я вернулась в каюту и очень удивилась, увидев, что мужа на койке нет. Я подумала, что он, должно быть, проснулся и отправился меня разыскивать. Это меня встревожило, ведь он плохо знал бесчисленные коридоры и лестницы трансатлантического лайнера, и я выбежала из каюты. После безуспешных поисков я снова зашла в каюту — в надежде, что Жак появится там. Но его по-прежнему не было. Придя в отчаяние при мысли, что Жак мог оказаться жертвой несчастного случая, я бросилась в бюро судового комиссара и поделилась с ним своими опасениями. Остальное вы знаете...

— Не мог бы свидетель,— спросил Виктор Дельо,— сделать

некоторые уточнения для суда, который так и не получил этих сведений от следствия? Госпожа Вотье, вы сказали нам, что отсутствовали в каюте двадцать минут. Вы уверены в этом сроке?

— Да, минут двадцать, самое большее тридцать.

— Прекрасно,— кивнул Виктор Дельо.— Будем считать, полчаса... Потом вы вернулись и отправились на поиски мужа, что заняло еще полчаса. В итоге это дает нам уже час... Вы вновь проверили каюту и направились в кабинет комиссара Бертена. На разговор с ним ушло, предположим, еще десять минут. Только тогда начались поиски, предпринятые комиссаром «Де Грасса», то есть через час и десять минут после того, как вы в последний раз видели мужа лежащим на койке. Сколько времени они продолжались, пока вашего мужа наконец не обнаружили в каюте убитого?

— Наверное, минут сорок пять.

— Где находились все это время вы?

— Я ждала известий в кабинете комиссара Бертена: так посоветовал он сам, сказав, что в первую очередь сведения поступят сюда. Время текло мучительно долго. Какие только мысли не приходили мне в голову!.. Я не могла предположить только одного: что мой бедный Жак окажется не жертвой несчастного случая, а преступником! Наконец, я дождалась возвращения комиссара Бертена. Он и пришедший вместе с ним капитан Шардо рассказали мне, при каких странных обстоятельствах был обнаружен мой муж, а когда капитан заявил, что, судя по всему, американца убил Жак, я упала в обморок... Когда очнулась, эти господа попросили меня пройти с ними в судовой карцер, куда они заключили Жака, и побыть переводчицей на его первом допросе. Я кинулась к Жаку, схватила его за руки и отстучала вопрос: «Это неправда, Жак? Ты не сделал этого?» Он ответил мне тем же способом: «Не тревожься! Я отвечаю за все... Я люблю тебя». — «Ты сошел с ума, любимый! Раз ты меня любишь, не смей возводить на себя напраслину, обвинять в чужом преступлении!» Я умоляла его, но он больше ничего не сказал. А когда капитан попросил задать ему роковой вопрос, Жак, к моему великому горю, ответил: «Я убил этого человека и ни о чем не сожалею». В последующие дни до прибытия в Гавр он повторял этот ответ.

— Прошу извинить меня за настойчивость,— заявил Виктор Дельо,— но мне представляется весьма важным отметить господам присяжным, что с момента, когда госпожа Вотье в последний раз видела своего мужа лежащим на койке в каюте, и до того, как стюард Анри Тераль обнаружил его в «люксе» Джона Белла, прошло самое меньшее два часа... Два часа — этого более чем достаточно, чтобы совершить преступление, и даже не одно!

— Что вы хотите этим сказать, мэтр Дельо? — спросил председатель.

— Я хочу напомнить суду свое предыдущее заявление — о том, что в уничтожении Джона Белла могли быть заинтересованы по меньшей мере три человека. Среди этих трех гипотетических преступников Жак Вотье был, без сомнения, тем,

кому убийство внушало наибольшее отвращение. Если бы он и совершил убийство, оно было бы почти вынужденным ввиду определенных обстоятельств. Однако Жак Вотье — и этим мы обязаны принципам добра, внушенным ему Ивоном Роделеком, — обладал и всегда будет обладать совестью, которая указывает ему истинный путь. Она-то и побуждает его сейчас обвинять себя в злодеянии, совершенном другим. Но есть и другая причина, более материальная, которая доказывает невиновность подсудимого: у него не было возможности совершить кровопролитие, поскольку его опередил настоящий преступник.

— В самом деле? — спросил прокурор. — И кто же он?

— В свое время мы это узнаем.

— А пока, — прервал грозившую вспыхнуть пикировку председатель Легри, — суд желает услышать от госпожи Вотье, что делала она после того, как ее муж был передан в руки полиции в гаврском порту.

— Я вернулась в Париж трансатлантическим экспрессом вместе с матерью, но рассталась с ней на вокзале Сен-Лазар, несмотря на ее просьбу поехать жить к ней.

— Все то время, пока шло следствие, вы избегали общества, не так ли?

— Никким образом, господин председатель... Я трижды являлась по вызову к следователю Белену, который вел дело, а после этого постаралась укрыться от назойливого внимания репортеров.

— Поскольку ваш муж, будучи в заключении, не выразил желания встретиться с вами, вы впервые со дня приезда во Францию находитесь рядом с ним?

— Да... — еле слышно выговорила Соланж Вотье.

— Господин переводчик, — спросил председатель, — как отреагировал подсудимый, узнав, что перед судом выступает его супруга?

— Никак, господин председатель.

— Подобное поведение, признаться, озадачит любого! — заявил председатель суда.

— Только не меня, господин председатель, — произнес Виктор Дельо, поднимаясь. — Думаю, я нашел причину такого поведения моего подзащитного, но, чтобы быть окончательно в этом уверенным, я прошу суд разрешить воспользоваться присутствием свидетеля и проделать небольшой эксперимент с участием подсудимого.

— Что вы подразумеваете под словом «эксперимент»?

— О, всего лишь простое прикосновение.

— Суд разрешает.

— Госпожа Вотье, — попросил Виктор Дельо молодую женщину, — не сообразовали ли вы подойти к своему мужу?

Когда молодая женщина приблизилась к подсудимому вплотную, Виктор Дельо обратился к переводчику:

— Будьте любезны, возьмите подсудимого за правую руку и дайте ему дотронуться до шелкового шарфика госпожи Вотье. Переводчик повиновался. Едва пальцы Жака Вотье коснулись

шарфа жены, он вздрогнул и издал хриплый крик. Затем его пальцы лихорадочно забегали по руке переводчика.

— Наконец-то он заговорил! — торжествующе воскликнул Виктор Дельо.

— Что он говорит? — спросил председатель суда.

— Он вновь и вновь задает один вопрос: «Какого цвета шарф у моей жены?» — объявил переводчик. — Должен ли я отвечать?

— Подождите! — вскричал Виктор Дельо. — Скажите ему, что шарф зеленый!

— Но он же серый! — воскликнул прокурор Бертье.

— Вижу! — огрызнулся Виктор Дельо и обратился к суду: — Вы, конечно, помните, как один из свидетелей, брат Доминик, объяснил нам, что цвета, существующие в воображении Жака Вотье, совершенно не соответствуют действительности, и, как я сам заявил, именно цвет сыграл решающую роль в убийстве, которое ошибочно приписывают моему подзащитному. Маленькая ложь, о которой я прошу, абсолютно необходима! Скажите ему, господин переводчик, что шелковый шарф, который находится в настоящий момент на госпоже Вотье, зеленого цвета.

С разрешения председателя суда переводчик сообщил ответ подсудимому. Тот выпрямился во весь рост, потряс перед собой ручищами, неожиданно протянул их к шее жены и попытался сорвать с нее шарф. Несмотря на все усилия стражей, убийца с яростью тащил полоску материи... Соланж еле успела вымолвить прерывающимся голосом: «Жак, ты делаешь мне больно!»...

Виктор Дельо с переводчиком бросились на помощь стражам, и лишь вчетвером им удалось справиться с гигантом... Тот рухнул на скамью — его зверское лицо по-прежнему ничего не выражало. Виктор Дельо поддержал молодую женщину, которая постепенно начала приходить в себя:

— Успокойтесь, мадам... Простите меня, но этот эксперимент был крайне необходим...

Когда слепоглухонемой набросился на свою жену, все присутствующие вскочили с мест, подняв невообразимый шум, который, однако, так же внезапно прекратился. Люди старались понять, что же произошло.

Тишину нарушил язвительный голос прокурора Бертье:

— Защита удовлетворена своим экспериментом?

— Вполне!

— Мэтр Дельо, — произнес председатель, — суд ждет ваших разъяснений. Зачем понадобился этот эксперимент и в особенности эта публичная ложь подсудимому?

— Суд, по-видимому, будет не слишком мной доволен, — с улыбкой ответил Виктор Дельо, — и все же я попрошу его потерпеть до завтра...

— Суд благодарит вас, мадам, — сказал председатель, — вы можете идти... Заседание возобновится завтра в тринадцать часов.

4. ОБВИНЕНИЕ

— Слово имеет господин адвокат гражданского истца...

— Господа судьи, господа присяжные, — начал оппонент Виктора Дельо, — моя роль ограничится исключительно защитой доброй памяти жертвы, Джона Белла, зверски убитого пятого мая сего года на борту теплохода «Де Грасс». Мне представляется излишним возвращаться к обстоятельствам преступления, которые уже были исчерпывающим образом изложены суду. Поэтому я позволю себе подробнее остановиться на личности жертвы... Не подлежит сомнению, что этого двадцатипятилетнего американца ожидало блестящее будущее — достаточно вспомнить, сколь насыщенными были его юношеские годы. Успешно закончив обучение в Гарвардском университете, где для него было вопросом чести изучить наш язык, в чем он немало преуспел, Джон Белл поступил на службу в прославленную американскую морскую пехоту. После капитуляции Японии он вернулся из Батаана с четырьмя наградами. Подобно многим другим парням, чьи молодые годы прошли под знаком тягот и лишений войны, Джон Белл мог бы с головой окунуться в круговорот бездумных развлечений, но он оказался выше этого. Война завершила его возмужание, и, зная, какие ужасные раны нанесла война в других частях света, оказавшихся не в столь благоприятном положении, как Америка, он решил, не теряя времени, посвятить себя неблагодарному делу помощи разоренной Европе.

Его отец, сенатор Белл, поведал нам, что для его сына не было большей радости, чем постоянное общение с французскими кругами Нью-Йорка, которым он был обязан своей новой службе. Джон Белл пожертвовал привязанностью к своей очаровательной подруге с Бродвея, лишь бы только попасть наконец во Францию, которую он, еще ни разу не повидав, уже так горячо полюбил, а спустя каких-то три дня на борту французского теплохода он был зверски убит одним из наших соотечественников!

Пусть мотивы этого убийства остаются загадкой — и тут мы должны отдать должное тому усердию, с каким защита сеяла сомнения, — однако, как бы то ни было, преступление налицо, и на виновника его неопровержимо указывают как отпечатки пальцев, обнаруженные повсюду на месте преступления, так и собственные неоднократные признания убийцы. Да, естественным казалось бы поддаться чувству жалости к преступнику, над которым с самого рождения тяготеет бремя тройной неполноценности. Мы не вправе не признать, что положению слепоглухонемого от рождения трудно позавидовать, но оправдывает ли это убийство? Даже если допустить, что Жака Вотье с детства снедала болезненная злоба по отношению ко всем окружающим, кто имел счастье владеть зрением, слухом и речью, разве это дает право доводить ярую ненависть до убийства? Разве это дало ему право набрасываться на незнакомого человека, тем более на иностранца, который не причинил ему никакого вреда и которого он даже не знал?..

Единственно возможным оправданием человекоубийственного акта, совершенного Жаком Вотье,— если, конечно, допустить, что преступление можно оправдать! — было бы помрачение рассудка. Многие из вас, господа присяжные, в начале процесса были склонны полагать, что перед нами — опасный безумец. В силу этого ваш справедливый приговор, надо думать, заметно смягчился бы: его защитники могли бы надеяться на то, что его до конца дней поместят в психиатрическую лечебницу, где он уже не представлял бы собой постоянную угрозу для общества. Однако весь ход процесса, показания многочисленных свидетелей, чья компетентность и объективность не могут быть поставлены под сомнение, доказали, что Жак Вотье полностью вменяем.

Лицина чудовища — всего лишь маска: он прекрасно знает, какое тягостное впечатление производит его внешний вид, и пользуется этим, чтобы вводить всех в заблуждение... В случае необходимости он, не колеблясь, симулирует перед публикой истерические припадки. Эти нечеловеческие гортанные вопли, пена на губах, жесты убийцы служат ему превосходным орудием защиты, и он не раздумывая пускает их в ход! Уж ему-то известно: если дела и поступки существа грубого, ограниченного, не способного себя контролировать люди еще склонны как-то оправдать, то совсем другое дело — человек цивилизованный, которому не простят ничего. Перед нами как раз человек, рассчитывающий заранее малейшие свои поступки и совершающий их вполне сознательно... Упорное молчание Жака Вотье лишний раз подтверждает сказанное выше: таким способом он пытается заставить суд поверить, несмотря на признания и отпечатки пальцев, в свою невиновность. Разве кое-кто здесь не договорился до того, что Жак Вотье признался в преступлении, чтобы скрыть так называемого истинного убийцу, которого якобы знает он один?

К сожалению, утверждение, будто бы другое лицо могло убить Джона Белла, не имеет под собой никакой реальной почвы, тогда как отпечатки пальцев являются неопровержимой уликой, о которую разобьются самые изощренные уловки защиты! Благодаря богатому воображению мэтра Дельмо мы иногда ощущали себя в самой гуще детективного сюжета... Однако лучшие образцы этого жанра всегда кончаются разоблачением преступника.

Мне представляется необходимым напомнить некоторые показания свидетелей обвинения... Для начала приведу ответ Жака Вотье капитану Шардо: «Этого человека убил я. Я признаю это категорически и ни в чем не раскаиваюсь».

Показания доктора Ланглуа, старшего судебного врача, подтвержденные показаниями профессора Дельмо, который возглавлял медицинскую комиссию, призванную тщательно обследовать психическое и физическое состояние Жака Вотье, свидетельствуют о том, что психически и умственно он совершенно нормален.

Не преминем также упомянуть слова родной сестры подсудимого: «Когда я узнала из газет о преступлении на «Де Грассе»,

я не особенно удивилась...» Это заявление было подкреплено показаниями и других членов семьи — зятя и тещи Жака Вотье.

Остается добавить к этим свидетельствам высказывание одного из свидетелей защиты, доктора Дерво, выдвинувшего весьма правдоподобное предположение, что мотив убийства — слепая ревность Жака Вотье по отношению к первому нормальному мужчине, дерзнувшему приблизиться к его жене.

Итак, господа присяжные, улики, признаний и свидетельств более чем достаточно. Они нисколько не противоречат друг другу и недвусмысленно указывают нам убийцу Джона Белла. Я не собираюсь превышать своих полномочий защитника жертвы и требовать от суда, чтобы свершилось правосудие. Не забывайте, господа присяжные, что на вас смотрит вся Америка и настоящий процесс, в противовес некоторым утверждениям защиты, выходит за рамки этих стен. Не сомневаюсь, что вы сумеете оказаться на высоте в доверенной вам миссии: почтить память жертвы и покарать виновного всей мощью закона. Только тогда союзная нация, исполненная жажды справедливости, сможет сохранить должное уважение к французскому правосудию.

Усаживаясь на место, мэтр Вуарен окинул взглядом зал, чтобы оценить, какой эффект произвела на присутствующих заключительная часть его речи. Увы, публика осталась равнодушной, а Виктор Дельо, похоже, заснул: его глаза за стеклами очков были прикрыты...

Даниелла не отрывала взгляда от своего наставника. Она верила, что наперекор всему ему удастся спасти своего подзащитного. Чего бы это ни стоило...

Прокурор Бертье начал свою обвинительную речь с упоминания всех, вплоть до самых незначительных, обстоятельств убийства на борту «Де Грасса». Указав, что виновность подсудимого бесспорна, поскольку его собственные признания плюс отпечатки пальцев указывают на него как на единственно возможного преступника, прокурор продолжал:

— В этой мрачной истории есть все же один момент, который может показаться господам присяжным неясным: это мотив преступления... Будь убийство делом рук садиста или психически ненормального, все было бы куда проще. Однако мы имеем все основания отвергнуть это предположение: поведение подсудимого до и после преступления, показания таких свидетелей, как доктор Ланглуа и профессор Дельмо, декан Марней и господин Роделек, убедительно свидетельствуют о том, что Жак Вотье не только в здравом уме, но к тому же никогда не поступает опрометчиво. Но благодаря другим свидетелям — господину Жану Дони, который показал нам, какую жестокость проявил однажды подсудимый; господину и госпоже Добрэй, которые признали, что еще в детские годы Жак Вотье был настоящим маленьким чудовищем, — мы убедились, что подсудимый явно предрасположен к насилию. Да ведь мы и сами явили очевидцами очередной тому подтверждение, когда мэтр Дельо затеял свой так называемый «эксперимент»!

Принципы добродетели, искусно внушенные мудрым наставником, смогли на какое-то время укротить эту подсознательную жестокость. Однако нет никаких доказательств, что на борту «Де Грасса» не произошло внезапного пробуждения чудовища; видимо, дремавшие до поры дурные инстинкты пробудились сквозь покров христианской морали и вылились в страшное преступление. Единственный вопрос, на который мы поначалу не могли найти ответа в ходе разбирательства: что послужило той искрой, под воздействием которой в мозгу слепоглухонемого вспыхнула мысль об убийстве? И тут один из свидетелей защиты, доктор Дерво, пролил свет на неизвестную доселе сторону вопроса. Он нашел единственное возможное объяснение случившемуся... Я позволю себе процитировать соответствующее место в показаниях свидетеля: «Жак слишком любил свою жену, чтобы позволить кому-то не оказать ей должного уважения. Не хочу порочить убитого, тем более что ничего не знаю об этом молодом американце, но немалая сила сексуального влечения, полностью сосредоточенная на единственном существе, его жене, могла вызвать у Жака порыв устранить соперника...»

Само собой разумеется, мэтр Дельо тут же принялся объяснять суду, что свидетель ошибается! Конечно, не очень-то приятно видеть, как свидетельские показания, на которые ты возлагал определенные надежды, оборачиваются против тебя самого. Что касается нас, мы полагаем — и не сочтем излишним еще и еще раз повторить это, — что вывод, сделанный доктором Дерво, вполне правомерен. Жак Вотье убил, находясь во власти беспочвенной, слепой ревности по отношению к незнакомцу, который предстал в его взбудораженном сознании как человек, попытавшийся отнять у него жену... Мы предвидим следующее возражение: «Как вы объясните, что Жак Вотье избрал жертвой именно Джона Белла, которого совершенно не знал, а не когонибудь другого из пассажиров «Де Грасса»?» На это мы ответим, что единственным свидетельством, на основании которого суд может заключить, что подсудимый и его будущая жертва до трагического момента никогда не встречались, являются показания Соланж Вотье, супруги подсудимого. Но многого ли стоит свидетельство жены, пришедшей сюда единственно в надежде обелить мужа? Об этом судить господам присяжным...

Для нас же не подлежит сомнению, что Жак Вотье был хорошо знаком с жертвой до преступления и без малейшего колебания направился известной ему дорогой прямо в каюту молодого американца, чтобы привести в исполнение свой преступный замысел. Все в этом преступлении было взвешено, обдуманно и рассчитано... После обеда Жак Вотье, как обычно, прилег вздремнуть, но на этот раз лишь притворился спящим. Не успела жена покинуть каюту, как он встал, прошел вдоль кают первого класса и поднялся по лесенке, ведущей к каютам-люкс. Добравшись до каюты Джона Белла, он постучал в дверь... Американец, который в это время отдыхал, открыл дверь и впустил гостя. Затем снова улегся на койку, не забыв перед этим закрыть дверь в коридор — эта деталь имеет немаловажное значение, поскольку в данном вопросе я расхожусь с инспекто-

ром Мервелем, полагающим, что преступник убил Джона Белла, когда тот спал. Предположение инспектора, на наш взгляд, не имеет под собой реальных оснований: как же в таком случае Вотье сумел бы проникнуть в каюту?

Что сделал слепоглухонемой, когда Джон Белл вновь лег на койку? Скорее всего произнес те несколько гортанных звуков, которые могут создать впечатление, будто он способен изъясняться устно. Быть может, Вотье даже присел на краешек койки и, пользуясь тем, что американец весь обратился в слух, начал ощупывать рукой ночной столик в надежде найти там орудие, с помощью которого мог бы умертвить лежавшего. Его ловкие пальцы наткнулись на нож для разрезания бумаги... Конец колебаниям... Молниеносным движением он хватает нож и наносит удар... Тот же жест, ни секунды не колеблясь, он повторил с устрашающей точностью во время проведенного инспектором Мервелем следственного эксперимента после прибытия теплохода в Гавр.

Конец наступил быстро: остро отточенный нож, точную копию которого предоставил в распоряжение суда следователь Белен, рассек сонную артерию несчастного молодого человека, сумевшего в последнем отчаянном усилии дотащиться до двери в надежде на помощь. Об этом свидетельствует впитавшаяся в ковер кровавая полоса, которая протянулась от запятнанной кровью подушки до двери. Джону Беллу даже удалось ухватиться еле повиновавшимися пальцами за ручку двери, но это усилие оказалось последним в его жизни. Дверь приотворилась под тяжестью повисшего на ней уже бездыханного тела... Тем временем преступник, потрясенный содеянным, рухнул на койку и попытался вытереть простыней руки, с которых стекала кровь убитого. Он замер, даже не подумав захлопнуть приоткрывшуюся дверь: зачем, раз он не собирался отрицать свою вину? Не счел он нужным и уйти из каюты, возвратиться к жене, чтобы признаться ей в совершенном из ревности убийстве. Единственное, что он сделал перед тем, как сесть на койку, — подошел к открытому иллюминатору и вышвырнул в море нож, внушавший ему, как он сам впоследствии признался капитану Шардо, ужас. После этого оставалось лишь ждать, чтобы кто-нибудь вошел в каюту.

Зверское, бессмысленное преступление, поводом для которого послужила нерассуждающая ревность. И если нас спросят: «Каким образом в мозгу слепоглухонемого могло зародиться чувство ревности по отношению к Джону Беллу?», — мы кратко ответим: «Благодаря обонянию». После случайной встречи с Джоном Беллом, во время которой Жак Вотье запомнил его запах — ведь каждому человеку присущ собственный, неповторимый запах, различить который способно тонкое обоняние слепоглухонемого, как объяснил нам господин Роделек, — достаточно было уловить этот запах, например, на одежде своей жены, чтобы в тот же миг зародилась ревность, и все это без малейшей вины Джона Белла и Соланж Вотье. На протяжении всего последующего времени Жак вынашивал план мести. Прибегать к крайним мерам ему было не впервой: вспомните,

господа, поджог сарайчика! Единственным мотивом покушения уже тогда была ревность...

Сродни этой ревности и та злоба, которой дышат страницы «Одного в целом свете», посвященные семье героя. Жак Вотье выразил свою ненависть к тем, чьими заботами был окружен и кому был обязан всем: он даже счел излишним хоть немного замаскировать своих близких в вымышленных персонажах! Вопреки тому, что можно было бы предположить, тройная ущербность Жака Вотье ни в малейшей степени не сломала его дух. Мы склонны полагать, что его интеллект развился именно благодаря этому обстоятельству. Перед вами, господа присяжные, отнюдь не забытое существо, согнувшееся под тяжким бременем своих физических недостатков, а сильный человек, ожесточенно борющийся за то, чтобы достичь интеллектуального уровня полноценных людей и даже превзойти его... Скрытный, замкнутый человек, который умеет ставить свою незаурядную физическую силу на службу макиавеллиевскому мозгу, чтобы создать у окружающих впечатление, будто он всего лишь тупоумное чудовище, и действовать подобно чудовищу, когда его толкают на это извращенные инстинкты. С тех пор, как в детские годы он обнаружил, что внушает нормальным людям жалость, он понял, что может поступать как угодно, в том числе и причинять зло, ничем особенно не рискуя. Ведь ни один человек — если у него, конечно, не камень вместо сердца — не откажется обидеть существо, которое так обделила природа. И он пользуется этим! Вот что до сих пор никто не осмеливался высказать вслух на процессе, хотя в мыслях это было у каждого...

Конечно, мы искренне жалеем Вотье, которому не суждено пользоваться всеми чувствами, подаренными человеку природой, однако, по нашему убеждению, он не желает, чтобы его жалели, поскольку не нуждается в этом и осознает себя достаточно сильным и уверенным в себе, чтобы противостоять кому угодно, в том числе и своему защитнику, который, на наш взгляд, совершенно напрасно тщится наперекор воле подсудимого спасти его от заслуженной кары... Защита договорилась до того, что существовало по меньшей мере еще два человека, заинтересованных в устранении молодого американца! Абсолютно беспочвенное утверждение, как справедливо отметил господин адвокат гражданского истца, если учесть собственноручно написанные признания подсудимого и отпечатки его пальцев: могут ли быть более неопровержимые доказательства?

Сделав попытку заманить нас на страницы детективного романа, защита все же признала, что подсудимый, несомненно, входит в число тех трех лиц, которые якобы могли убить Джона Белла. Но он, по словам защиты, не мог совершить это преступление по двум причинам: во-первых, потому, что против этого восстала бы его совесть, а во-вторых — и это главное, — он не успел этого сделать, поскольку его на несколько минут опередил настоящий убийца. Утверждение весьма многозначительное: ведь оно подразумевает наличие у Жака Вотье преступного намерения! А поскольку с первых же минут расследования, проведенного на борту «Де Грасса», стало ясно, что ни о каком

другом преступнике не может быть и речи, выходит, мы из собственных уст защитника узнаем, что убийство было предумышленным!

Мои выводы будут просты: в соответствии со статьей триста второй Уголовного кодекса, предусматривающей за квалифицированное преднамеренное убийство смертную казнь, я прошу суд вынести приговор, который общественность вправе от него ожидать. Я верю в справедливость его решения! Отмечу при этом, что в случае Жака Вотье никакие смягчающие обстоятельства, проистекающие из его тройной ущербности, не могут быть приняты во внимание, так как она нисколько не повлияла на его умственные способности, как это было показано самими авторитетными специалистами. И, раз уж определение «чудовище» не единожды употреблялось здесь по отношению к подсудимому, мы не будем противоречить общему мнению, лишь уточним: Вотье — лицемерное чудовище, чей великолепно организованный ум во мраке вечной ночи подготовил преступление, в котором он никогда не раскается и которым гордится!

Краткая, ясная обвинительная речь произвела на присутствующих действие сродни ледяному душу. Даниелла с беспокойством отметила, что обычная бледность Вотье, похоже, еще более усилилась, когда переводчик передал ему заключительные слова прокурора, в которых явственно слышался лязг гильотины. Взгляд девушки тревожно перебегал с мертвенно-бледного лица подсудимого на безмятежную, скорее даже меланхолическую физиономию Виктора Дельо. Защитник поднялся со своего места, уже в сотый, наверное, раз с начала процесса поправив спадающие с кончика носа очки.

5. ЗАЩИТА

— Господа судьи, господа присяжные, прежде всего я должен попросить у вас снисхождения — скажем даже, великодушного прощения — за предстоящую речь, которая в отличие от выступления моего многоуважаемого коллеги Вуарена и блестящей обвинительной речи господина прокурора Бертье может показаться вам чересчур долгой... Поверьте, в мои намерения вовсе не входит увлечь вас в трясину словесной казуистики, где за фонтаном красноречия иные ловкие защитники ухитряются настолько искусно скрыть суть вопроса, что на поверхности остается лишь их профессиональное умение жонглировать словами и громоздить из них столь же звучные, сколь и пустые фразы... Все это мне ни к чему, поскольку передо мной стоит тяжелейшая задача: спасти Жака Вотье от кары, которую почтенные члены суда по велению сердца и совести вынуждены будут на него наложить, если мне не удастся доказать, что на наших глазах совершается ужасная судебная ошибка.

Итак, перед вами Жак Вотье, слепоглухонемой от рождения, двадцати семи лет от роду, обвиняемый в том, что пятого мая сего года на борту теплохода «Де Грасс» он убил Джона Белла.

Что это за человек? Никто не опишет его душевное состояние лучше, чем сделал это он сам на первых же страницах романа

«Один в целом свете», проведя глубокий и тонкий анализ внутреннего мира своего героя. Героя, как две капли воды похожего на него самого... Те, кто прочтет «Одного в целом свете», откроют для себя Жака Вотье.

Посмотрим в глаза жестокой правде: к десяти годам Жак Вотье уже отбыл десятилетний срок тюремного заключения. Он был узником ночи, пленником непроглядного мрака, окружавшего его с самого рождения. Это и в самом деле было чудовище, но чудовище, живущее в инстинктивном ожидании события, которое перевернет его животное существование. Можно сказать, что маленький Вотье, пусть подспудно, пусть безотчетно, но надеялся... Кто знает, не довелось бы ему и по сей день остаться в этом состоянии, если бы скромная девочка, лишь тремя годами старше его, юная Соланж, не принялась с восхитительным детским упорством стучаться в двери его темницы? Соланж первая пробила для несчастного в стене безысходного мрака брешь, открыла ему окно в жизнь.

Двое детей, сидящих перед открытым окном, — такую картину, господа присяжные, увидел Ивон Роделек, когда впервые попал в эту обитель скорби. Отныне налицо три главных действующих лица драмы, свидетелями которой нам предстоит стать. Я пойду еще дальше и скажу: Жак, Соланж и Ивон Роделек — единственные персонажи, которые должны иметь для нас значение... Остальные — всего лишь статисты. Избавимся же от них по одному, в том же порядке, в каком они предстали перед судом, показав каждого из них в его истинном свете.

Вначале — о свидетелях обвинения. Я специально не буду останавливаться на показаниях стюарда Анри Тераля, комиссара Бертена, капитана Шардо, доктора Ланглуа, инспектора Мервеля и профессора Дельмо. Я полагаю, что все они вполне объективно изложили нам то, что произошло после преступления. Оставляю за собой право вернуться к отдельным пунктам этих показаний несколько позже, когда настанет время проанализировать сам ход преступления, и сразу перехожу к показаниям седьмого свидетеля — сенатора Томаса Белла.

Любой отец, если он, конечно, не лишен нормальных человеческих чувств, всегда будет защищать память единственного отпрыска, внезапно и при трагических обстоятельствах вырванного из жизни. В подобном случае отец искренне верит, что выполняет свой долг, и некоторые недомолвки или неточности, которые могут вкрасться в его показания, в общем, вполне простительны... Господин сенатор Белл также не миновал этого состояния души, свойственного несчастным отцам. Увы, поведение молодого Белла было отнюдь не столь безупречным, как это пытался внушить нам его именитый и всеми уважаемый отец... Джон Белл в столь юном возрасте поступил на службу в морскую пехоту не по своей воле — господин сенатор заставил его сделать это после скандала, в котором были замешаны женщины. Сей пылкий юноша — как бы выразиться помягче? — вовсе не чурался регулярных посещений любезных, хоть и несколько легкомысленных особ, проводящих все свое время в барах

Манхэттена или в ночных клубах Бродвея... Джон действительно выполнил свой долг на войне с Японией, получив за это четыре высокие награды, однако суровая тихоокеанская кампания ни на йоту его не образумила. Напротив, юношеская тяга к женщинам вспыхнула с новой силой.

В эту пору он свел знакомство с соблазнительным созданием, некоей Филлис Брукс, работавшей официально партнершей для танцев в фешенебельном дансинге на Пятой авеню. Среди бесчисленных друзей, которых прелестница принимала у себя дома, был и Джон Белл. Очень скоро он настолько соблазнился ее чарами, что возжаждал на ней жениться. Его отец, узнав об этом и любой ценой желая избежать союза, который запятнал бы честь семьи, заставил Джона отправиться во Францию на первом же теплоходе. Им оказался «Де Грасс».

Я прибег к этому небольшому уточнению потому, что оно, по всей видимости, сыграет весьма немаловажную роль в дальнейшем ходе процесса, а также чтобы помочь членам суда избавиться от представления, ловко внушенного им господином адвокатом гражданского истца и господином прокурором, будто Джон Белл отправился в нашу страну с единственной целью насытить свою пресловутую «любовь к Франции»!

Итак, преступление отнюдь не относится к разряду тех, по поводу которых великая союзная держава из патриотических соображений может потребовать правосудия. Надеюсь, у Соединенных Штатов хватит здравого смысла, чтобы не превратить обычное частное дело в проблему государственной важности. Конечно, господина сенатора Белла, приехавшего сыграть перед французским Судом присяжных роль отца — поборника справедливости, легко понять и извинить, однако у меня есть все основания считать — и это должно подтвердиться дальнейшими событиями, — что для него благоразумнее было бы проявить большую сдержанность. Кто претендует слишком на многое, может не получить ничего. Будем считать, что в показания этого важного свидетеля необходимые поправки внесены. Перейдем к следующему свидетелю: сестре подсудимого Регине Добрэй.

Ее свидетельство, не принеся ничего существенно нового, лишний раз убедило в следующем: если Жак Вотье не хранит в сердце светлых воспоминаний о сестре, то и сестра платит ему тем же! Более того, она его ненавидит... Кажется, мне удалось найти подоплеку этой ненависти, которая пятнает предвзятостью все ее показания. Пускай себе госпожа Добрэй ссылается на свои пресловутые «религиозные принципы», запрещающие ей развестись с Жоржем Добрэем, с которым они не живут вместе уже четырнадцать лет, — истина в другом, и она куда более прозаична: госпожа Регина Добрэй не развелась лишь потому, что в этом случае ей пришлось бы распрощаться с солидным содержанием, которое выплачивает ей супруг и которое дает ей, в частности, возможность демонстрировать свой вкус в выборе нарядов, по достоинству, я думаю, оцененный находящимися здесь представительницами прекрасного пола. Уж если бы госпожа Добрэй и впрямь обладала такими глубокими религиозными

убеждениями, она в первую очередь обратила бы христианский принцип любви к ближнему на своего собственного несчастного брата. Она же, повторяю, ненавидит его. Ненависть эта является следствием и продолжением двух других чувств, прочно укоренившихся в сознании свидетельницы: корыстолюбия и уязвленной гордыни. Корыстные интересы оказались под угрозой, когда Добрэи, следуя советам своих родителей, опасавшихся плохой наследственности, решил расстаться с женой. Гордыня же проявилась в недостойных нападках, с какими она обрушилась на написанный братом роман, в котором она в образе одной из героинь разглядела себя самое, а в особенности напустилась на свою невестку, которой она никогда не простит, что та — дочь служанки. Впрочем, я уверен, господа присяжные, что показания подобного свидетеля не окажут скольконибудь существенного влияния на ваше решение.

Показания Жоржа Добрэя и Мелани Дюваль особого внимания не заслуживают, так что я позволю себе перейти к последнему свидетелю обвинения — господину Жану Дони. Показания так называемого «товарища» гораздо более хитроумны и куда сильнее пропитаны ядом ненависти. Господин Дони преуспел даже в том, господа присяжные, что заронил у вас серьезные сомнения, изложив свою версию пожара в сарайчике, которому, возможно, ошибочно придали большее значение, чем он в действительности имеет. На деле это было всего лишь заключительным и не представлявшим ни для кого серьезной опасности аккордом ревности, которую испытывал Жан Дони к своему более счастливому сопернику.

В том, что Жак Вотье любил Соланж с самого раннего детства, мы не сомневаемся, и в ходе дальнейшего разбирательства факты покажут, что глубокое чувство Жака к своей будущей супруге с годами лишь росло. В том, что Соланж в момент своего приезда в Санак также испытывала к Жаку весьма нежные чувства, можно не сомневаться, несмотря на вполне понятные колебания, выказанные несколько лет спустя, когда господин Роделек пришел к ней как посланец от Жака. Но то, что и Жан Дони страстно полюбил эту очаровательную девушку, которая, кстати, не обращала на него ни малейшего внимания, также является бесспорным фактом. Впрочем, могло ли быть иначе? Маленькое частное расследование, которое я провел недавно в Санаке, позволило убедиться в том, что Соланж Дюваль оставила там о себе неизгладимую память. Почти без преувеличения можно сказать, что весь Институт святого Иосифа был влюблен в это ясноглазое и улыбочливое создание, чье появление внесло в суровую, размеренную жизнь института чуточку женской мягкости. Жану Дони не довелось избежать всеобщего чувства по отношению к вновь прибывшей... «От своих товарищей-глухонемых я узнал, что девушка очень красива. Мы же, слепые, могли наслаждаться лишь музыкой ее голоса».

Ах, господа, сколько мечтаний, сколько доселе неизведанных пылких чувств должно было родиться в сердцах этих юношей от одного лишь присутствия девушки! Но где любовь, там может появиться и ревность... У Жана Дони это чувство было даже

двойным: ревность юноши, чувствующего, что та, о ком он мечтает, никогда не будет ему принадлежать, и ревность по отношению к ней же, занявшей его место «покровителя» Жака, которого он опекал вот уже шесть лет. Он оказался во всех смыслах «третьим лишним»... Сколько желчи разлито в этих словах свидетеля: «По некоторым интонациям чувствовалось, что под кажушейся кротостью, способной обмануть лишь зрячих, замороженных ее внешним обликом, скрывается недюжинная воля...!» Ревность вынудила Жана Дони вступить в противоречие с самим собой! Он любит Соланж и в то же время ненавидит ее... Он по собственной воле пришел свидетельствовать против своего бывшего товарища, чтобы косвенно отомстить той, что когда-то отвергла его чувства. Его показания от начала и до конца продиктованы злобой. Известность, которую спустя несколько лет приобрело имя Жака Вотье, лишь раздула угасший был костер ненависти. Его соперник не только сохранял исключительную привилегию на любовь Соланж, но вдобавок окружил себя ореолом славы, что не преминуло возвысить его в глазах любимой. Такие вещи трудно простить, если у тебя душа Жана Дони...

Он приехал на брачную церемонию только после многократных настойчивых просьб господина Роделека, не желавшего допускать ничего, что могло бы омрачить торжество. Однако подлинным праздником для отвергнутого соперника Жака Вотье стал день, когда он узнал о преступлении на «Де Грассе». Повторю его собственные слова: «Должен ли я оставлять всех в заблуждении, что Жак Вотье не способен на преступление, или же, наоборот, показать, что он не впервые покусился на человеческую жизнь? Мой долг, как он ни тягостен, повелел мне открыть глаза правосудию». Полноте, господа присяжные, да разве с такими словами пристало выступать перед вами тому, кто называет себя «лучшим товарищем юности Жака Вотье»?

Затем последовал рассказ о пожаре — отличная иллюстрация тому, сколь изобретательным во лжи может быть человеческий мозг. Рассказ этот при всем своем кажущемся правдоподобии абсолютно не соответствует действительности, как дала это понять Соланж Вотье с присущим ей целомудрием. Мы не придадим этому происшествию большего значения, чем она и брат Доминик. Теперь — о свидетелях защиты.

Госпожа Симона Вотье выступала перед судом со всей страстью раскаявшейся матери. Я не оговорился: как и все другие члены семьи, Симона Вотье совсем забросила своего маленького несчастного Жака на протяжении первых десяти лет его жизни. Интерес к нему начал проявляться лишь с того дня, когда он оказался вдали от нее. В этом она, увы, не оригинальна; большинство из нас подвержено этому странному чувству, благодаря которому у людей, нас покинувших, мы вдруг обнаруживаем кучу достоинств. Ребенок инстинктивно отдалился от этой женщины, чье присутствие, поначалу лишь безразличное, стало для него впоследствии невыносимым. И в дальнейшем, увы, уже ничего нельзя было сделать, чтобы сблизить мать с сыном: показания Ивона Роделека и доктора Дерво на этот счет совер-

шенно категоричны. Все попытки подобного сближения закончились плачевно. Если у кого-нибудь из членов суда и оставались какие-либо сомнения по поводу характера взаимоотношений между Жаком Вотье и его матерью, то они должны были окончательно развеяться здесь, в этом зале, при виде того бесстрастия, с каким встретил подсудимый запоздалые слезы Симоны Вотье, умолявшей его защищаться и вскричавшей во всеуслышание, что ее дорогой сыночек невиновен.

В том, что мать убеждена в невинности сына, мы не сомневаемся, но что касается страданий Симоны Вотье, они, по сути, объясняются двойным ударом, нанесенным по ее самолюбию: это иступленная ревность от того, что совершенно посторонний человек, Ивон Роделек, вытеснил ее из сердца Жака, и вполне понятное отчаяние при мысли, что ее фамилия теперь связана с тяжким преступлением.

Услышав это, многие удивятся, что я все же пригласил подобного свидетеля выступить на стороне защиты... Этим людям я отвечаю, что место матери может быть только в лагере защиты и нигде более. Легче выслушать упреки Симоны Вотье, несправедливо обвиняющей достойных людей в том, что они похитили у нее любовь ребенка, нежели злобные нападки ее старшей дочери. Надеюсь, господа присяжные, что вы оставите в памяти только скорбный финал, когда эта несчастная женщина упала без чувств.

Я искренне верю, что мать всегда безошибочно угадает, убивал или не убивал тот, кого она некогда носила под сердцем. Для Симоны Вотье Жак невиновен. В этом смысле ее свидетельство имеет большое значение.

Господин Доминик Тирмон, милейший брат—управляющий Института святого Иосифа,—весьма достойный человек и, что характерно для людей его профессии, изрядный говорун. Он получил огромное удовольствие от своего пространного рассказа о пожаре в сарайчике. Для него это всего лишь курьезный факт, поэтому и нам не следует обращать на него особого внимания. Зато в другом вопросе его словоохотливость оказалась нам неопенимую услугу: благодаря ей мы детально познакомились со своеобразием цветоощущения у подсудимого.

Мы узнали, что цветовая палитра, укоренившаяся в сознании Жака Вотье, не соответствует истинной. Жак Вотье создал себе представление о цветах, основываясь на различиях в запахах или вкусовых ощущениях. Таким образом, вызывая в воображении тот или иной предмет, подсудимый подсознательно всегда наделяет его каким-то определенным цветом. Как мы покажем в дальнейшем, путаница в цветах сыграла важную роль в развитии событий на борту «Де Грасса». Любопытный эксперимент, которому я недавно подверг Вотье в присутствии его жены, должен был убедить вас, господа присяжные, по крайней мере в двух вещах: Жак Вотье придает весьма большое значение шелковому шарфу, который носит его жена, и слово «зеленый» приводит его в сильнейшее возбуждение... Запомните хорошенько, господа присяжные: зеленый цвет внушает подсудимому ужас! В чем причина? Простая логика подсказывает

нам объяснение: наверное, зеленый цвет связан у него с неприятным, а может быть, и страшным воспоминанием. Что касается шарфа, который вы видели на его жене и который на самом деле вовсе не зеленый, а серый, тут я должен сделать одно небольшое признание: это я попросил Соланж Вотье явиться в суд с шарфом на шее. Это было необходимо для осуществления моего замысла. И я нисколько не сожалею о проделанном опыте, несмотря на произведенное им тягостное впечатление... Во всяком случае, нам остается лишь поблагодарить брата Доминика за полезное сообщение и перейти к показаниям доктора Дерво. Он явился в суд с искренним желанием помочь оправданию подсудимого. Беспристрастное свидетельство этого незаурядного практика, который после Ивона Роделека, без сомнения, лучше всех в Санаке знал Жака Вотье, имеет большой вес. Что же касается его попытки дать логическое объяснение убийству, якобы совершенному Жаком Вотье, то он оказался загнипнотизирован неопровержимыми на первый взгляд уликами: отпечатками пальцев и неоднократными признаниями подсудимого. Мы должны признать: несмотря на заключительное заявление — в нем наш добрый доктор, воочию убедившись во вреде, нанесенном его показаниями тому, кому он искренне жаждал помочь, без особого успеха попытался объяснить суду, что его слова были истолкованы превратно,— этот свидетель защиты предстал перед судом, будучи в глубине души уверенным в виновности Жака Вотье!

Ну, а теперь настала пора обратить взор на Соланж Вотье, чьи действия мы проследим шаг за шагом, пытаясь восстановить события того рокового дня...

В показаниях комиссара Бертена и капитана Шардо нашел отражение тот факт, что, как только Соланж Вотье встретила с мужем в судовом carcere после преступления, она поспешила с ним «поговорить». Этот безмолвный и недоступный пониманию обоих свидетелей разговор состоялся при помощи рук: проворные пальцы супруги «вопрошала» ладони мужа. По ее собственному утверждению, она задала ему один-единственный вопрос: «Это неправда, Жак? Ты не сделал этого?», на что тот ответил: «Не тревожься! Я отвечаю за все... Я люблю тебя». Мне же представляется, что Жак Вотье сказал жене примерно следующее: «Я знаю, что ты виновата, но главное — молчи! Ты правильно сделала, что убила его... Только ничего не говори! Я спасу тебя...» Услышав такой ответ, Соланж на миг окаменела. Виновна? Конечно, она была виновна, но отнюдь не в том смысле, какой вкладывал в это слово ее муж. Жак Вотье был уверен, что обнаружил неопровержимое доказательство виновности его обожаемой супруги в убийстве Джона Белла. Он и сейчас в этом не сомневается. Взгляните на его напряженное, встревоженное лицо — ведь переводчик передает ему каждое мое слово. Сейчас он жаждет только одного: избавиться от ужасного опасения, как бы его жена, его добрая и нежная Соланж, не попала на скамью подсудимых. Посмотрите, у него на лбу выступила испарина...

Жак Вотье, очень скоро я докажу вам, что ваша жена не

убивала, и вы перестанете замыкаться в своей лжи во спасение любимой. С первого же посещения вас в тюрьме Санте я понял, что вы ждете всем, Жак Вотье! В тот день вы набросились на меня с целью дать понять, что не желаете, чтобы адвокат вмещивался в ваши дела, а главное — убедить меня в том, что вы просто чудовище, и не более того! На вашу беду — а вернее, на ваше счастье, Вотье, — в моем лице вы напали на стреляного воробья! Поскольку под бесстрашной личиной у вас скрывается редкая пронизательность, вы очень скоро поняли, что со старым плутом вроде меня ваш фокус не пройдет. И тогда, отказавшись от дальнейших попыток меня одурачить, вернулись к прежнему непробиваемому спокойствию. Я сделал вид, что принял ваши правила игры, твердо решив про себя вывести вас из этого неестественного спокойствия, когда для этого настанет время.

Мне удалось это дважды в ходе процесса. Первый раз — когда вы заплакали от прикосновения морщинистых рук своего старого учителя, и вам, Вотье, уже не удастся сделать вид, будто жгучих слез этих никогда не было! Второй раз — когда вы нащупали на шее жены шарфик: бессильная ярость, овладевшая вами в тот миг, была непритворна... Итак, я получил двойное подтверждение тому, что все ваше поведение с того самого момента, как вас, безвольно обмякшего, нашли на койке Джона Белла, было лишь неслыханным фарсом. О, что вы можете быть чудовищем, я не отрицаю! Вы и в самом деле были им — правда, единственный раз в своей жизни, но зато в такой степени, какой редко может достичь человеческое существо... Когда настанет время раскрыть последние козыри, я не премину напомнить вам, при каких именно обстоятельствах это произошло. Но что вы всегда были и остаетесь чудовищем, как считает большинство присутствующих здесь, которых вы сумели одурачить, — это сущий вздор!

Я только что сказал, что ваша жена не убивала Джона Белла, но из этого отнюдь не следует, что она ни в чем не повинна. Просто ее виновность иного порядка. Но тут вам пенять не на кого, кроме как на себя самого: ваше молчание и упорная лож поставили меня перед нелегким и весьма ограниченным выбором: либо допустить, чтобы вас осудили, либо публично открыть вам то, что вы предпочли бы никогда не знать.

Не вы один здесь лгали: ваша супруга тоже обманула, намеренно искажив первый ответ, полученный от вас в судовом карцере «Де Грасса». Но могла ли она поступить иначе?

Господа присяжные заседатели, Соланж Вотье поняла, что муж считает ее убийцей Джона Белла, и, хоть это совсем не так, разубедить его она не стала: ведь при таком повороте дел Жак — и это главное — остается убежден в ее безукоризненной моральной чистоте, а для него, любящего свою жену без памяти, куда лучше пребывать в уверенности, что она убила, защищаясь от посягательств, нежели узнать о ее супружеской неверности. Вот почему Жак терпеливо дожидался своего ареста в каюте, где произошло преступление, оставив дело так, чтобы все говорило о его виновности. Подобное поведение объясняется

чрезвычайно просто, когда знаешь, какую всепоглощающую любовь питает Жак к Соланж, но если он узнает, что вовсе не его жена убила Джона Белла, что останется от этой любви?

Еще одна ложь, преподнесенная вам и подсудимым, и его женой, заставила суд поверить, будто супруги Вотье никогда не встречались с жертвой до того, как было совершено убийство. Сообщение, которое я вчера утром получил из Нью-Йорка по телефону, подтвердило мое предположение, что молодой американец, хорошо известный во французских кругах Соединенных Штатов, завязал с супругами Вотье большую дружбу. Для того, чтобы разобраться в подлинном характере отношений, существовавших внутри этого треугольника, я считаю необходимым вызвать Соланж Вотье для дачи дополнительных показаний.

— Суд удовлетворяет просьбу защиты, — заявил председатель Легри после короткого совещания с ассессорами, и молодая женщина вновь предстала перед судом.

— Госпожа Вотье, — обратился к ней старый адвокат, — я повторно пригласил вас в зал суда, чтобы достичь наконец нашей общей цели: добиться оправдания Жака... Мадам, один из ключевых вопросов процесса — встречались ли вы раньше с Джоном Беллом? И мой долг, как это ни тягостно, заявить вам, Соланж Вотье, что при ответе на него вы солгали! Вы отлично знали Джона Белла, и знали уже больше года. Познакомились вы с ним случайно: он подошел к вам после очередной лекции, прочитанной вашим мужем в Кливленде, и быстро завоевал ваши симпатии — ведь именно он взял на себя труд облегчить ваше путешествие и сделать ваше пребывание в Америке возможно более комфортабельным, даже возил вас в собственном автомобиле! Его знаки внимания вы принимали с восхищенной признательностью. И случилось то, что неизбежно должно было случиться, — ведь молодой американец был хорош собой. К тому же в сравнении с вашим мужем он имел одно неоспоримое преимущество: он мог вами любоваться. Его глаза буквально пожирали ваше лицо и фигуру. Несмотря на всю вашу нежность к мужу, вы так и не смогли до конца привыкнуть к мысли, что тот, кому вы принадлежите, никогда не сможет вас увидеть.

Поверьте, Жак Вотье, я глубоко сожалею, что вынужден сейчас во всеуслышание преподносить вам это, но могу ли я поступить иначе? Я вижу, ваше лицо все больше искажается болью и страданием, однако во имя всего святого прошу вас, Вотье, сохранить самообладание и найти в себе силы дослушать до конца мою защитительную речь. Вам следует знать: если Соланж в конце концов и решилась на брак с вами, то лишь уступая сильному давлению, оказанному на нее в тот памятный вечер Ивоном Роделеком. Соланж стала вашей женой только из жалости, тогда как вы были влюблены в нее без памяти.

Как нам лобезно сообщил милейший брат Доминик, то был беспрецедентный случай в истории Института святого Иосифа... Вспомните необычную церемонию в часовне, где служками были глухонемые, а хор состоял из слепых, вспомните аббата Рикара, институтского священника, произнесшего великолепную проповедь, которую вы, Соланж, в это время пальцами передавали

Жаку. Та же процедура повторялась на всех скамьях часовни, где каждый слепой выступал в роли переводчика для своего глухонемого соседа... Тогда вы не знали, Соланж Дюваль, смеяться вам или плакать!.. Смеяться — не от радости, а от нервного потрясения, вызванного почти гротескным видом этой странной церемонии, в коей вы играли главную роль; плакать — при мысли о том, что вот сейчас вы навек связываете свою жизнь с втрое не полноценным человеком... Вот какие мысли неотвязно преследовали вас, когда после завершения церемонии вы рука об руку с Жаком прошли сквозь двойную цепь любопытных зрителей, строгих братьев ордена в черных сутанах и голубых брыжах и их обделенных природой воспитанников... Сверху, с хоров, плыли величественные звуки большого органа — Жан Дони играл свадебный марш, отдававшийся у вас в ушах жестокой насмешкой... И когда вы поднимали на миг глаза под белоснежной вуалью, то, быть может, встречались с восторженным взглядом какого-нибудь юноши, взглядом, полным неистового желания, какого вам никогда не увидите в безжизненных глазах вашего мужа...

В тот день вы жестоко страдали. Муки эти в последующие дни отнюдь не прекратились — напротив, они многократно усилились во время ужасного свадебного путешествия, из которого вы вернулись в совершенном отчаянии. Каждый час этого путешествия был жертвой, приносимой вами на алтарь... Вам всякий раз приходилось делать над собой нечеловеческое усилие, чтобы преодолеть физическое отвращение и не убежать прочь, когда вашему мужу приходила мысль заключить вас в свои медвежьи объятия.

И все из-за той, первой, ночи, воспоминание о которой никогда не изгладится из вашей памяти: в ту ночь вы окончательно поняли, сколь безмерна ваша жертва. Ведь до замужества все представлялось легким и простым: воображение смело отменяет все преграды. И лишь в тот момент, когда вы совершили резкий переход от созданного в мечтах идеала к суровой реальности, неполноценность супруга приняла для вас зримые очертания. Признайтесь, Соланж Вотье, как это горько — принимать поцелуи от губ, не способных вымолвить ни словечка любви, как это ужасно — очутиться перед зияющей пустотой незрячего лица... При таких обстоятельствах акт любви может породить одно лишь отвращение. Гораздо скорее, чем вы думали, да и думали ли вы об этом в порыве жертвенности, побудившем вас ответить «да» Ивону Роделеку? Физическая близость со слепоглухимым обескуражила вас и поколебала вашу решимость. Да и как не понять вас? Чтобы выдержать это испытание, нужно было обладать такой душевной силой, какую весьма и весьма редко встретишь у нас, слабых человеческих существ...

Ну, а ваш муж? Ведь не думаете же вы, Соланж, что, живя с вами, он так и не понял, как действует на вас его неполноценность? Как бы тщательно ни скрывал он свое отчаяние, оно день ото дня росло: ревность и недоверие начали серьезно омрачать ваш брак. Но, несмотря ни на что, он крепко держался за вас. Он всегда испытывал и испытывает неодолимую потребность

в близости с вами — как физической, так и духовной. Вот так в ваших отношениях и возникла глубокая, хоть и не выходящая на поверхность трещина, первопричины которой вы оба почти за лучшее не доискиваться. Можно смело утверждать, господа присяжные, что пять лет их совместной жизни прошли в непрекращающейся борьбе между рассудочной нежностью молодой женщины и плотскими вожделениями слепоглухонемого. Теперь представьте, каким было то свадебное путешествие на Басский берег! Днем, когда общение было лишь интеллектуальным, все шло замечательно: гармония двух существ, дополняющих друг друга, из которых по крайней мере одно полностью зависело от другого... Зато ночью! Ночью роли менялись: признайтесь же, Соланж, вы предпочли бы оказаться где-нибудь на краю света, только бы не отдаваться ласкам, приводящим вас в ужас! Совершенно отчаявшись, вы поделились своими опасениями с Ивоном Роделеком, когда приехали вдвоем в Санак с прощальным визитом накануне длительного отъезда в Соединенные Штаты. И вновь мудрые слова и рассудительные советы наставника смогли умерить ваше разочарование. Путешествие в незнакомую далекую страну несколько сгладило остроту в ваших отношениях. Вы стали привыкать к своему деятельному и в то же время покорному существованию подле слепоглухонемого. Вы с головой окунулись в кипучую жизнь Нового Света: с калейдоскопической быстротой сменяли друг друга штаты, города, лекции, конференции, интервью, выступления по радио, наконец, приемы, на которых вы с каждым разом блистали все ярче, расцветали все пышней. Каждый ваш шаг был триумфальной поступью вашей красоты. Безмолвное присутствие слепоглухонемого гиганта, который всюду неотступно следовал за вами, как верный пес или смиренный раб, еще более подчеркивало ваше очарование: по контрасту с безжизненным лицом ваша лучезарная улыбка сверкала еще ослепительней... В первые же дни пребывания за океаном у вас создалось впечатление, будто вы счастливы, Соланж. Вы даже написали об этом Ивону Роделеку, единственному вашему наперснику. Но однажды в Кливленде на вашем жизненном пути повстречался Джон Белл...

Интерес, якобы проявленный молодым американцем к экстраординарному случаю Жака Вотье, слепоглухонемого от рождения французского романиста, оказался лишь ширмой для прикрытия его вожделений, средством добиться той, кого он страстно возжаждал с первой же минуты встречи. Его ухаживания становились все более настойчивыми. Он катал вас одну в своей машине, против чего Жак несколько не возражал: он не допускал и мысли, что вы можете его обмануть... И неизбежное случилось — спустя несколько месяцев после этой встречи в Кливленде светившиеся обожанием глаза неотразимого янки утонули в ваших глазах. Его губы лихорадочно шептали долгожданные слова любви. Вы наконец познали полноценного мужчину!

Молодая женщина смертельно побледнела. Ее несчастный муж испустил протяжный хриплый крик и попытался преодолеть ограждение, однако стражи удержали его.

— Я знаю, что заставляю своего подзащитного невыносимо страдать! — продолжал адвокат. — Будь это в его власти, он убил бы меня... Посмотрите на него, господа присяжные: вот он, подлинный Жак Вотье, который и впрямь становится чудовищем, но только тогда, когда встает вопрос о защите его, как он считает, безраздельной собственности: своей жены... А теперь взгляните на нее: она не в состоянии опровергнуть выдвинутое против нее серьезное обвинение в неверности. Что она может сказать в свое оправдание? Что поддалась на настойчивые уговоры молодого американца, потому что не могла смириться с мыслью всецело принадлежать мужчине, который даже не может ее увидеть?.. В этом трагедия стоящей перед вами молодой женщины. Только не подумайте, господа присяжные, будто Соланж была хоть немного влюблена в Джона Белла. Очень скоро отношения с молодым американцем, неотступно следовавшим за ней из одного города в другой, начали внушать ей ужас.

Мучаясь угрызениями совести, вы, Соланж Вотье, сделали все возможное и невозможное, чтобы порвать со своим случайным любовником. Но тот и слышать ничего не хотел: он уже не мог обходиться без вас! К разрыву отношений вы стремились еще и потому, что боялись. Действительно, у Жака уже зародились смутные подозрения по отношению к Джону Беллу. К счастью, он и представить себе не мог, что вы ему неверны.

Чтобы избавиться от опасного любовника, вы уговорили мужа вернуться во Францию. Но вы не могли предвидеть того, что и на теплоходе встретите Джона Белла, который будет продолжать вас преследовать! Вы с мужем столкнулись с ним на палубе. Джон Белл объяснил, что едет во Францию с миссией помощи Европе! Право, весьма своеобразная помощь!..

Не желая встречаться с американцем, вы убедили мужа, что питаться лучше в каюте, и с тех пор выходили оттуда крайне редко. Однако уже на завтра Джону Беллу удалось подкараулить вас в коридоре, когда вокруг никого не было. Он умолял, грозил, требовал свидания. Вы в панике бежали. На какое-то время вам даже пришла в голову мысль о самоубийстве, но вы отогнали ее, подумав, что Жак не переживет вашу гибель. Ведь Жак не может жить без вас! Не лучше ли уничтожить Джона Белла? Мысль об искупительном убийстве крепко запала вам в душу. Невозможно себе представить, господа присяжные, на что может решиться честная женщина, которая раскаивается в допущенной ошибке!

Тем временем Джон Белл продолжал осаду. Стоило вам только открыть дверь каюты — и он тут как тут. Ваш муж благодаря великолепно развитому обонянию быстро обнаружил, что американец крутится возле вас — ведь его запах постоянно примешивался к вашему, — и вы в ужасе ожидали взрыва, который должен был прогреметь с минуты на минуту. Отчаяние толкнуло вас на решительную встречу с бывшим любовником.

Ваш муж, мадам, по своему обыкновению отдыхает на койке после обеда. Вы выходите на палубу подышать свежим воздухом. Быть может, вы положили в сумочку револьвер, который,

как признались мне, всегда носите при себе в целях самозащиты. Направляйтесь в каюту Джона Белла. План ваш прост: постучите в дверь — он с радостью откроет, попытаетесь убедить его в грозящей вам обоим опасности, будете умолять его оставить вас в покое и, быть может, уговорите — ведь осталось же у него в душе что-то человеческое. Иначе... Иначе — револьвер под рукой, в сумочке. Выстрелить, чтобы освободиться от кошмара раз и навсегда. Затем выбросить револьвер в иллюминатор, спокойно пройтись по верхней палубе, чтобы вольный ветер развеял запах Джона Белла, и вернуться в свою каюту, к супругу.

Увы, события развивались отнюдь не по вашему сценарию. Дверь в каюту Джона Белла была приоткрыта. Недоумевая, вы осторожно толкнули ее и окаменели при виде кошмарного зрелища: ваш любовник был распростерт на своей койке с перерезанным горлом. Объятая ужасом, вы, конечно, не обратили внимания на лежавший на столике у изголовья зеленый шелковый шарфик, как две капли воды похожий на ваш, который так любил гладить пальцами ваш муж... В безумном страхе вы кинулись прочь.

Прохладный воздух океана постепенно привел ваши мысли в порядок. Вы начали осознавать, что убийца вашего любовника опередил вас на считанные минуты, быть может — на мгновение. Джона Белла, без сомнения, убили только что. Но кто? Неужели Жак? Но нет, это невозможно: оставив спящего мужа, вы направились кратчайшим путем прямо в каюту Джона Белла. Жак просто физически не мог опередить вас.

232 Кто же в таком случае зарезал американца? Впрочем, какая разница? Главное, что некто оказал вам неоценимую услугу, избавив от опостылевшего любовника, который неотступно преследовал вас своими ухаживаниями и угрозами... Успокоившись, вы вернулись в свою каюту. Но там подстерегал еще один сюрприз: в ней никого не было! Куда делся Жак? Почему он покинул каюту один, без вас, — ведь со времени отплытия из Нью-Йорка этого ни разу не случалось?

Минут двадцать спустя ваша озабоченность переросла в тревогу: что может делать Жак так долго? Где он? После напрасных поисков вы возвратились в каюту в надежде, что Жак уже вернулся. Но его там не было. Отчаявшись, вы начали опасаться самого худшего: не произошло ли несчастье? Вдруг Жак упал за борт? В сильном волнении вы побежали к судовому комиссару. Остальное нам известно.

В ходе расследования вы были вынуждены умолчать о происшедшем: рассказать о своем ужасном открытии означало бы признаться, что вы были в каюте американца! На вас могли пасть подозрения: быть может, вам это было безразлично, но вы не без основания опасались, как бы ваше признание о посещении Джона не открыло глаза Жаку на связь с американцем. А уж этого вы старались избежать любой ценой! Наконец, вы были сбиты с толку подробностями, сообщенными теми, кто начал расследование, а более того — странным заявлением Жака. Вы не могли понять смысла его слов: «Не тревожься!

Я отвечаю за все... Ты правильно сделала, что убила его... Я люблю тебя».

Если позволите, господа присяжные, мы вновь мысленно возвратимся к преступлению — на этот раз к той минуте, когда Соланж Вотье закрыла за собой дверь каюты, оставив мужа спящим на койке.

В тот день ее муж не спал. Он на приличном расстоянии, чтобы не привлечь внимания, последовал за ней, догадываясь, что она отправилась к американцу. Каким же образом он, слепой, пробирался за ней сквозь лабиринт лестниц и коридоров огромного корабля? Благодаря обонянию — чувству, обостренному у него до предела. Его жена пользовалась одними и теми же духами, запах которых он любил, — как и все слепые, он обожает духи. Для него было детской забавой идти «по запаху» по бесчисленным коридорам.

Впечатляющее, должно быть, зрелище: слепоглухонемой ощупью бредет по коридорам, взбирается и спускается по лестницам, а ноздри его раздуваются, безошибочно улавливая ведущий его запах! Дрожь пробирает, когда подумаешь, какие чувства обуревали Вотье во время его перехода по кораблю! Мысль об убийстве, вне всякого сомнения, возникла в его мозгу. Он понятия не имел, навстречу какой опасности бежит. Он еще не терял надежды, что жена сохранила ему верность, но сомнения его удесятились... Как совершенно справедливо заключил господин прокурор, в сознании Жака Вотье во время этой безмолвной погони хищника, учувшего близкую добычу, происходило чудовищное пробуждение. Самые низменные инстинкты, подавленные годами облагораживающего влияния Ивона Роделека, выползали наружу подобно омерзительным гадам... Вотье был готов на все, даже на убийство. Кого? Это пока было ему неизвестно... Его или ее? Без сомнения, первого, кто попадет в его карающие руки... быть может, обоих! Так, увлекаемый запахом, шел он навстречу своей судьбе.

Добравшись до каюты Джона Белла, он в нерешительности остановился: как ни странно, запах духов отчетливо вел и в каюту, и дальше по коридору. Это сбilo его с толку. Какой след вернее? Войти в каюту или продолжать путь по коридору? Наконец он толкнул приоткрытую дверь...

Последуем теперь за ним в каюту. Два запаха, смешиваясь столь интимно, неопровержимо доказывали виновность обоих. Они тут... Они не уйдут от него. Уверенный в своей геркулесовой силе, Вотье даже не помышляет о том, чтобы использовать какое-либо орудие для убийства. Он задушит презренных!

Я настаиваю, господа присяжные, что следствие допустило серьезную психологическую ошибку при восстановлении картины преступления. Если бы убийство совершил Вотье, он проделал бы это отнюдь не ножом для разрезания бумаги, а собственными руками, могучими и ловкими! При проведении следственного эксперимента инспектор Мервель и его сотрудники должны были настроиться: жест, воспроизведенный слепоглухонемым с точностью профессионального убийцы, оказалась слишком совершенен. Удар явно был отработан, заранее отрепетирован за

те полчаса, в течение которых Вотье оставался наедине с мертвецом. Вотье прекрасно знал, что дальнейшее будет в большой степени зависеть от того, насколько точно он «воспроизведет» смертельный удар. Нужно было внушить следователю уверенность в том, что он, Вотье, способен без труда воспользоваться ножом и, несмотря на слепоту, с первой же посылки нанести точный удар!

Вот когда следствие пошло по ложному пути... Однако вернемся к тому моменту, когда слепоглухонемой медленно входит в каюту, угрожающе раскинув руки в стороны... Вначале он натывается на койку, теряет равновесие... рефлекторно выброшенными вперед руками упирается в расprostертое тело, узнает его ненавистный запах, к которому, однако, примешивается, кроме витающего в каюте аромата духов Соланж, другой, куда более терпкий, — запах крови.

Вотье отшатывается, затем вновь протягивает руки к лежащему американцу... Его пальцы ощупывают грудь и медленно продвигаются вверх, к голове. На горле они замирают, окунувшись в теплую, вязкую жидкость — кровь! Пальцы ощупывают края зияющей раны на горле... Сомнений нет: это сделано ножом. Пальцы спускаются на грудь лежащего и замирают на сердце, словно прислушиваясь. Осознание не может обмануть: сердце не бьется. Американец мертв!.. Пальцы принимаются лихорадочно обшаривать койку возле трупа в поисках орудия убийства. И вот рука наталкивается на него. Вотье сразу же узнает нож для бумаги — таким он в собственной каюте разрезал листы в книгах, которые Соланж собиралась ему прочесть.

Но пальцы не успокаиваются: Вотье продолжает обшаривать все вокруг в надежде найти что-нибудь, что может послужить объяснением случившемуся. И обнаруживает на ночном столике нечто такое, от чего вмиг холодеет. Всего лишь шелковый шарфик, но он хорошо знаком его пальцам и пропитан запахом духов Соланж... Прямоугольник из шелка, который Вотье привык называть «зеленым шарфом», принадлежит его жене!

И его осеняет... Да, теперь все становится на свои места. Под каким-нибудь благовидным предлогом американцу удалось заманить Соланж в свою каюту, но когда он обнаружил свои истинные намерения, она стала сопротивляться... и, не желая уступать негодю, нанесла ему удар первым, что попало под руку: ножом для разрезания бумаги, который, наверное, лежал на ночном столике...

К несчастью, в пылу схватки Соланж потеряла свой зеленый шарф — он, незамеченный, спланировал на ночной столик. Теперь Жак Вотье понял, почему запах духов вел дальше по коридору: убив американца, Соланж в панике убежала на палубу, даже не подумав — до того ли ей было! — захлопнуть за собой дверь каюты, которая так и осталась приоткрытой. Теперь, когда мерзавец получил по заслугам, главное — любой ценой отвести от Соланж подозрение в убийстве! Нельзя терять ни секунды: того и гляди кто-нибудь объявится раньше, чем Жак успеет придать картине преступления надлежащий вид. Самый простой и самый надежный способ спасти Соланж от обвинения

в убийстве — выставить преступником себя самого. Ведь он рискует самое большее несколькими годами тюрьмы... У кого хватит духу приговорить слепоглухонемого от рождения к смертной казни? К кому, если не к нему, применять суду магическую формулу: «Учитывая смягчающие обстоятельства...»? Да и метод защиты он изберет самый простой: упорное молчание, которое должно пронять судей и заронить в них сомнение. Приговор навряд ли будет чересчур суровым... Ну, а потом, выйдя из заключения, он вновь обретет свою верную подругу, с которой заживет счастливо и безмятежно, не опасаясь более никакого соперника...

Примерно такие мысли вихрем пронеслись в его взбудораженном мозгу. Не прошло и нескольких секунд, как он принялся за работу. Первым делом следовало избавиться от двух улик: от ножа, на котором наверняка остались отпечатки пальцев Соланж, и от ее зеленого шарфика. Шарфик он тут же выбросил в иллюминатор. Однако, когда очередь дошла до ножа, Вотье призадумался... После ареста у него обязательно спросят, как он, слепой, сумел им воспользоваться. Надо отрентетировать удар. Пальцы его стиснули ручку ножа, и рука рассекла воздух раз, другой, третий, погружая лезвие в уже распоротое горло... Вот теперь можно отправить нож вслед за шарфом Соланж: в безбрежный океан...

Оставалось «подписать» преступление собственными отпечатками пальцев, для чего он приложил свои перепачканные кровью пальцы везде, где только мог... Чтобы создать видимость ожесточенной схватки, он поднял мертвеца с койки и дотащил его до двери, умышленно опрокинув по пути пару стульев. Потом приоткрыл дверь, чтобы первый же, кто пройдет по коридору, обнаружил убийство и samozваного убийцу. Ожидание оказалось долгим, но он нашел в нем особый вкус: смаковал «свое» преступление, упивался торжеством... Я уже говорил вам, господа судьи, что только один раз в своей жизни Жак Вотье оказался подлинным чудовищем, и произошло это как раз во время ожидания. Он с пронзительной ясностью пережил в памяти все детали убийства, которого не совершал. Мысленным взором с ликованием созерцал, как его карающая длань обрушивается на подлого американца... Жак Вотье ни в чем не раскаивался: морально он тоже был убийцей Джона Белла...

Вот в чем состоит его преступление, господа присяжные! Бесспорно, тяжесть его велика, но судить за него Жака — не в ваших полномочиях.

Последние слова адвоката вызвали ропот у присутствующих. Даниелла была потрясена. Мысль о том, что человек столь выдающегося ума может обратиться в чудовище, способное убить во имя любви, ее странным образом взволновала. И робкое чувство восхищения, которое девушка понемногу начала испытывать к подсудимому, необычайно усилилось: какая женщина останется равнодушной при виде мужчины, подобного Жаку Вотье?

Виктор Дельо переждал, пока утихнет многоголосый гул, и с присущим ему спокойствием продолжил свою речь:

— Прошу вас, господа присяжные, взгляните на подсудимо-го! Как неузнаваемо изменилось его доселе бесстрастное лицо! На этот раз он не играет: его отчаяние неподдельно, безысходно. Только что вдребезги разбилась его мечта о неземной любви... К тому же он узнал, что Соланж не убивала своего любовника. Отныне ему нет никакой надобности взваливать на себя ответственность за чужое преступление... Господин переводчик, прошу вас, задайте подсудимому следующий вопрос: «Жак Вотье, правильно ли я описал обнаруженную вами картину преступления и ваши дальнейшие действия?»

Переводчик передал слепоглухонемому вопрос адвоката. Тот выпрямился во весь свой исполинский рост и принялся делать пальцами знаки, хорошо видимые всем присутствующим. Переводчик громко объявил его ответ:

— Совершенно правильно.

— В таком случае,— продолжал адвокат,— задайте ему последний вопрос, после чего мы оставим его в покое: «Жак Вотье, продолжаете ли вы настаивать на том, что пятого мая сего года на борту теплохода «Де Грасс» вы убили Джона Белла?»

Жак Вотье ответил тем же способом:

— Я солгал, чтобы спасти жену. Я не убивал Джона Белла! Раздавленный душевным страданием, он рухнул на скамью.

Адвокат же заговорил вновь:

— Теперь мне остается задать несколько вопросов госпоже Соланж Вотье. Ответьте, был ли Джон Белл вашим любовником?

Женщине стоило огромного труда еле слышно выговорить:

— Да, это правда...

— Приходили ли вы к нему в каюту пятого мая сего года примерно в два часа пополудни?

Несколько оправившись, Соланж ответила:

— Да... Я хотела добиться от Джона обещания, что он никогда больше не будет искать встречи со мной. Если бы он отказался, я бы, наверно, убила его. Но когда я вошла в каюту, Джон был уже мертв...

— Не припомните ли вы, лежал ли где-нибудь в каюте зеленый шелковый шарф?

— Не помню. Я была слишком потрясена видом убитого Джона, чтобы обращать внимание на такие мелочи...

Соланж спрятала лицо в руках, как бы пытаясь изгнать страшное видение; ее сотрясали рыдания.

Виктор Дельо вполголоса задал еще один вопрос:

— Вы не обнаружили пропажи своего шарфа перед тем, как было совершено убийство?

— Да, он исчез. Я точно помню, что в день отплытия из Нью-Йорка шарф был на мне. Но в тот же вечер он куда-то запропастился. Это меня расстроило. Жаку я ничего не сказала, ему нравился этот шарф... Ну, а потом мне было уже не до него...

— Итак, мадам, ваш зеленый шарф был украден у вас настоящим убийцей за три дня до преступления, чтобы, оставив рядом с трупом Джона Белла принадлежащую вам вещь, переложить ответственность за убийство на ваши плечи...

Долгими бессонными ночами я искал мотив этого столь тщательно подготовленного преступления, второй жертвой которого чуть не стали вы, мадам. Если бы ваш муж не выбросил в море зеленый шарф и не оставил в каюте отпечатков пальцев, вместо него на скамье подсудимых оказались бы вы!

Итак, кто-то желал погибели вам и молодому американцу. Но кто же? Кто-то, кому вы или Джон причинили зло... Преступником или подстрекателем преступления — а я настаиваю именно на втором из этих определений — мог быть либо отвергнутый вами, госпожа Вотье, любовник, либо бывшая возлюбленная Джона Белла, чье место вы заняли в его сердце.

Первое предположение я отбросил не сразу, хоть и был уверен, что ваша связь с молодым американцем вызвана минутной слабостью и является единственной в своем роде. И все же, признаться, одно время я спрашивал себя, не замешан ли в преступлении Жан Дони, с которым в Институте святого Иосифа вам довелось иметь малоприятное столкновение. Однако я установил, что в то время, когда на борту «Де Грасса» было совершено убийство, Жан Дони безотлучно исполнял свои обязанности органиста в соборе Альби. Методом исключения следовало остановиться на предположении о наличии соперницы. Когда я принял его в качестве рабочей гипотезы, все оказалось на удивление простым...

Пылкие чувства американца к прелестнице Филис Брукс заметно ослабли с того дня, как сей предприимчивый молодой человек свел знакомство с очаровательной француженкой. Филис, которая рассчитывала безраздельно владеть душой Джона скорее из корыстных побуждений — не будем забывать, что он был единственным сыном богатого и влиятельного сенатора! — наверняка испытывала недовольство, переросшее в ненависть, когда она убедилась, что Соланж Вотье полностью вытеснила ее из сердца Джона. Само собой разумеется, вам, госпожа Вотье, Джон Белл ни словом не обмолвился ни о существовании Филис, ни тем более о сценах ревности, которые она устраивала ему чуть ли не ежедневно. И, если вы начинали все больше сожалеть о том, что встретились с Джоном, он привязывался к вам все сильнее. Узнав о вашем решении возвратиться с мужем во Францию, он притворился, будто наконец внял уговорам отца, сенатора Белла. Итак, Джон сел на тот же теплоход, о чем вы даже и не подозревали и, естественно, удивились, встретив его на палубе через несколько часов после отплытия из Нью-Йорка.

Не обошлось на корабле и без присутствия Филис, правда, незримого: на борту «Де Грасса» находился некто, имеющий к ней самое непосредственное отношение, — муж Филис!

События накануне отплытия «Де Грасса» развивались так: днем муж Филис вышел из дому. Зная, что он вернется лишь поздним вечером, Филис позвонила Джону Беллу и тоном, не терпящим возражений, пригласила его к себе. Джон, который всегда склонялся перед женщинами с сильным характером, не устоял и на этот раз. Быть может, он испугался, как бы любовница не закатила ему один из тех публичных скандалов, на которые столь щедро Америка, что нанесло бы серьезный урон

престижу его отца, чья избирательная кампания была тогда в самом разгаре. Джон считал более благоразумным прийти к Филлис и умиловить ее чеком на кругленькую сумму. Молодой янки никогда не строил себе иллюзий относительно чувств Филлис: больше всего ее привлекало в Джоне громкое имя его отца, а главное — его кошелек. Истая дочь Бродвея, обольстительная и коварная, ограниченная и алчная, она видела в каждом мужчине, клонувшем на ее чары, всего лишь ходячую чековую книжку для оплаты ее прихотей, тем более что на мужа в этом смысле особо рассчитывать не приходилось.

Филлис не утаила от Джона, что она замужем, но сказала, что супруга можно не принимать в расчет: он, дескать, из тех удобных мужей, главное достоинство которых — вечно быть в отъезде... Джон не знал даже, как зовут этого замечательного мужа: Филлис представлялась всем под девичьей фамилией Брукс. Так было удобнее при ее не слишком почетной профессии.

После долгих препирательств, в которых каждый проявил себя отнюдь не лучшим образом, стороны сошлись на двадцати пяти тысячах долларов. Чек был выписан на предъявителя — с тем, чтобы Филлис могла сразу же получить по нему деньги. На ее беду, в банке пришлось предъявить паспорт, выписанный на ее настоящую фамилию, фамилию мужа. Деньги Филлис получила, но в банковской ведомости остался номер ее паспорта — бесценная находка для моего нью-йоркского корреспондента...

В ту минуту, когда Джон с изрядным облегчением собирался навсегда покинуть хозяйку квартиры, в двери щелкнул замок: раньше времени вернулся муж. Мужчины так и не увидели друг друга — на этом я настаиваю особо, — поскольку Джону Беллу удалось скрыться по пожарной лестнице, которой в Нью-Йорке снабжен почти каждый дом. Муж успел заметить лишь поспешно удалявшуюся фигуру мужчины, но это бегство само по себе было равносильно признанию в измене. Супругу оставалось лишь потребовать у своей половины разъяснений, что он со всей решимостью и сделал. Красотка Филлис со стоном призналась:

«Это Джон... Джон Белл... Но больше мы с ним не увидимся; он отплывает завтра вместе со своей любовницей на том же теплоходе, что и ты...»

Джону Беллу так и не суждено было узнать, что муж Филлис Брукс — француз, которого профессия обязывала каждый месяц ходить во Францию на теплоходе «Де Грасс»...

Часом позже состоялось примирение, и муж повел Филлис ужинать в дансинг, чтобы весело провести последний вечер перед расставанием. Она охотно согласилась, довольная столь благополучной развязкой и в особенности тем, что получит свои двадцать пять тысяч, о которых муж так ничего и не узнал. В общем, она неплохо выпуталась из этой истории...

На следующий день муж Филлис покинул Америку на борту «Де Грасса», который он знал вдоль и поперек, поскольку вот уже три года совершал на нем рейсы из Нью-Йорка в Гавр и обратно. Он досконально изучил расположение кают, превос-

ходно ориентировался в лабиринте лестниц и коридоров и настолько хорошо знал порядки на теплоходе и обычное времяпровождение его пассажиров, что мог почти безошибочно предугадать их самые незначительные поступки, — короче говоря, до тонкостей разбирался в жизнедеятельности этого плавучего города. Для него не составило труда определить, в каких каютах расположились Джон Белл и чета Вотье. В первые же часы плавания он постарался запастись каким-нибудь предметом из обихода той, кого он решил выставить виновницей убийства: Соланж Вотье, новой любовницы Джона Белла.

Итак, сначала обманутый супруг убьет Джона Белла, потом откажет себе в удовольствии телеграммой сообщить Филис о гибели Джона Белла: для ветреницы это будет неприятным сюрпризом и вместе с тем недвусмысленным предостережением, после которого она хорошенько призадумается, стоит ли завести нового любовника... Чтобы обеспечить себе безнаказанность, он устроит так, что все подозрения падут на эту француженку, любовницу американца, для чего украдет шарф, в котором ее уже многие видели, а потом, когда все будет кончено, положит его на видное место в каюте убитого.

Задумано было неплохо. Но, на беду убийцы, его план удался лишь наполовину: если первая его часть, убийство, была осуществлена в соответствии со сценарием, то вторая провалилась благодаря чудесному — можно ли назвать иначе? — вмешательству Жака Вотье, который оказался первым и, как видите, единственным, кто попался на удочку изворотливого преступника. Остальное нам известно.

Кто по-настоящему удивился, так это красotka Филис, узнав из газет не только об убийстве на борту «Де Грасса» американского гражданина, но и о том, что убийца пойман и им оказался вовсе не ее муж, а муж соперницы! Тем более что накануне, в пять часов вечера, она получила краткую телеграмму, подписанную именем ее мужа и гласящую: «Разделяю ваше горе». Такое вот соболезнование...

Распечатав телеграмму, Филис была потрясена: она сразу сообразила, что произошло на теплоходе. Однако горевала недолго. Лишь бы этот болван, ее муженек, не попался, что было бы совсем некстати: полиция могла сопоставить кое-какие факты и, в частности, установить, что один из последних чеков, подписанных в Нью-Йорке Джоном Беллом, был предъявлен к оплате особой, носящей ту же фамилию, что и убийца! Уж в этом-то Филис кое-что смыслила! Поэтому, прочтя на следующий день первые газетные отчеты о преступлении, она удивилась, но в то же время успокоилась...

Теперь мы кое-что знаем о Филис Брукс. Остается лишь установить личность ее супруга, убийцы Джона Белла. Однако я позволю себе заметить суду, что дальнейшее присутствие здесь госпожи Соланж Вотье представляется излишним...

— Вы можете идти, мадам, — кивнул председатель Легри.

Когда Соланж вышла, Виктор Дельо продолжил:

— Для разоблачения преступника я считаю необходимым вызвать вновь в суд свидетелей обвинения из команды теплохо-

да «Де Грасс» — в той же очередности, что была установлена господином прокурором в прошлый раз. Первым был, если я не ошибаюсь, стюард Тераль?

— Господин Тераль,— начал старый адвокат, когда стюард занял место свидетеля,— вы говорили нам, что первым обнаружили преступление?

— Да, это так...

— Когда вы увидели, что дверь в каюту Джона Белла приоткрыта, вы, должно быть, не особенно удивились?

— Как это?

— Да ведь вы уже в какой-то мере ожидали этого, господин Тераль! Но что вас действительно удивило, это представшее вашим глазам зрелище: повисший на двери мертвец и неподвижно сидящий на его койке Вотье!

— Верно...

— Тем более,— продолжал адвокат,— что эта странная картина не соответствовала тому, что вы оставили в каюте двумя часами раньше...

— Я не понимаю...

— Сейчас мы все поймем! — заверил его Виктор Дельо. — За два часа до вашего, будем говорить, «официального обнаружения» убийства вы вошли в эту же каюту с помощью универсального ключа, который есть у каждого стюарда. Вошли тихонько, чтобы не разбудить пассажира, наслаждавшегося в это время послеобеденным отдыхом... Привычки Джона Белла вы успели изучить... Итак, тот спал сном праведника, но был жив и находился в отменном здравии. На ночном столике у изголовья лежал нож для разрезания бумаги в форме изящного стилета. Во сне этот здоровяк, увы, не мог оказать никакого сопротивления и отошел в мир иной незаметно для себя: просто земной его сон перешел в сон вечный...

— Я не позволю вам!.. — прорычал стюард.

Последние его слова потонули в поднимавшемся гвалте: все присутствующие повскакивали со своих мест.

— Тихо! — прокричал председатель Легри.

— Так вот, господин Тераль! — неумолимо продолжал Виктор Дельо. — Я официально обвиняю вас в том, что пятого мая сего года в тринадцать часов сорок пять минут вы убили Джона Белла в его каюте, перерезав ему сонную артерию с помощью ножа для разрезания бумаги, на котором ваших отпечатков пальцев не оставалось, поскольку вы действовали в перчатках. Потому-то вы и не побоялись оставить орудие убийства на ночном столике рядом с шелковым шарфом, украденным вами тремя днями раньше у госпожи Вотье.

— Я не понимаю ни слова из того, что вы говорите,— ответил стюард.

— Если вы ничего не понимаете, господин Тераль, отчего же так смертельно побледнели? Ну ладно, я помогу вам вспомнить, рассказав, как именно я вас «вычислил». Официальное следствие не принесло никаких результатов, и я провел собственное

небольшое расследование. Я разыскал всех членов семьи Вотье, добрался до Института Санака, наряду с этим поднял также некоторые документы Всеобщей трансатлантической компании. Я получил список фамилий всех пассажиров, находившихся на «Де Грассе» во время того злополучного рейса, изучил все радиограммы, отправленные с его борта, и среди вороха поздравительных телеграмм и денежных переводов наткнулся на коротенькую телеграмму за подписью некоего Анри: «I share your sorrow», то есть «Разделяю вашу горе». Это несколько выпященное послание навряд ли привлекло внимание радиотелеграфистов «Де Грасса», которым и в голову не пришло сопоставить это «разделенное горе» с совершенным на борту убийством. Однако меня, старого букведа, оно насторожило. Я отметил, что некий Анри отправил телеграмму через полчаса после того, как было обнаружено преступление. Телеграмма была адресована некоей Филлис Брукс в Нью-Йорке. Я тотчас попросил одного моего старого приятеля, уже с четверть века живущего в этом городе, негласно навести кое-какие справки об этой таинственной незнакомке, которая разожгла мое любопытство. Вскоре я получил от него сведения о ее своеобразной профессии и последних связях. В этом списке фигурировало имя Джона Белла. Тогда же я узнал и о том, что три года тому назад Филлис Брукс вышла замуж за некоего Анри Терала, французского гражданина. Девичьей фамилией Филлис пользовалась только для нужд своего ремесла. А телеграмма, отправленная с «Де Грасса», носила подпись «Анри». Согласитесь, совпадение по меньшей мере любопытное! Не найдя Анри в списке пассажиров, я попросил разрешения взглянуть на список команды, где и обнаружил имя «Анри» в сочетании с фамилией «Тераль» — он оказался стюардом по обслуживанию кают-люкс, одну из которых занимал Джон Белл! И все встало на свои места!

По залу прокатился восхищенный гул. Даниелла с обожанием смотрела на своего наставника, который, несколько смутившись, безуспешно пытался пристроить очки на носу. Он откашлялся, прочищая горло, и продолжил:

— Мой вывод прост: настоящий убийца Джона Белла — перед вами, у свидетельской решетки... В надлежащее время он, видимо, предстанет перед судом, и, боюсь, задача его защитника будет трудной — во всяком случае, для моих старых плеч она была бы непосильной. Свою же миссию защиты Жака Вотье я, смею надеяться, выполнил: подсудимый будет оправдан. Я ни от кого не жду благодарностей — ни от своего необычного клиента, которому причинил немало горя, открыв глаза на вероломство жены, ни от госпожи Соланж Вотье, которая вряд ли скажет спасибо за то, что я огласил некоторые интимные подробности ее жизни, ни, наконец, от родных несчастного слепоглухонемого, которые, конечно же, не простят мне, что в последний момент я сумел избавить подсудимого от быстрой и верной казни, предусмотренной статьей триста второй Уголовного кодекса, на применении которой с таким усердием настаивал господин прокурор. Единственный человек, который в глубине души, как мне думается, благодарит небо за ниспосланное мне

вдохновение,— это многоуважаемый, скромный Ивон Роделек, чьими усилиями будничным поначалу ход настоящего процесса был вознесен в сферы самых высоких человеческих чувств...

6. ПРИГОВОР

Наконец-то Виктор Дельо смог облачиться в домашний халат и сунуть уставшие ноги в шлепанцы. Утонув в старом кресле и запрокинув голову назад, он, похоже, забыл о существовании своей юной помощницы.

— Вы, должно быть, устали, мэтр. Может, мне лучше уйти?

— Нет, нет, внучка,— ответил адвокат, не разлепляя век.— Побудьте еще немного: ваше присутствие действует на меня успокаивающе...

— Как я восхищена, мэтр! Вы не только спасли Жака, вы заставили его ощутить себя человеком! Из чудовища вы превратили его в существо, способное чувствовать и вызывать человеческие чувства в других...

— Что ж, нашелся хоть один человек, чьих ожиданий я не обманул!

— А как слушал вас зал! Все буквально глядели вам в рот: ведь вы олицетворяли собой само правосудие, становясь поочередно то полицейским, то следователем, то защитником, то обвинителем... Скажите, но почему бедного Жака не освободили сразу? Ведь он столько пережил! Неужели и эту ночь он проведет в тюрьме?

— Дитя мое, юстиция — обидчивая старая дама; ей досадно, что ее обвели вокруг пальца, и кто? Слепоглухонемой! Успокойтесь, не пройдет и трех дней, как Жак Вотье вернется к супруге.

— Вернется к супруге?! Я больше чем уверена, что он не пожелает жить с ней!

— Однако это необходимо, внучка... Что станется с ним без нее? Жак — парень с головой, он наверняка сообразил, что минутная слабость Соланж значит не так уж много в сравнении с той самоотверженностью, какую она проявляла начиная с детских лет. Лично я не представляю себе ни Жака без Соланж, ни Соланж без Жака...

— Ну, а вы, мэтр? Что вы будете делать дальше?

— Я? Пока что постараюсь заснуть так же крепко, как по молодости спите вы, внучка. Надеюсь, во сне ко мне не явится вся эта орава глухонемых, слепых, братьев ордена святого Гавриила, американских сенаторов, судебных медиков и девиц с Бродвея!

— Спокойной ночи, мэтр...

Однако уже с порога девушка вернулась и, помявшись, спросила:

— Мэтр, простите меня, но очень хочется, чтобы вы разъяснили одну подробность.

— Валяйте.

— Я до сих пор не могу понять, как вам удалось раскрыть тайну зеленого шарфа? Ведь Вотье выбросил его в море!

— Очень просто... Встретившись с Соланж Вотье на аллее

розария Багатели, я, несмотря на близорукость, не преминул рассмотреть ее. Мое внимание привлекли главным образом две вещи: своеобразный запах духов и серый шелковый шарф на шее... Очень скоро я понял, что так сильно пахнет духами именно шарф, и в памяти всплыл отрывок из романа «Один в целом свете», который я читал накануне. В нем автор писал о жене главного героя примерно следующее: «Она часто укутывала шею зеленым шелковым шарфиком, который никогда не забывала надушить... У нее это было знаком внимания к мужу, который любил зеленый цвет, хотя никогда его не видел. Всякий раз, вдыхая нежный аромат, источаемый шелковым шарфом, он представлял себе, разумеется, на свой манер, зеленый цвет». Мысленно я тут же провел параллель между четой Вотье и двумя главными персонажами романа и сделал вывод, что автору книги, наверное, тоже нравится надушенный шарф, который носит его жена. Потом мысли мои приняли совсем иное направление: у меня к собеседнице была уйма других, куда более важных вопросов.

Прошло три дня, и я вновь встретился с Соланж Вотье — теперь уже здесь, в этом кабинете. Едва она вошла, как обоняние мое было разбужено тем же странным ароматом, а глаза невольно остановились на шарфе из серого шелка, повязанном поверх костюма. Я заключил из этого, что Соланж Вотье неравнодушна к этому шарфу, если только не взяла привычку носить его, чтобы сделать приятное мужу, подобно героине романа. Но почему в таком случае шарф этот серый, а не зеленый? Я заметил, что мне очень приятен этот запах. Она меланхолично ответила, что мужу он тоже нравится. И тогда я спросил: «Ваш муж знает, что этот шарф серый?» Она ответила: «Нет, мой муж всегда считал его зеленым. Ведь он, уж не знаю почему, обожает зеленый цвет... В его представлении он олицетворяет свежесть».

Видя, что я слушаю с интересом, она добавила, показывая на кусочек серой материи: «У этого шарфа есть своя маленькая история... Вы знаете, раньше у меня был точно такой же шарф, но зеленый — Жак купил мне его в Америке. Он очень им дорожил — во всяком случае, больше, чем я. Ему была приятна мысль, что я ношу этот шарф, он часто касался его и с нежностью ощупывал... К несчастью, на теплоходе, вскоре после отплытия из Нью-Йорка, шарф исчез. Жак мог придать этой пустяковой пропаже чересчур большое значение и увидеть в ней дурное предзнаменование, поэтому я тайком от него наведальась в судовую лавку в надежде найти похожий шарф взамен пропавшего... Мне повезло: я нашла почти такой же шарф — он и сейчас на мне. На ощупь шелк совершенно неотличим от прежнего, только цвет, как видите, другой. Но ведь Жак все равно никогда его не увидит! Я купила шарф, принесла его в каюту и обрызгала духами. Он так и не заметил подмены».

Я сказал, что на ее месте сделал бы то же самое, и разговор перешел на другую тему. Как далек я был тогда от мысли, что гвоздь всего — именно эта история с шарфом! Но потом начал размышлять, сопоставлять факты... Уж слишком много отпечатков пальцев оставил Вотье в каюте. Может быть, он сделал

это специально, выгораживая настоящего убийцу? Но в чем спасении мог быть заинтересован Вотье? Ответ напрашивался сам собой: ради жены, его несравненной Соланж... Таким образом, Джона Белла убила Соланж, и Вотье, видимо, получил этому подтверждение... Какое же? Шарф, черт побери, шарф, пропитанный духами Соланж, его фетиш, который она, вероятно, обронила в каюте американца и на который потом натолкнулись пальцы Вотье...

Но тогда встал новый вопрос: зачем Соланж убивать Джона Белла? Чтобы избавиться от него?.. Значит, между Соланж и американцем существовала тайная связь... Сама ли она убила или призвала на помощь сообщника? Разве такое эфирное создание, как Соланж, могло справиться со здоровенным парнем?.. Вот если бы убийцей был кто-то третий, желавший погубить Соланж не меньше, чем Джону Беллу! Тогда лучшим способом погубить их обоих было бы для преступника убить американца, а затем устроить так, чтобы все подозрения пали на Соланж. Для этого достаточно подбросить улику... Оставалось лишь выкрасть шарф, что он и сделал.

Необходимо было получить доказательство того, что Вотье действительно обнаружил рядом с трупом Джона Белла шарф своей жены. Вот почему накануне процесса я попросил Соланж явиться в суд с шарфом на шею. Мой план был прост: я постараюсь в нужный момент подвести Соланж так близко к подсудимому, чтобы он смог уловить запах пропитанного духами шелка... Останется проследить его реакцию. Как он отреагировал, вы видели не хуже моего... Он пришел в ужас, не понимая, каким образом злосчастный шарф, который, как он полагал, надежно захоронен в пучине Атлантики, вновь очутился на шее Соланж!

— Простите, мэтр, но как вы догадались, что Вотье от него избавился?

— Да я просто представил себя в шкуре нашего героя: что бы я сделал с такой уликой на месте Вотье? Просто-напросто выкинул бы ее в иллюминатор, и дело с концом!.. Ну, а теперь спокойной ночи, внучка.

Даниелла слушала его, но с каким-то отсутствующим видом. Она направилась к двери механически, как заводная кукла, и уже собралась было выходить, как вдруг Виктор Дельо, по-прежнему сидевший в кресле, позвал:

— Внучка, вернитесь... Мне не нравится ваш несчастный вид. Что случилось?

— Право же, ничего, мэтр! — поспешно возразила Даниелла.

— А почему у вас глаза на мокром месте?

— Уверяю вас...

Закончить ей недостало сил: она вдруг по-детски упала на колени и, уткнувшись лицом в подлокотник кресла, разревелась.

— Ну будет, будет же! — пробурчал Виктор Дельо и сделал то, на что она до сих пор считала его неспособным: погладил ее по голове. Потом заговорил вновь, но его ворчливый голос звучал уже совсем по-другому: — Так вы думаете, я ничего не понял? Старый пень вроде меня не способен догадаться о нежных и чистых чувствах, овладевших сердцем маленькой Даниеллы?

Посмотрите на меня,— он за подбородок приподнял ей голову,— и послушайте: Жак Вотье, дитя мое, не принадлежит тому миру, где живем мы с вами. Вначале вы несправедливо питали к нему отвращение, но потом расчувствовались. Все это не так серьезно: просто в вас говорит пылкая южанка... А для того, чтобы посвятить всю свою жизнь слепоглухонемому от рождения, нужно обладать бесконечной готовностью к самопожертвованию. Вот этого Соланж не занимать. И то, что она уступила мимолетной слабости, по-человечески можно простить, тем более что подобного, я уверен, никогда больше не повторится: кризис миновал... Что касается вас, милая внучка, если хотите преуспеть в нашей профессии, никогда не позволяйте сердцу зажечься состраданием или иными человеческими чувствами к своему клиенту — короче говоря, не уподобляйтесь мне! Видите, к чему это приводит: перед вами жалкий старый неудачник!.. Ну, а сейчас топайте к себе, внучка, и обязательно с улыбкой на лице, чего бы вам это ни стоило после такой душевной травмы!

Погода стояла чудесная: апрель щедрой рукой разбросал набухшие почки по веткам чахлах парижских деревьев, во дворах и на подоконниках зачирикали воробьи, а Виктор Дельо водрузил на голову выгоревшее соломенное канотье. Свято соблюдая раз и навсегда заведенный порядок, старый адвокат одолел парадную лестницу Дворца Правосудия, пересек просторный вестибюль и направился к гардеробной адвокатов. Там он сменил канотье на шапочку и облачился в доисторическую мантию. Потерявший форму кожаный портфельчик, в котором покоилась неизменная «Газетт дю Палэ», окончательно довершил его облик. Жизнь Виктора Дельо вошла в проторенную колею.

При входе в Торговую галерею он столкнулся со старшиной сословия Мюнье, и тот воскликнул:

— Ба, Дельо, ты никак воскрес? Ну что, старина, как наши дела? Почти полгода носа не казал во Дворец! Еще бы: после такого триумфа в деле Вотье...

— Не будем преувеличивать...— скромно отозвался адвокат.

— Ничего себе! Весь Дворец и газеты только и твердили, что о тебе! В один день ты стал знаменитостью, и вдруг — как в воду канул! Что стряслось?

— Да ничего... Я сидел дома, терпеливо дожидаясь, чтобы ко мне начали сбегаться с заманчивыми предложениями...

— И много их теперь у тебя?

— Ни одного! В глубине души я другого и не ждал... А как ты думал? Я принадлежу к старой гвардии, а ее давно оттеснили локтями молодые карьеристы...

— Послушай, тебе надо встряхнуть! У меня есть для тебя еще одно сенсационное дело... Один калека ухлопал свою жену...

— Ты непременно хочешь сделать из меня адвоката Суда чудес! Нет уж, благодарю покорно! Видишь ли, я предпочитаю вернуться в добрый старый Исправительный суд...

— Ты что, спятил?

— Может быть... если только, наоборот, не образумился!

— Воля твоя, конечно... Однако это, надеюсь, не помешает тебе время от времени наведываться ко мне? У меня всегда есть в запасе недурные сигары...

— Ну, раз уж ты проведал мою слабость...

Виктор Дельо улыбнулся, и они раскланялись. Затем старый адвокат возобновил прогулку по Дворцу, заходя из одной канцелярии в другую, из палаты в палату, изучая объявления о делах. Спустя три часа он снял мантию, сменил шапочку на канотье, вышел из Дворца и смешался с толпой. Весенняя теплынь располагала к раздумьям. Виктор Дельо неспешно зашагал к дому по набережной Гранд-Огюстен, вдоль лотков букинистов. Почти у каждого он останавливался и листал пожелтевшие страницы, время от времени поправляя очки, чтобы полюбоваться старинной гравюрой... Однако мыслями он был далеко отсюда, в Институте святого Иосифа, тоску по которому испытывал с тех самых пор, как побывал там. Вот где царит истинный покой, вот где забывается вся людская суета.

Добравшись до своего подъезда, он немало удивился при виде поджидавшего его человека: то был Ивон Роделек собственной персоной, в черной сутане и голубых брыжах, смущенно комкающийся в нескладных крестьянских руках треуголку.

— Какой приятный сюрприз! — воскликнул адвокат, приглашая гостя в свою скромную квартиру. — Вот уж не ожидал! А ведь по пути из Дворца я как раз думал о вас, о ваших коллегах и учениках... Как дела у Жака?

— Хорошо. Даже очень хорошо... Сегодня я уже могу сказать вам, что он возвращается к счастью.

— Что ж, прекрасно! Я тоже считаю, что эти два существа просто созданы друг для друга.

— Я рад сообщить вам, что мне удалось уговорить Жака и Соланж вернуться на несколько месяцев в Санак, где сама атмосфера должна благотворно повлиять на их чувства друг к другу... Завтра мы все трое отправляемся туда на лиможском экспрессе.

— Замечательно... А вы, господин Роделек? Расскажите немного о себе. Как вы себя чувствуете?

— Старею, как и все... Даже в очках уже плохо вижу: глаза сильно сдают... да и на ухо совсем туг... Согласитесь, это забавно: после того, как мне — хорошо ли, плохо ли — удалось дать несчастным детям возможность видеть без зрения и слышать без слуха, я сам становлюсь слепым и глухим! И все же, если это меня постигнет, я возблагодарю Господа за то, что он дал мне по-настоящему ощутить себя в том же состоянии, в каком находятся мои бедные воспитанники...

— Вы никогда не изменитесь, господин Роделек...

— Вы тоже, дорогой мэтр!

— Это ли не привилегия всех стариков — немного походить друг на друга?

— Несмотря на огромное удовольствие от беседы с вами, я вынужден вас покинуть, — сказал Ивон Роделек, вставая. — Мне предстоит еще один визит...

— Держу пари, речь идет об очередном несчастном ребенке, которого вы намереваетесь увезти в Санак!

— Дорогой мой мэтр, вы выдающийся знаток психологии!.. Да, вы правы, меня ждет бедное дитя, так же от рождения лишенное трех чувств. Не знаю, удастся ли мне забрать этого ребенка в Санак, но у меня есть огромное желание покинуть мир не раньше, чем воспитаю своего двадцатого ученика...

Оставшись в одиночестве, Виктор Дельо переобулся в шлепанцы, укутался в свой халат, удобно устроился в любимом кресле и принялся перебирать в памяти дело Вотье: многочисленных свидетелей, из которых одни вызывали лишь презрение, а другие невольно вредили подсудимому от избытка благих намерений; кровожадного прокурора; спокойного, рассудительного председателя суда; наконец, своего несговорчивого подзащитного, замкнувшегося в упорном молчании... Потом он представил себе необычную группу путешественников, которые завтра займут места в лиможском экспрессе: Жак, Соланж, Ивон Роделек и его будущий новый воспитанник. Адвокат неплохо изучил старого учителя и был уверен, что тот не устоит перед потребностью взрастить еще один ум в тайной надежде разбудить душу несчастного... Спустя несколько часов эти четверо окажутся на крохотном вокзале Санака, где их встретит брат Доминик, как всегда улыбочивый и словоохотливый. Рассказывая свежие санакские новости, он подведет их к древней повозке, крытой черным брезентом, которая с незапамятных времен верой и правдой служит институту средством для поездок в город и доставки всего необходимого. Серая в яблоках лошадь, запряженная в эту повозку, дряхлостью может поспорить разве что с преданным Валантенем, совмещающим в институте должности садовника и кучера. Побывав там, Виктор Дельо уже знал, что на каждого из обитателей этого большого дома возложено по несколько обязанностей, так что скучать без дела не приходится никому.

Продолжая свое мысленное путешествие в Санак, Виктор Дельо видел, как повозка подпрыгивает на ухабах, увозя своих седоков по тряской дороге навстречу счастью, а сидящий рядом с Валантенем на козлах брат Доминик раскланивается со всеми встречными, для кого этот ветхий шарабан давно стал привычной частью пейзажа.

Вот повозка останавливается перед большим порталом, над которым белыми буквами начертано: «Региональный институт глухонемых и слепых». Ворота отворяются, и повозка в последнем усилии преодолевает порог. Пока закрываются тяжелые створки, еще можно услышать цокот копыт и хруст гравия под колесами, затем воцаряется тишина: из-за высоченных стен не долетает ни звука...

Маленькое чудовище замрет в оцепенении, ожидая, пока неведомый добрый гений не откроет перед ним дорогу к свету... Ласковые руки Соланж придут на помощь старым морщинистым рукам Ивона Роделека и сотворят новое чудо, протянут первую ниточку, которая свяжет маленького слепоглухонемого с окружающей жизнью...

Перевод с французского ИГОРЯ СВЕЛГОРА.



248

«К НАПИСАНИЮ РАЗРЕШЕНО...»

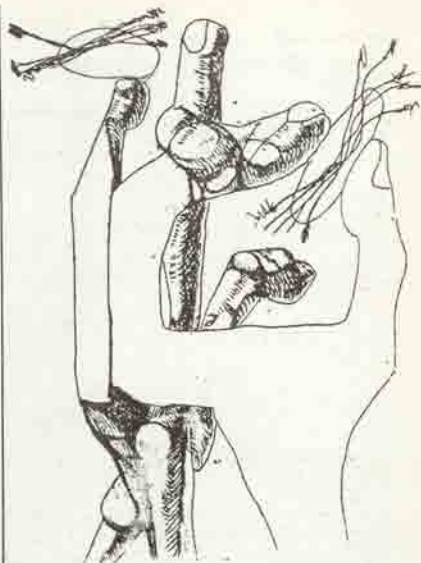
О судьбе ЭРНСТА НЕИЗВЕСТНОГО
размышляют писатель
ЛЕОНИД ЖУХОВИЦКИЙ
и художник ВЛАДИМИР БОНДАРЕВ.

Владимир Бондарев: Судьба Эрнста Неизвестного уникальна. Яркий, крупный художник, интересная личность. Но вот что меня поражает: странное отношение к Неизвестному его собратьев по искусству и руководителей культуры. Они упрямо делают вид, что такого художника в России никогда не было и нет. Убедился в этом, делая фильм об Эрнсте.

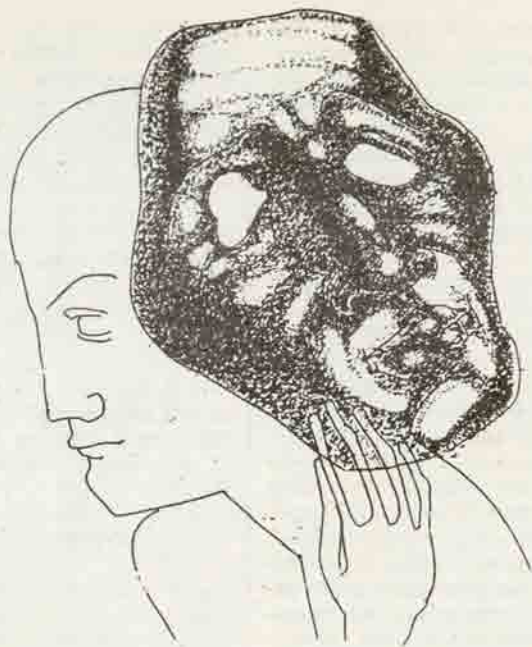
Леонид Жуховицкий: У нас Эрнст стал полулегендой. Все приходят на Новодевичье кладбище посмотреть памятник Хрущеву. Но видят, увы, не то, что создал Эрнст. «Золотая голова» потемнела и потускнела, художественное впечатление нарушено. Увидеть в Союзе работы Эрнста почти невозможно. Люди нашего поколения понимают, что он значит в искусстве и в общественной жизни. А для молодежи Неизвестный сейчас просто один из крупных русских художников, живущих на Западе.

Хорошо, что появился фильм об Эрнсте. Жаль, что некоторые даже не предполагают, что он идет на экранах. Но когда вещь сделана, она может вернуться к людям через год, через два, через десять лет. Я приведу поразившую меня фразу. Как-то один молодой писатель написал роман, по тем временам совершенно не для печати, а его приятель, молодой прозаик, написал предисловие, озаглавленное так: «К написанию разрешено». Мы часто, ругая чиновников, забываем, что к показу, к опубликованию очень многое было запрещено, но к написанию — разрешено. С фильмом гораздо труднее. Но он снят, и я вижу оптимизм этой истории. В конце концов судьба Эрнста, судьба вашего фильма, связанного с ним, не зависит от сиюминутной политической ситуации.

В. Б.: Не надо меня утешать.



ЭРНСТ НЕИЗВЕСТНЫЙ и папа ИОАНН ПАВЕЛ II. (Беседа по поводу статуи Либерти на Тайване. Эрнст дарит папе модель.)



Я свое дело сделал. У меня был безумно интересный год, и уже поэтому я счастлив. Но вот чем я был потрясен: ни одно издание не сообщило о выходе фильма на экран. Я обратился в газету «Советская культура», ведь прокатчик требует от меня информации: не пустим картину на экран, пока люди не узнают о ее существовании. А в газете говорят: мы не пишем о том, что не идет на экране. Что это? Лень, непрофессионализм или вечная наша российская расхлябанность?

Л. Ж.: Я не думаю, что в этом сказывается некое плохое отношение к Эрнсту. Мне кажется, мы еще не привыкли к тому, что общество сегодня равнодушно к искусству вообще. Например, мы жили в счастливую эпоху скучнейшего телевидения. В прошлом году я впервые купил телевизор. Раньше не испытывал никаких комплексов по этому поводу. Был

счастлив, что у меня свободные вечера. А сейчас постепенно превращаюсь в нормального стереонаркомана. Люди стали гораздо реже ходить в театр, да и на чтение остается меньше времени. Надо к этому привыкнуть. Это объективная реальность, с которой надо считаться...

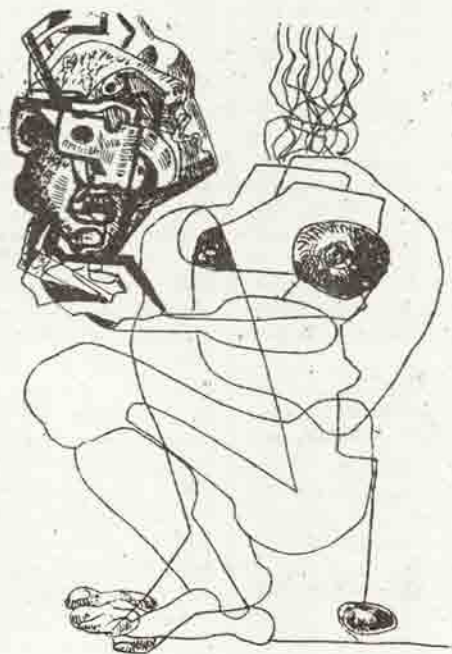
Сейчас можно ругать и чиновников, и критиков, которые не уделяют внимания Эрнсту. Но давайте смотреть на вещи реально. Одна из примет времени — газетно-журнальная критика стала очень откровенной, резкой, какой угодно, но перестала быть действенной. Мы с болью, медленно становимся демократическим государством. И нам пора привыкнуть к другим бедам: у нас искусство страдало от чиновников, а во всем мире искусство страдает от общественного равнодушия.

В. Б.: Нашего равнодушия вполне хватает, чтобы задавить

все начинания в зародыше. Чем грозит, не знаю даже, как назвать, равнодушное или же другое какое отношение к фильму об Эрнсте? Ни одна студия страны, кроме «Мосфильма» и «Ленфильма», подобной картины сделать не способна. Это фильм с декорациями, со специально написанной музыкой, со сложнейшей постановкой. После фильма об Эрнсте я решил взяться за постановку о Ростроповиче. Но «Мосфильм», вполне естественно, тратить на это деньги не захотел. Вот чем все кончается.

Л. Ж.: В таком случае давайте попробуем вспомнить не биографию Эрнста — в этом нет нужды, — а историю его отношений с обществом. Думаю, скульптурные работы его могли у нас выставляться и ставиться, не подрывая даже уродливых основ режима. Но дело в том, что скульптура — искусство, очень зависимое от властей. Это — дорогое

искусство. Скажем, можно написать повесть, положить ее в стол и ждать лет десять, когда ее напечатают. Нормальное явление для вполне благополучных писателей. Но скульптуру-то в стол не положишь! Чтобы ее установить на площади, нужно не только много средств, — предположим, коллективно мы могли бы такие средства собрать для скульптуры Эрнста, — но главное — разрешение ее поставить. А ведь Эрнст абсолютно был не способен просить, кланяться, угождать тем, кто распределяет заказы. Знаете, у меня всегда болела душа за скульпторов и художников. Почему? Я прекрасно понимаю, что у меня как у прозаика есть защита — читатель. Выпускается книжка, она раскупается, приносит прибыль тем, кто ее печатает, и тем, кто ее пишет. В какой-то мере мои издатели и даже режим зависят, например, от меня, потому что они меня



«стригут» и на это существуют.

В. Б.: Вы считаете, Эрнста неставлял, не давал ему жить и убрал из страны режим?

Л. Ж.: Конечно, Эрнст всегда остро чувствовал не просто свой талант, а огромный творческий потенциал и обязанности перед народом, человечеством. Какие это были обязанности? Главное — состояться как большому художнику, каким он и является. Если ему не давали работать в России по целому ряду причин, он должен был работать для человечества, для Родины, для своего народа там, где была возможность работать. Мне кажется, что его в эмиграцию вышвырнула именно эта ситуация.

В. Б.: Я много спорил с друзьями Эрнста, с крупными функционерами и пришел к выводу, который, кстати, подтвердили в фильме Карякин, Сергей Хрущев и сам Неизвестный. Эрнста выжил не режим. Его выжили коллеги. Коллеги, вот в чем дело! Именно они не выставили его работы. У меня есть книги Неизвестного по искусству, философии и просто о жизни, где он ясно и четко пишет, как это делалось. Травля началась с момента его поступления в художественное училище. Вероятно, на лбу у таких людей зажжен сигнал — «я вам чужой». Поразительно, как Эрнста исторгала среда с первых его шагов. На одном из комсомольских собраний училища ему предъявили обвинение в неуважении к своим товарищам. Суть претензии: когда давали задание выполнить одно упражнение, он делал пятнадцать. Эрнст подумал, что обвинение, построенное на такой нелепости, встретят хохотом. Но нет, оно вошло в протокол. Неизвестному инкриминировали безнравственность, пренебрежение обществом, в котором живет.

Л. Ж.: Мне кажется, причина не в обществе. Вспомним, что Эрнст стал широко известен после совершенно случайного разговора, когда он достаточно грубо оборвал невежественные рассуждения человека, не разбиравшегося в искусстве. И случайность, что этим человеком оказался тогдашний глава партии Н. С. Хрущев, у которого было много достоинств, но не было глубоких познаний в сфере изобразительного искусства. После этого случая Эрнст приобрел большую известность не просто как художник, а как личность, как диссидент, как протестант, и, к сожалению, это в какой-то мере заслонило главное в нем. Заслонило выдающегося скульптора. В таком двойственном положении он жил долго. С ним считались, его уважали, пересказывали без конца эту историю, но его не выставляли, у него не было возможности даже работать по-человечески. И Неизвестный оказался за границей, на чужой земле. В течение многих лет он делает то, что должен делать художник, — славить свою землю.

В. Б.: Вы говорите о случайной встрече с Н. С. Хрущевым. Не согласен. Была целенаправленная атака, спровоцированная, настроенная, запрограммированная идеологами и коллегами. Политическая ее направленность ясна: под Хрущевым рылась яма, с народом его уже поссорили. Поссорил аппарат. Но у него еще оставалась последняя опора — интеллигенция. Вот его и подставили. После истории в Манеже интеллигенция от Хрущева отвернулась. Потом был пленум по идеологии. Так вот, если поднять правду тех дней, в отчете пленума есть одна фраза, которую я с удовольствием сейчас расшифрую. Естественно, каждый зарабатывал себе политическое «карьерное» лицо,

и все лихо гарцевали по Эрнсту. Поскольку, как говорится, он высунулся, и других было бить неинтересно, самые большие дивиденды зарабатывались на избииении Неизвестного. Выступил, например, академик, известнейший скульптор, кстати, учитель Эрнста, у которого он много лет работал «негром». Академик особенно долго гарцевал по своему ученику. В перерыве Эрнст подошел к Фурцевой, тогдашнему министру культуры, и сказал: «Екатерина Алексеевна, можно мне хоть на минуту выйти на трибуну, я справку хочу дать». — «Смотря какую». — «Вот этот академик, мой учитель, мою последнюю работу купил для своей коллекции две недели назад за хорошие деньги». — «Ах так, — ответила она, — разрешаю». И в отчете пленума появилась фраза, что некоторые признанные лидеры искусства (правда, без указания имен) — академики, заслуженные художники — двуручничают перед партией и народом.

В нашем фильме сын Хрущева говорит о том, что Эрнста десятки раз приглашали президенты крупнейших стран мира — работать, читать лекции. А его не выпускали. Он хотел выезжать как советский гражданин, говорил: «Ткачи едут за рубеж за счет народа. Я за все сам уплачу, только дайте мне посмотреть, что в других мастерских происходит. Ко мне ездят, а я не могу». И тогда, как свидетельствует Сергей Хрущев, собравшись, «коллекты по искусству» пошли к Суслову и потребовали, чтобы Неизвестного не выпускали из Союза. Они боялись, и правильно, кстати, боялись, что Эрнст вернется домой на белом коне, и вот тогда-то они уже не смогут его раздавить. И по распоряжению Суслова ему не дали уехать с советским паспортом, вынудив эмигрировать.

Так что дело не только в режиме. Более того, Эрнст уехал в 1976-м, а начиная с 72-го (я знаю, потому что работал у него рабочим — фотографом) ему давали правительственные заказы и платили по тем временам солидные деньги. Я видел — извините, что говорю о таких вещах, — его сберкнижки. Вы правильно заметили, что скульптура стоит немалым дорогом. Так вот, например, в понедельник на книжке десятки тысяч, а в субботу — ноль. Все деньги уходили на приобретение бронзы, мрамора и пр. И это при том, что жил Эрнст на шести метрах в мастерской, имел один пиджак и одни брюки. Ему ничего не нужно было для себя лично.

Травля Эрнста облекалась в идеологическую форму. Хотя на самом деле коллеги Эрнста, кланусь вам, плевали на всякую там идеологию, на формализм и прочее. Они боролись за «пирог». А вот власти дали Эрнсту возможность осуществить огромную работу в Институте электроники в Зеленограде под Москвой, фасад ЦК партархива в Ашхабаде, участвовать в оформлении «Артека». Если его коллегам отливку в бронзу оплачивал МОСХ, а проще говоря, народ, то Эрнст вынужден был все оплачивать сам.

Эрнста в очередной раз решили исключить из МОСХа, который за все годы не дал ему выставить ни одной «картинки». Чем грозило исключение? Он должен был покинуть мастерскую, которую, собственно, и не МОСХ ему дал. По нашим законам, не будучи членом Союза, Эрнст не имел права арендовать даже подвал, залитый водой, по которому бегали крысы. На следующее утро после исключения Эрнст должен был выкинуть все свои работы в снег. Он кинулся к одному чиновнику в Моссовете. Тот снял трубку

и сказал: «Да вы что там в МОСХе, с ума сошли! Вам надо, чтобы Биби-си сегодня вечером говорило, что вы его на снег выкидываете? Немедленно восстановите!» Эрнст приехал в МОСХ, а ему говорят: «Мы тебя опять исключили — по звонку того же чиновника». Что это? Сознательная провокация! Эрнст говорил: «Не хочу уезжать по одной простой причине — я вырос из войны, я вырос из крови, все искусство мое состоит из этого. На Западе понимают мое творчество, но до конца его можно понять только здесь, в России».

После окончания работы над фильмом я встретился с одним из руководителей Союза художников, который сказал: «Ох, я наслышан о вашей картине, кончится лето, и начнем открытие сезона в Московском Доме художника с показа фильма о нашем коллеге». После этого приезжают из Дома художника на «Мосфильм» и просят дать на открытие какую-нибудь картину. Им говорят: в этом году для вас есть просто подарок — фильм о Неизвестном. «Нет, — отвечают, — дайте нам что-нибудь... из жизни отдыхающих». И до сих пор руководители Союза, зная о том, что существует фильм об их коллеге, молчат. (Но я все-таки надеюсь, что обновленное перестройкой руководство Союза художников повернется лицом к Эрнсту.) А молчат, потому что знают: самый верный способ борьбы не ругание — это тоже реклама, — а замалчивание. Они эту хитрость хорошо усвоили. Потому что возврат сюда, хотя бы в виде картины, тех людей, которых они умудрились отстранить от «пирога», для них страшен. Именно от «пирога», потому что их не волнуют проблемы искусства. Больше того, именно они по-прежнему ставят в трудное положение наше правительство, которое хотело бы

вернуть гражданство многим художникам. Демагогия, которую они умудряются внедрять в высокие инстанции, такова: вы поднимаете уехавших и делаете их героями, значит, мы, оставшиеся с вами... Самое интересное, что перестройка не смогла убрать нечистоплотных людей от рычагов власти. Эта среда страшно заразная. С ужасом наблюдал, как быстро прекрасные люди, пережившие самое тяжелое время и сумевшие «не замараться», попадая в эту среду и думая, что исправят положение, вдруг сами становятся такими же. Те же песни, то же поведение...

Л. Ж.: Хочу возразить по одному принципиальному для меня вопросу. Вы сказали, что Эрнста выжили из страны коллеги...

В. Б.: Руками режима.

Л. Ж.: Я прекрасно знаю историю, когда люди, которых вы называете коллегами, действительно натравили Хрущева на Эрнста. Думаю, им хотелось расправиться скорее не с Эрнстом, а с творческой эстетической оппозицией в собственном Союзе.

В. Б.: Безусловно, у них были свои локальные задачи...

Л. Ж.: В этом, наверное, все дело. Рассказывают, что Хрущев однажды спросил Твардовского о положении дел в литературе. В ответ Твардовский рассказал такую байку: «В лесу есть птицы певчие и птицы ловчие. Боюсь, что птицы ловчие у нас в Союзе писателей передумают всех птиц певчих». Не думаю, что «птицы ловчие и певчие» — коллеги. В чем наша жуткая беда? В том, что режим сам был во многом невежественный. Рядом с чиновниками государственными, дипломатическими, военными были чиновники и в искусстве. Некоторые актеры с удовольствием играли видных деятелей партии и государства

и получали так называемые «вождевые». Сыграл Ленина — получил Ленинскую премию. Вот такой прямой ход.

Эрнста, к сожалению, выживали настоящие коллеги. И талантливым людям, действительно живущим во имя искусства, порой бывает свойственна зависть. К огромному огорчению. Необычайно больно, когда талантливый человек препятствует другому талантливому человеку.

Самое главное, надо разделять коллег и неколлеги, художников и нехудожников. И, наверное, надо исключить влияние всякого режима на искусство. Потому что, пока оно есть, оно не может быть благотворно. Всегда найдутся люди, которые будут служить и исполнять любые прихоти любого режима и льстить ему, не важно, либеральный он или же консервативный.

В. Б.: Скажу о художественном мире, который я хорошо знаю. Не могу спокойно смотреть, как наше бедное, нищее государство бездарно тратит миллионы на искусство. Вот пример. По роду своей работы я часто нахожусь дома безвылазно. Пишу книги о художниках. И вот однажды, лет десять тому назад, в течение двух недель радио с утра до вечера сообщало, что в «Ударнике» демонстрируется фильм о Шилове. В течение двух недель! Я ничего не понимал. Никогда прежде не слышал этого имени. Почему фильм полнометражный? По радио же и узнал, что на улице Горького открывается его выставка. В день открытия, холодным зимним днем, я проходил мимо и увидел огромнейшую очередь, чуть ли не до Охотного ряда. Лишний раз восхитился силой радио и прессы. Я бы отстоял эту очередь, но, слава Богу, на мое счастье, в витрине были выставлены две или

три его картины. С улицы можно было их увидеть. Я посмотрел, рассмеялся и ушел. Но сегодня стала известна причина этого искусственного взлета.

В нашей стране, где, как мы сегодня наконец узнали, 40 миллионов живет за чертой бедности, тратятся миллионы на художников и скульпторов. Другой вопрос: на **каких** художников и скульпторов? Уверен, наш народ пришел бы в ужас, узнав, куда все это уходит. Пятнадцать лет я бываю в запасниках. Здесь, к примеру, можно обнаружить заказные портреты почти всех делегатов XXV съезда. Сумма выплаченных денег такова, что сердце останавливается. Причем уже на следующий день никто не знает, что с этими портретами делать. Вот так расходуются наши с вами деньги.

Эрнст правильно говорит о том, что подпись директора Худфонда за какой-нибудь там комплекс стоит зачастую десятки миллионов, а сам он получает 140 рублей. Выводы делайте сами. Может ли он нравственно отвечать за эти подписи?..

Л. Ж.: Мне рассказывал один человек, что закупочная комиссия после разных выставок приобретает картины, а поскольку хранить их негде, якобы по прошествии десяти лет...

В. Б.: Сжигает. Я свидетель.

Л. Ж.: То есть практически сжигают народные деньги.

В. Б.: Это правда. Знаете, что прежде всего сжигается? Вы, например, в одной комиссии, я в другой. Я у вас купил картины, вы у меня. А ведь бывают ревизии. Вдруг спросят: покажите, за что вы заплатили 18 тысяч?

Л. Ж.: Понятно, лучше сжечь.

В. Б.: Жена одного театрального художника случайно спасла работу его отца. Она пришла в тот момент, когда полотно уже бросили в кучу для сжигания.

Л. Ж.: Жутко. Хотя, наверное, многие художники пишут картины и с удовольствием продают, зная, что их потом сожгут.

В. Б.: По традиции в каждый сезон положено быть выставке. Чиновники, чтобы организовать сезонную выставку, обязаны поехать по стране, поискать, отобрать. А ведь это тяжелый труд. И вот в течение многих лет складывалась такая система. Зачем ездить, зачем искать? Хлопотно. Дают художнику деньги и говорят: напиши для выставки. Работа заранее уже договорная. И заранее халтурная, обреченная на уничтожение. Я задумываюсь, почему в том, третьяковском времени художники заранее получали деньги и писали хорошую заказную живопись. Вероятно, ответ — в качестве самого заказа. Во все времена существовал заказ, но его примитивная конъюнктурность, помноженная на равнодушие заказчика к сути предмета, губит дело.

Л. Ж.: Я тоже думал об этом. Ответ прост. Братья Третьяковы платили свои деньги, заработанные. Чиновники платят чужие.

В. Б.: Это одна сторона. Но меня больше всего волнует, когда картины отправляются в нищий, разваленный колхоз, и местная власть снимает в банке деньги со счета колхоза, заставляя насильно покупать работы, которые некуда ни везти, ни повесить. Они выбрасываются из окна прямо в лужу. А числятся за колхозом или еще за каким-то учреждением. Надо положить этому конец. Другой вопрос, какой человек или орган прекратит вакханалию, может быть, с этим разберется наш новый министр культуры, он режиссер и, что такое деньги, хорошо знает.

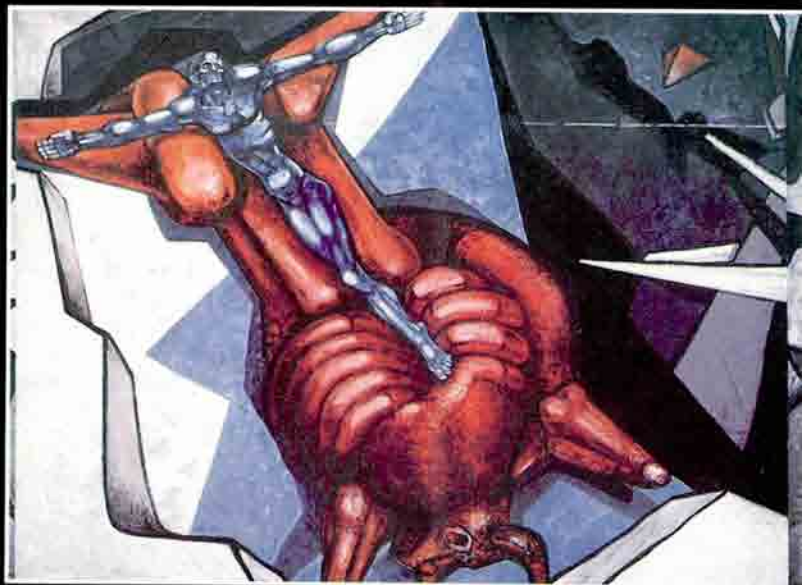
Жизнь Эрнста, несмотря на кажущееся благополучие, полна трагизма и не только в силу наличия

таланта. Крупнейший американский искусствовед Джон Рассел писал в «Нью-Йорк таймс», что «факел монументализма за четырехста лет цивилизации из рук Микеланджело передан в руки Эрнста». Так на Западе думают многие. Я не привел это высказывание в своем фильме, потому что избегал оценок, оставляя их зрителю. Известно, что, как правило, у каждого художника есть одна главная тема. Одна на всю жизнь. Эрнст продолжает развивать все то, что сформировалось здесь, в России, в этих подвалах. Нарастает форма, энергия, шлифуется мысль, масштабы, все это суть, зерно, заложенное на Родине. Он сумел прийти к победе, став известным во всем мире художником, не пойдя навстречу коммерческому искусству, выиграв битву «за лицо». Его работы продаются, выставляются, пишутся книги о нем, но до сих пор не осуществлен ни один из его глобальных замыслов, в которых было бы до конца проявлено его уникальное качество монументалиста. И в этом, как мне кажется, трагический оттенок его сложившейся биографии. Но, думаю, его замыслы осуществляются на Родине.

Много ли в стране современных скульптур на городских площадях? У нас, по выражению Эрнста, зачастую «площадное безобразие вместо монументализма». Масса металла, брошенная в пространство.

Л. Ж.: Вот вы здесь говорили о трагедии художника. Я, видимо, патологический оптимист. Мы говорим о художнике, который в большей степени состоялся в очень трудное время, и я считаю, что это в высшей степени факт оптимистический. Он всегда занимался тем, что грело его душу. И это — великое счастье.

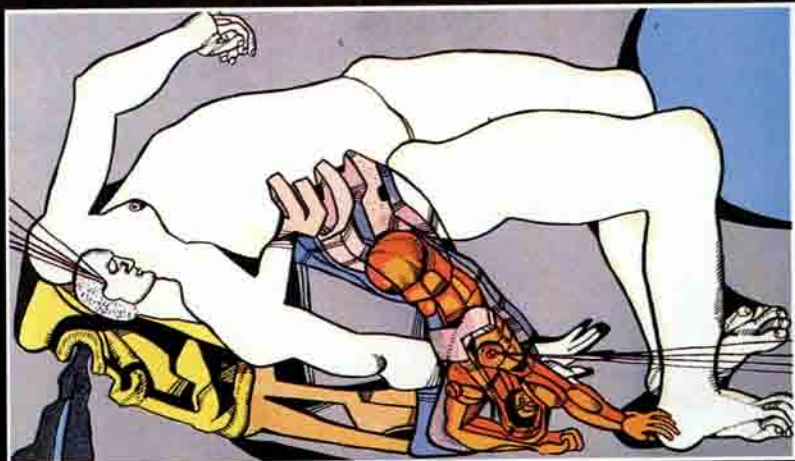
Записала СВЕТЛАНА ТОНИНА.



Элемент Мёбиуса. Древо жизни.



Диалог.



Похищение.



Я заглядывал внутрь человека. (См. «Лик — лицо — личина»).



Одиночество.

Распятие. Распятое материнство.



ЛИЖ- ЛИЩО- ЛИЧИНА

ЭРНСТ НЕИЗВЕСТНЫЙ

Нас трое — некто, я и все.

Я родился в Египте. Это я открыл Северный полюс. Я плохо помню, как строил пирамиды Мексики и Египта, хотя сухой и горячий песок пустыни до сих пор несмываем на моих губах.

Вырубленный мной для Александра Македонского, который тоже я, Пергамский фриз свеж в моей памяти. Пронзительно белел мрамор, из которого властно и упруго, как дельфины из моря, вырывалась напряженная плоть скульптур. Напряженная моим духом. Она взрывала упрямый камень. Множество рабов, исполнявших мою волю, казались нелепыми и чуть живыми среди яростных и нестерпимо белых титанов. Рабские влажные мослы и ребра, тонкие сухожилия и мышцы, черневшие под ультрамариновым, светящимся небом, казались вялыми.

Боги специально недовылепили

человека, чтобы я, я в мраморе мог довершить.

В детстве у меня была тайная страсть. Я часами смотрел на калейдоскоп намерзших на окно снежинок или ритмичный ток дождя. Надо было только не мигать и сосредоточиться, и тогда возникали живые картины.

Персонажи из библиотечки «Жизнь великих людей» возникали передо мной. Я персонифицировал себя с ними: то я был Руалом Амундсеном, то Васко да Гамой, то Пастером, вместе с Парацельсом сидел в темнице, страдал, сжигаемый на костре, как Джордано Бруно, мучился угрызениями Галилео Галилея. Проходил путь Линкольна и Спартака, освобождая рабов. Вместе с Дарвином совершал радостное путешествие на корабле «Бигль».

Животные из томов Брэма ожи-

вали. Красочные, гляцевые иллюстрации из многотомной, старинной, плетеной золотом монографии «Вселенная и человечество» становились явью.

Я видел множество стран, материков и даже бывал на других планетах. Я охотился на мамонтов и добывал огонь. Таинственные, мифологические знаки теософов возникали, переплетаясь с египетскими иероглифами, арабскими и древнееврейскими шрифтами.

Особенно увлекательными были путешествия в страну пчел, где путеводителем мне была книга Фабера «Жизнь пчел», а также в термитники и организованные до отращения иерархии муравьев. Став маленьким, как Гулливер, я проникал внутрь человека. Многокрасочные анатомические чертежи моего отца-хирурга помогали мне ориентироваться в сложнейшем храме человеческого тела. Внутри все светилось нестерпимо ярким, как бы я сейчас сказал, люминесцентным светом. Музыкально-ритмичная циркуляция крови, воздушная кинетика легких, могучая пульсация светозарного титана-сердца, мудрый и изощренный лабиринт кишечника, все подвижное, сияющее, музыкальное, фантастически многообразное человеческое устройство ошеломило меня и запомнилось навсегда.

Мои главные проекты: Площадь Мысли с головой-планетарием и мозгом-космосом, гигантомахия с ее бароккальным бионическим ритмом, Древо Жизни в форме разъятого сердца — есть попытки восстановить мои детские впечатления о Вселенной человеческого тела.

Постепенно я добился того, что мне не обязательно надо было смотреть на повторяемость дождя или снежного орнамента. Достаточно было сосредоточиться,

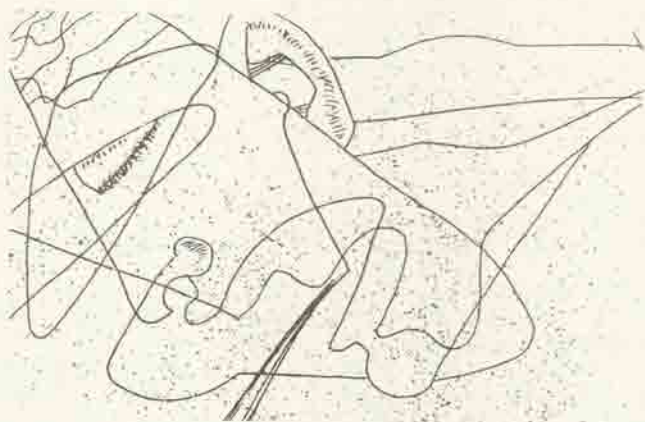
установиться в одну точку, и через некоторое время я начинал видеть, слышать и обонять проецируемые мной картины. Эту способность я сохранил и сейчас. Очень часто в больших компаниях я остро чувствую потребность увидеть что-нибудь из своего кино. Из-за этого меня обвиняют в невнимательности или высокомерии. В школе же меня обвиняли в тупости и даже ненормальности, хотя учился я хорошо. Но мне очень трудно было сосредоточиться, если педагог был нуден или предмет меня не интересовал. Я уходил, уходил из этого скучного класса, и иногда меня приводили в чувство, не понимая, что со мной: сидит с вытаращенными глазами — и не спит, но ничего не слышит, даже звонка на перемену. «Дикошарый»¹ тогда называли меня.

Я не знал, кем я хочу быть. Великим путешественником, великим врачом или химиком, возможно — великим художником. Сколько себя помню, я рисовал и лепил. Но в школьном детстве подвиги науки и путешествия больше всего привлекали меня.

Быть великим для меня не значило быть знаменитым, богатым, властвовать над людьми. Нет, наоборот. Опыт великих людей и мучеников науки говорил о подвигах, трагедиях, жертвах, но не о внешних жизненных успехах.

Итак, я хотел во что бы то ни стало быть великим. Эта мысль не давала мне покоя. Я закалял волю, загоня себя в темные и страшные комнаты; прыгал с заборов и крыш, чтобы проверить — смел ли я; побрил голову и поливал ее ледяной уральской водой, чтобы приучить себя выдерживать

¹ «Шары» — глаза.



пытки, в результате чего получил воспаление височного нерва и долго ходил с перекошенной мордой.

Заставлял себя копировать череп и кости, в то время когда мои товарищи по художественной школе наслаждались, изображая прекрасную уральскую природу, или просто резвились в парке.

Дал себе слово никогда не врать и протестовать против лжи. И это роковое решение довело меня до нервного стресса из-за легкомыслия взрослых, привыкших всегда врать по пустякам и не придававших этому никакого значения.

Именно в этот период я впервые почувствовал вздорность, условность и фальшь человеческих взаимоотношений, в основном построенных на лжи и умолчании. В общем, я изводил себя. Даже в трамвай не садился нормально.

Я давал ему отъехать, а потом мчался за ним: догоню — буду великим, не догоню — не буду. И все во имя взрослого будущего, к которому я готовился и которое постоянно занимало мое воображение. Увы, я не был беспечным мальчиком. В тех фрагментах моего фильма, который я посвящал своему будущему, я многое провидел. Те же события, те же места, мной были встречены уже знакомые мне люди. Но в моем мальчишеском кино будущее виделось грозным, ярким, значительным. В реальной же жизни, став настоящим, превратилось в пошлую карикатуру.

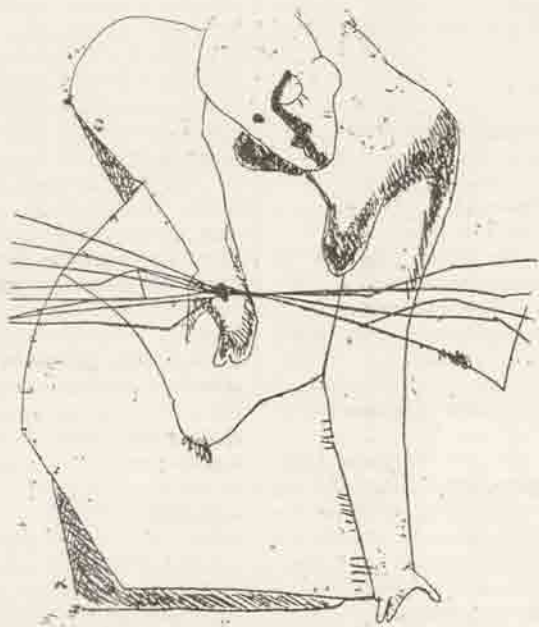
В Древнем Риме за телом умершего императора следовал паец в маске, пародийно имитировавший манеры покойного. Это была личина лица. Моя реальная жизнь похожа на провиденную мной в юности, как паец на мертвого императора. Мистерия преврати-

лась в фарс. Сейчас я у окна, но с другой стороны, и мой большой, много раз сломанный нос расплюсчен о стекло. Оттуда, расплюсчив свой стройный носик, выглядываю я, маленький и чрезвычайно умный, и зовут меня Эрик. Почему меня назвали Эрик? Мама пела: «Эрик светлоокий, Дании король». Может быть, она тайно была влюблена в давным-давно умершего датского короля. Эрик с сожалением смотрит на Эрнста. Эрик стал Эрнстом, когда повзрел.

Окружающим имя Эрик казалось несерьезным и чересчур детским. Итак, Эрик с сожалением смотрит на Эрнста, а Эрнст на Эрика — с уважением и грустью. Все, что может Эрнст сказать Эрику: «Поверь мне, Я остался таким же, каким был. Я люблю все то же, что и ты. Те же книги, те же герои. Но жизнь, оказалось, не соответствует нашим представлениям,

В ней нет места героическому. Я не изменил тебе, Эрик, хотя во мне ты можешь не узнать себя взрослого. Да и я, когда смотрю в зеркало, не узнаю себя. И дело не в том, что моя шея высохла и стала немного короче, мне на войне вышибли межпозвоночные диски, и оказалось, что мою гордую голову я носил не на плечах, а на заду. Зад через позвоночник потянул череп вниз, вдавив деформированную башку в плечи. Ничего, что мне неоднократно поворачивали ударами нос, справа налево и слева направо. И отсутствие нескольких ребер скособоило меня, и весь мой облик порядочно измят, ты ведь знаешь, Эрик, что я к этому и даже к худшему был готов.

Самое худшее, что я поглупел, поглупел до неузнаваемости, и это наложило печать на мое лицо, превратив его в личину.



Да, ты, мальчик, был гораздо умнее меня. Что такое наш взрослый опыт? Это целенаправленное поглупение, это измена реальности, когда несущественное, неинтересное, дробное, но нужное для того, чтобы выжить в стаде таких же, как ты, взрослых кретинов, знание заслоняет мудрость юности, которая нам, взрослым придуркам, кажется наивной и смешной.

*Ночью играли сказки
Между супов и кастрюль,
В линкой оконной замазке
Мазали дымчатый тюль,
Музыкой, светом и тенью,
Отблеском солнца и дня,
Искрами привидений
Наполнилась наша кухня.
Примус украшен мерцающим,
Светом из яркой дуги,
И в золотистом тумане
Важно плывут утюги.
Но к непрактичным предметам
Кухня совсем холодна,
Жирным презрением одета
Миска до самого дна.
Примус сказал: «Удивительно»,—
А примус совсем неглуп,
Если так ярко горите Вы,
Зачем же не варите суп?
К звездам он очень строг.
«В Вас экономии нет,
Раз керосин так дорог,
Зачем же Вы жжете свет?»
Сказки глаза опустили,
Звезды в смущеньи потухли.
«Здесь нам не место»,— решили
И улетели из кухни.*

Эти стихи были написаны тобой около 9 лет.

Дня — кухня — странная рифма. Не обижайся на меня, это плохие стихи, но ведь ты никогда и не собирался стать поэтом. Из большой кухни повседневности не так-то легко улететь. И поверь мне, что я делал и делаю

все, чтобы не превратиться в скучного, взрослого, умного дядю.

Я бежал от повседневности, я бежал от взрослой осторожности, через дом, школу, болезни, фронт, ранения, голод, успех, через ложь и правду, через города и страны. Сейчас бегу через Америку. Бегу к себе, то есть к тебе, Эрик. Но кухня, которая дышит своими наставлениями, она еще не догнала, но уже огрубела, опростила меня. Видишь, какая надета на меня морда. В кино, которое я хочу показать тебе, ворвется хамство жизни. Прости меня. Давай посмотрим наше кино с двух сторон одного окна. Пусть одновременно две пленки крутит полупьяный механик — время, и не важно, что многое не всем будет понятно и интересно, а многим покажется плоско и пошло. Мы же, Эрик и Эрнст, разберемся. В Америке множество монстров, сонм масок из современных страшных и забавных сказок. Имена и образы этих существ стали символами и вошли в жизнь детей и взрослых, как когда-то «мальчик с пальчик», «конек-горбунок», домовые и баба-яга, великаны и карлики.

Сонм смелых мышат, лягушат, котят, зайчат и ежат, тебе знакомых по сказкам дедушки Римуса. Полчища гномов и других фантастических милых существ, рожденных Диснеем. Гномы и великаны, машины и человечки, гибриды, современные донкихоты и супермены, защищающие людей и друг друга от трогательных в своем гротескном безобразии Дракул, Франкенштейнов и других злодеев. Мифотворчество, переплетенное с коммерцией. Я люблю эти существа, я готов защитить их от интеллигентского, импотентного снобизма, кривящего свои синие губы в неплодотворном скепсисе.



О, как я жалею, что ты, Эрик, не мог увидеть их. Они бы порадовали тебя, как здесь они развлекают детей и меня. Но сейчас я думаю о других монстрах — монстрах скуки, с которыми меня столкнула судьба. Которые обкрадывали тебя в детстве и, продолжая бандитствовать, украли у тебя жизнь, украли нормальное дыхание. Кто они? Роковые злодеи? Нет. Фанатики революции? Нет. Кто же они? Они — выросшие до гигантских размеров обыватели. Я припоминаю их ординарные ряшки, их слюнявые рты, их потасканные, бесцветные, пустые глазишки. Я представляю их кривые ножки в импортных носочках, их крестьянскую торчащую пуповину на откормленных животах, их ленивые руки, их складки на шее, их толстые уши неблагородных существ. Это нелепые сморчки природы. Это бастарды времени, которых потаскуха-история подобра-

ла с помойки. Только благодаря невиданным обстоятельствам, когда любое человеческое качество — гладкая кожа, или быстрота ума, или блеск глаз, или талант, любой талант: прекрасно поставленный голос или умение рисовать, ораторское или политическое дарование и даже веселая хитрость — все стало отвратительно в самоорганизующейся машинной системе. И полезли эти уродцы из унитазов, со всех помоек страны. Поползли эти глисты-пожиратели. Эти толстоязыкие, которые не могут выговорить ни одного слова нормально.

Кто они, эти люди? На каком языке они говорят? На крестьянском? Нет. На языке рабочих? Нет! На интеллигентском? Нет! Это язык рвани, которая после революции добежала до города, а в город еще не была приглашена и допущена и потом прокралась во времена термидора. Это пивная

пена, это отстоявшаяся вода в алкоголе.

Вот кто они. Но им следует отдать должное. Они по-своему и для себя неглупы. У них есть голова. Им голова дана для того, чтобы ею есть. Все многообразие живой жизни они свели к простейшему: «Чтобы ели бы, да пили бы, да спали бы, да срали бы, да больше бы не делали ни-че-го».

Но «ничего» не дается даром, и им пришлось поработать: убивать, запрещать, не пущать. Они отняли все у всех. Они отняли жизнь у миллионов, фантазию у детей. Они изнасиловали и опустошили богатейшую страну, растлили и опозорили умный народ. Они пытаются насиловать весь мир. Ради каких идеалов? Ради каких подвигов? Может, ради утопического мирового коммунизма? Чушь! Вот уж во что они меньше всех на земле верят. А тех, кто верил, они давно упрятали, чтобы те своим романтическим вздором не мешали им жевать. Так, может быть, ради своих жен или матерей и отцов? Нет! Когда надо было, они от них с легкостью отказывались и сажали в тюрьмы. Может, ради избалованных дочек и развратных сынков, ради будущего своих внуков? Нет! Они знают, что после их смерти будущее их помета весьма сомнительно.

Что же, просто из животного инстинкта самосохранения и материального благополучия? Да! Из всех качеств у них до предела развито чувство биологического самосохранения и жевательный и хватательный рефлекс. Да! Они взяли себе жратву. Да, они взяли себе штаны, машины и дачи, куда поместили свои сплюснутые от сидения в креслах зады. Они ходят по трупам просто ради сохранения своих геморроев и мешан-

ских соблазнов. Власть им нужна не для того, чтобы что-либо свершить, а для того, чтобы есть и спать. И если заглянуть в их нутро, то там в пустоте сидит крыса, выращенная до размеров слона.

Это-то и дает им силу насиловать людей, насиловать природу и верить в то, что они смогут изнасиловать весь мир.

Я совершил множество подвигов, но без моего участия выросло и распространилось несколько восхитительных религий. Не во сне, как Наполеон, а наяву, я ездил на белом слоне и придумывал новую. Я создал ряд величественных и изящных теорий о макро- и микрокосмосе, не до конца, но всегда оригинально-противоречиво, но всегда верно я объяснял природу человека, Вселенной и Бога. Изобрел и сконструировал множество полезных и прекрасных машин. Спасал людей от заблуждений, забот и болезней. Спроецировал и построил для них великолепные города, которые украсил необузданно-страстными и гармонично-изысканными, нежными изображениями. Словом, совершил столько всего возвышенного и нужного, что на перечисление только небольшой части моих трудов понадобилось бы в миллионы миллионов больше бумаги, чем на многовековую отчетность всех бюрократов вселенной. <...>

Газетное сообщение. Скульптор Эрнст Неизвестный, желая покончить самоубийством, выстрелил себе в правый висок. Пуля, пройдя через голову, не повредила ни мозга, ни тканей. Жизнь скульптора вне опасности. На вопросы корреспондентов, что побудило его сделать это, он ответил: «Я ставил эксперимент». И это была правда.



НЛО: СЛЕД

264

ЭКСПЕДИЦИЯ
ЖУРНАЛА
«СМЕНА»
И
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
АССОЦИАЦИИ
«АРГУС»

Что же все-таки стоит за НЛО?..

Межзвездные посланцы суперцивилизаций или признаки параллельного мира?

Психическая экзальтация, причуды подсознания или некие природные явления?

Козни сатаны, бесовские штучки или?..

Гадать, распаляя воображение, как это уже не раз было, можно сколько угодно, а можно, напротив, делать вид, что ничего такого не происходит и нас это не касается: не пристало-де серьезным людям реагировать на всяческие бредни...

Можно, но нужно ли? Потому журнал «Смена» и Ассоциация «Аргус» и приняли решение провести комплексную экспедицию, которая, побывав в центральных районах Европейской части, южных районах СССР, на Дальнем Востоке, рассмотрит и проанализирует факты, связанные с НЛО. В экспедиции примут участие и окажут научно-техническое содействие ученые и специалисты Института нормальной физиологии имени П. К. Анохина, Всесоюзного научно-исследовательского центра по исследованию свойств



поверхности и вакуума, Московского института нефти и газа имени И. М. Губкина, Московского технологического института, МГУ, Института проблем нефти и газа, Центрального аэрогидродинамического института... Кроме того, в экспедиции участвуют профессиональные художники, психологи, журналисты.

«Смена» расскажет о ходе экспедиции, материалы ее будут отражены не только на страницах журнала, но и в специальном альбомном издании.

И последнее. Экспедиция — дело хлопотное, требующее не только энтузиазма, но и предприимчивости. Так что ждем деловых предложений от спонсоров, которые могли бы помочь как самой экспедиции, так и выпуску альбома. Для тех, кто готов оказать содействие, сообщаем банковские реквизиты Экологической Ассоциации «Аргус»: ее расчетный счет — 345016 в Коммерческом банке «Диалогбанк», корреспондентский счет — 161625 в МГУ Госбанка МФО 201791.

ИГОРЬ ТАЛЬКОВ:

Круговорот

ФОТО ЕВГЕНИЯ СТЕЦКО

— Давайте начнем с анкетных данных.

— Мне 33 года, родился в городе Щёкино Тульской области, что в семи километрах от Ясной Поляны, женат, имею сына 9 лет. Закончил музыкальную школу по классу баяна, учился в Педагогическом институте и Институте культуры, но ни тот, ни другой не закончил...

Мой дед и отец — коренные мо-

сквичи, а родился я в Щёкине, потому что отец был репрессирован: двенадцать лет провел в Сибири, в Орлово-Розово.

Когда вернулся в 53-м году, ему запрещено было проживать в столице. Вот он и поехал за 200 километров от Москвы и там осел. Ну а я вернулся в столицу.

— Родители по-прежнему живут в Щёкине?



— Отец умер, а мама живет у меня.

— Как начинался твой творческий путь?

— Где-то в 73-м году начал писать песни — работал барабанщиком, гитаристом, клавишником в разных группах. Служил в армии... Сотрудничал с группами «Апрель», «Калейдоскоп», «Вечное движение». Делал аранжировки многим известным группам, в частности Стасу Намину... Одно время работал в музыкальном театре Маргариты Тереховой.

Постоянно старался сделать свою группу и пробиться в качестве автора-исполнителя. Но у меня ничего не получалось. На худсоветах объясняли, что я не член Союза композиторов, не лауреат, не дипломант, да еще и специального образования у меня нет. В 1986 году я пришел в группу Тухманова «Электроклуб», надеялся, что Тухманов мне поможет пробиться как автору-исполнителю, но петь приходилось только его песни. Я много работал в качестве аранжировщика «Электроклуба» — отравился этим делом намертво. Даже сейчас не могу себя заставить сесть и делать аранжировки к своим песням... В общем, когда понял, что все останется по-прежнему и исполнять буду только песни Давида Тухманова, я ушел из группы...

Как раз начиналось кооперативное движение. Я устроился в «Досуг» Перовского района и начал потихоньку исполнять свои песни. По две-три в разных программах... И пошло-поехало. Надо сказать, помогла песня «Чистые пруды», хотя одно время я был расстроен таким успехом — после исполнения песни меня воспринимали только как «лирического героя». На концертах публика неизменно требовала «Чистые пруды»,

а когда я начинал петь иное, острое, свое, большинство зрителей просто недоумевало.

В прошлом году Владимир Молчанов совершенно неожиданно для меня прокрутил в программе «До и после полуночи» песню «Россия». И еще более неожиданно, что именно эта песня «раскрутилась», стала популярной... Мне ее запрещали исполнять, впрочем, не только ее... Во время гастролей у местных властей она считалась самой крамольной...

— А теперь самая популярная?

— А теперь популярная. Вот в общем-то и весь мой «музыкальный путь».

— Большинству ты известен как певец, меньше как композитор, еще меньше как автор текстов. Всегда ли ты пишешь тексты сам?

— К своим песням всегда.

— А кто, кроме тебя самого, исполняет твои песни?

— Леонтьев несколько: «Память», «Друзья-товарищи», «Люди с забинтованными лбами», «Примерный мальчик». Это я знаю точно... Но, судя по тому, что в ВААП приходят какие-то авторские гонорары, исполняют довольно много.

— Это процесс стихийный или ты пишешь «на заказ», специально?..

— Нет, я написал «специально» за свою жизнь только одну песню — «Нон-стоп» — для танцевального трио «Экспрессия». Обычно же пишу для себя. Но то, что у меня берут, отдаю охотно — песен много, все не перепеть, хотя меня часто в этом упрекают.

— Причина твоего успеха точно резонирует с пульсом времени. А как ты считаешь, смог бы самореализоваться, пробиться, если бы не перемены в нашем обществе?

— Когда прозвучали «Чистые пруды», меня начали атаковать со всех сторон как «лирика». Члены Союза композиторов, включая тех, кто «дробил» меня на конкурсах до 1987 года, звонили много и настойчиво: предлагали исполнить их творения. Причем уже в готовом варианте — только голос наложить. Звонили все, начиная от Фельцмана и заканчивая Матецким. Но... только с лирикой. ЦТ предлагало сниматься чуть ли не каждый день — и «Утренняя почта» и «Взгляд», — но только с лирикой. Я отказался, потому что к тому времени у меня накопился песенный багаж, волновавший меня намного больше. Я просто стал ездить по стране и петь их...

— И все-таки, возвращаясь к вопросу о самореализации...

— Наверное, покажусь самоуверенным, но я всегда твердо знал — я «реализуюсь», знал, опять же, что у меня есть сильные песни, и если они «пойдут», успех будет. А они не могли не пойти, потому что процесс гласности необратим. Во всяком случае, пока... И даже той полугласности, которую мы имеем сегодня, было достаточно, чтобы социальные песни стали популярны. Меня предупреждали друзья, знакомые... Мама заставляла клясться, что не буду исполнять этих «опасных» песен. Приходилось маму обманывать — говорить, что не буду их петь. А сам исполнял... Брат постоянно говорил, что меня арестуют. И каждую новую песню приходилось защищать от родных и близких, а потом уж перед властью имущими.

Но я не верил в возможность официального запрещения и продолжал идти той же дорогой...

И считаю, что кое-чего достиг на данном пути.

— Как строится твой концерт?

— Из двух отделений. Первое — песни гражданского направления, второе — лирическое, развлекательное. В начале концерта, в его первой части, я «нагружаю» слушателей, а потом даю им расслабиться, отдохнуть.

— И как? Пользуется ли такая программа успехом?

— В принципе да. Что касается успеха вообще, в моем понимании его еще нет. Много нужно сделать, чтобы настоящий успех действительно пришел. А сейчас, мне кажется, я нахожусь на стадии определенной известности — не более...

— Ты говорил, что перед тем, как показывать песню широкому кругу слушателей, показываешь ее своим близким. Какие у тебя отношения с родными?

— Хорошие. Они меня слишком любят, чтобы спокойно дать работать. Порой такая опека мешает... Мама приходит на мои концерты, и я вижу, что, с одной стороны, ей нравится, а с другой — она боится.

— Может быть, это из-за судьбы твоего отца?

— Может быть. Жизнь его здорово наказала: получил он «за просто так» десять лет, потом еще два года добавили за то, что приехал в Москву, а это было запрещено...

Отец ей строго-настрого запретил рассказывать что-либо нам с братом, но я считаю, что он был не прав. Правда, маму иногда прорывало. Я помню, когда учился в десятом классе, мы с ней очень круто схватились насчет Брежнева. Я к Брежневу относился хорошо, верил в светлые идеалы, причем по-настоящему верил, а не просто так... (Об этом, кстати, написал в песне «Примерный мальчик», там есть такие слова: «Читал я правильные книги, как образцо-

вый пионер. Учителя меня любили и приводили всем в пример». Все это автобиографично.) Однажды я писал сочинение, связанное с «Малой землей» Брежнева, мама не выдержала и сказала все, что думает о «пламенном борце за мир». Я вспыхнул: «Мама, если я еще раз услышу от тебя подобные слова, уйду из дома».

— Когда же у тебя, столь примерного гражданина, наступило «прозрение»?

— Глаза открылись довольно скоро, практически сразу после окончания школы. С тех пор своей позиции не менял.

— В связи с чем произошла эта метаморфоза?

— Учась в школе, я был очень занят, занимался спортом, музыкой, учился. Все было налажено, жизнь шла относительно гладко. А когда закончил школу и начал наткаться на «настоящую жизнь», пришлось задуматься: почему в учебниках одно, а в жизни другое... Попав в армию, в стройбат, окончательно прозрел. Командир части посмотрел на мои руки, на музыкальные пальцы и сказал: «Я из тебя человека сделаю». Эту фразу запомнил на всю жизнь.

Начал он из меня человека делать — на свинарник, лед колоть, дрова грузить, кирпичи бить и т. д. Работали без меры и без логики, порой без особой пользы. Поскольку армия очень хорошо отражает процессы, происходящие во всем обществе, я начал многое понимать. Часто схватывался с замполитом — и в этих полемиках (которые мог себе иногда позволить благодаря тому, что меня уважали: я в художественной самодеятельности участвовал) часто загонял его в угол простой логикой. Он не отвечал, потом конфиденциально говорил: «Я все понимаю, но что делать? Снять погоны

и идти на завод? А семья?! А зарплата?! А квартира?»

— Что ж, довольно типичная судьба советского музыканта. У каждого, конечно, все складывалось по-своему, но, так сказать, по духовным этапам — полное совпадение. А кем ты себя считаешь — рок- или поп-музыкантом?

— Не знаю. Честно. Меня как-то окрестили в «Московском комсомольце» рок-бардом. Довольно неожиданно. Я все хотел понять, что же это такое... Потом повторила другая газета, где-то на афише написали. Короче, за мной закрепилось клеймо: «рок-бард». По духу, наверное, я — в рок-музыке. Но что касается музыкальных стилей — не знаю точно, в каком работаю: например, у меня регги сочетается с электропопом и т. д.

— Я имею в виду другое. Когда говорят о тебе, то непременно Талькова ставят в один ряд с Николаевым, Кузьминым, Минаевым, то есть в ряд эстрадных артистов, поп-артистов... но когда в один ряд с Цоем, Шевчуком, Кинчевым — наиболее интересными рокерами...

— Видимо, потому, что меня знают больше как эстрадного певца.

— Это тебя расстраивает?

— Нет, нисколько. Меня расстраивают вещи более, на мой взгляд, серьезные. Расстраивает, когда мешают работать, не дают заниматься творчеством, выступать.

— А кто мешает?

— Сейчас уже не мешают — после того как прошла «Россия», стало намного легче. Перестали приходить посланники отделов культуры, обкомов и горкомов. Перестали требовать документы о «литовании» программы, спрашивать, кто разрешил... «Россия» закрыла этот этап. Когда я получил за нее диплом, все вопросы отпали.

— А кто ближе по духу из наших рок-музыкантов?

— Очень люблю Шевчука, Цоя, уважаю Кинчева, «Наутилус Помпилиус»... Сейчас появилось много новых музыкантов, но я, к сожалению, не имею достаточно времени, чтобы следить за всеми новинками: съемки, записи, концерты происходят одновременно. Куча дел! И группу надо кормить — я ведь сам себе менеджер...

Что касается эстрадных исполнителей, нравится Кузьмин, хотя ранний Кузьмин ближе, нежели сегодняшний. Пугачева? К ней тоже изменилось отношение: если раньше принимал все, что она пела, то теперь далеко не все. Нравится, как поет Серов, считаю, что он классный эстрадный певец. Пресняков-младший, Крис Кельми, Долина, Леша Глызин.

— Сейчас большинство музыкантов стремятся выступать за рубежом...

— У меня тоже много подобных предложений. Но я отказываюсь: слишком долго моя группа сидела на голодном пайке — нужно дать ребятам возможность заработать на инструменты, «эффекты», мониторы, машины, наконец. Когда группа будет в порядке, наверное, начну ездить за границу. Я отказался от сольных выступлений в СФРЮ, Венгрии, ФРГ, сейчас приглашают в Лос-Анджелес. Тоже, видимо, откажусь, у меня в это время съемки в кино.

— А что ты делаешь в кинематографе?

— Есть несколько фильмов. В одном выступаю как композитор и снимаюсь с группой — фильм о московском рэжете. Другой — исторический, по известному роману Алексея Толстого «Князь Серебряный» — там я должен играть главную роль. Не знаю, что из этого получится... Первая попытка сыграть настоящую роль в кино.

Было неожиданно несколько предложений: сыграть первопечатника Ивана Федорова и какого-то анархиста... Дело в том, что все происходит в одно и то же время. Прямо голова лопаается, как все совместить.

— Как ты относишься к политизации, захлестнувшей наше искусство в последние годы?

— И положительно, и отрицательно. Меня, например, иногда обвиняют в конъюнктуре. В принципе люди вполне так говорить, потому что шквал «социальных» творений сейчас силен и велик... Я считаю, что есть три категории исполнителей «политических песен»: первые — те, кто просто хочет сделать деньги на модной теме, — их я глубоко презираю; вторые — кто отдает дань ситуации в стране, общественным настроениям, и третьи — люди, у которых сердце болит от того, что происходит...

— А тебе никогда не приходила мысль уехать за рубеж навсегда?

— Нет. Хотя у меня была такая возможность. В 1979 году я работал в Госконцерте с испанским певцом Мичелом в качестве бас-гитариста. Была в нашем коллективе переводчица, старшая группы. Она предложила мне уехать с ней в Португалию, но я отказался.

— В то время, учитывая твоё положение и состояние, было сложно отказаться от такого предложения?

— Может, покажется бравадой, но я к своей земле прикипел, всеми жилами, всеми нервами привязан. И никуда не уеду, что бы здесь ни случилось. Если завтра, например, будет поворот в обратную сторону, видимо, просто уйду в лес, выкопаю землянку, куплю автомат и буду там жить, но отсюда не уеду!

Одно время я работал в Сочи, в ресторанах...

— Извини, что перебиваю, но как тебя туда занесло?

— Группы, в которых работал, часто расформировывались. Как только начинал исполнять свои песни, сразу начинались неприятности. Приходилось подписывать свои песни примерно так: музыка Оскара Фельцмана, слова Льва Ошанина. Никого, наверное, из наших композиторов не забыл... Но потом меня раскусили. Был приглашен на «ковер», где мне популярно объяснили, что если я еще раз таким образом схитрю, то дисквалифицируют.

В такие периоды я уходил работать в ресторан или по всяким «светлячкам», «пирожкам» и прочим точкам общепита. А что делать? Нужно было как-то жить, на что-то существовать... Я ж больше ничего не умею, а как аранжировщика меня тогда еще не знали.

Так вот, возвращаясь к разговору о ностальгии. Помню, надолго застрял в Сочи — приехал в мае, а уехал в декабре. Дождался осеннего конкурса «Сочи-82», чтобы получить хоть какое-нибудь лауреатство. Дождался, как оказалось, совершенно зря — «вырубили» уже на первом туре... Но еще до первого тура мне запрещал участвовать в конкурсе... Сочинский исполком. Я позвонил Иосифу Кобзону и попросил помочь — он бывал у нас в ресторане. Он помог — устроил, будем так говорить, на этот конкурс под номером 54-а. Нумерация исполнителей была нарушена, потому что у каждого был свой порядковый номер: 52-й, 53-й, потом шел 54-а и просто 54-й... Но это никак на мою судьбу не повлияло...

У нас в ресторане после конкурса сидели члены жюри — Баснер, Фрадкин... Они меня подозвали к своему столу. Баснер предложил сесть, рассказал, какой я хороший, какой талантливый... Но

попал не на тот конкурс; мне нужно ехать в Кисловодск, на рок-фестиваль в следующем году, и они мне в этом помогут. Дескать, давай выпьем, и все будет хорошо.

— В общем, получилось как в воду глядел.

— После Сочи я так не думал, дела пошли из рук вон плохо. Не было возможности работать. Решил вообще завязать с музыкой и уйти в таксисты. Ходил в парк, узнавал, как получить права, какие заработки... Беспросвет был полный: я понимал, что чужих песен петь уже не могу. А свои петь не давали...

— Будешь ли дальше разрабатывать залежь политических тем или, может быть, займешься чем-нибудь иным? Ведь в нашей жизни существует еще масса проблем, например, экологический кризис.

— Есть у меня песни и об этом. Давным-давно написал «Маленькую планету», после того, как прочитал книгу германского астрофизика Фридриха Бошке о состоянии нашей планеты. Тогда, в 80-м году, я понял, что Земля находится просто в страшном состоянии. Так что волнует и эта тема, но пою в основном о том, что тревожит больше всего в данный момент. А сегодня голова болит от политической ситуации.

— А любовная тема? Разве это не перманентная причина страданий артиста?

— Песни о любви украшают концерт... Лирика всегда присутствует. Я живой человек, и мне странно видеть певцов, которые не поют о любви.

...Когда меня перестанет остро волновать политика, я буду петь песни философской направленности: что такое сон, жизнь, космос. Просто человек всегда стремится к познанию жизни, мира...

— Почему даже при исполнении забавных песен, шуточных у тебя всегда хмурое, неулыбчи-

вое лицо. Это что, имидж такой или черта характера?

— Дело в том, что я по натуре пессимист. Однако мне не чужды шутки и юмор. Люблю посмеяться, над собой в том числе. Например, песни «Рыжий», «Примерный мальчик» — иронический взгляд на самого себя...

Пою, как чувствую, и никогда не думаю над тем, как должен выглядеть на сцене: вот здесь улыбнуться, а здесь оскалиться, здесь заплакать... Всегда импровизирую, иду от внутреннего состояния.

— Ты назвал себя пессимистом. Значит, не веришь в светлое будущее?

— Одно время я серьезно занимался астрологией и сейчас продолжаю совершенствовать свои знания... Различные веды, провидцы, составители гороскопов утверждают, что наша планета выбилась из общего ритма жизни вселенной из-за того, что сюда проникла космическая черная сила, которая несет только разрушение. То, что называют Сатаной, Дьяволом, Люцифером, и есть черная сила. Белая сила тоже, конечно, существует и называется Богом или силой космического разума. Но она, так сказать, общая — на всю вселенную, и ей очень трудно пробиваться к Земле... Поэтому неизвестно, что нас ждет, но планету лихорадит... Мы слишком много думаем о технике и совсем забыли о душе. Черная сила моментально реагирует на любой душевный всплеск и старается его задушить.

— Ты серьезно во все это веришь? Черные силы, тарелки, инопланетяне?

— Конечно!

— А почему ты улыбаешься?

— Мне часто приходится спорить об этом. Многие меня даже сумасшедшим считают. Но я уверен...

— Веришь ли ты в светлое будущее для одной, отдельно взятой страны?

— Нет. Люди искусственно разделили планету на страны, системы... У меня есть трилогия «Дед Егор», написанная давным-давно... Фабула ее такая: старый большевик попал в опалу, запил и «прозрел». Смотрит он из окна на улицу, на людей и рассуждает: о границах, о своих и чужих, о том, что все ощущают боль одинаково, одинаково радуются. У всех одна голова и пять пальцев на руке, а мы все стараемся разделиться, размежеваться...

Однажды я прочитал «Деда Егора» на дискотеке в клубе «Наука», после этого директора клуба сняли, а меня ни на какие дискотеки не приглашали...

Я не верю в процветание одной страны или нации за счет других. Расцвет либо будет общим, либо не будет его вообще.

— Займемся простой информацией. Итак, твой любимый напиток?

— Шампанское. Но это умозрительно, поскольку пить мне вообще нельзя.

— Твоя любимая зарубежная группа?

— Трудно сказать. Люблю несколько групп и исполнителей. Среди них, бесспорно, Стинг, Питер Габриэль, Фил Коллинз, Шадз.

— Любимый фильм?

— Нет такого. Люблю все фильмы Тарковского, Феллини, Бертолуччи... Из наших близок Кайдановский. Люблю мистические фильмы.

— Почему в твоём репертуаре так много песен об истории нашей страны?

— История России — мое давнее и сильное увлечение. В свободное время стараюсь читать исторические книги, документы... У меня есть друзья, которые по-

могают доставать неопубликованные исторические материалы. Больше всего сейчас волнует история XX века. Раньше увлекался екатерининскими временами, но пока нет возможности углубиться дальше семнадцатого века...

Все началось из-за того, что меня всегда терзал вопрос: почему мы так плохо живем? Почему живем хуже других? Почему постоянно страдаем? Я решил докопаться и узнал много интересного о дореволюционной России, о разных исторических персонажах и их реальной роли...

У меня дома скопилось достаточно много различных исторических материалов, мемуаров, воспоминаний, исследований, статистических данных. Советских и зарубежных.

— Кого считаешь своим «идеальным слушателем»?

— Человека думающего, размышляющего, вне зависимости от возрастной категории. Человека, у которого есть душа, а она есть не у всех.

— Какая ближайшая тактическая задача в творчестве и личной жизни?

— Хотел бы сделать группу расширенного состава — с «живыми» барабанами, с «живой» медью, с подпевками, с шоу, лазерами, слайдами и т. д. Короче, настоящее представление. Но чтобы это осуществить, нужны средства и огромные усилия.

По жизни? Нужна нормальная квартира. Сейчас живу в такой дыре!.. Кабинет мой находится в санузле. Там я сижу на стиральной машине с гитарой и работаю. Потому что это — единственное место, где могу уединиться. Сейчас мне новая квартира не по карману, хотя зарабатываем прилично, но и очень много тратим.

— Чего больше всего боишься?

— Потерять работу. Этот страх всегда сидит занозой в сердце...

— Не пробовал ли самореализоваться в других, немзыкальных ипостасях — в живописи, беллетристике?

— Нет. Впрочем, записываю всякие мысли, впечатления... Хотелось бы написать книгу, но это, наверное, произойдет когда-нибудь в старости... Даже название есть — «Эпоха вырождения».

— Часто по лицу человека можно определить, любит ли он, например, животных и т. д. Твоему сценическому образу очень гармонировали бы песни об Афганистане...

— У меня были наметки песен об Афганистане. Но однажды в Мурманске подошел ко мне после концерта «афганец», прошедший через эту войну, и попросил поговорить с ним. Сели у меня в гостиничном номере и часа три разговаривали. Он спросил, был ли я в Афганистане. Я ответил отрицательно. А песни об «Афгане» есть? Он слышал много песен о «событиях», написанных людьми, которые не были в стране, не чувствовали ее воздуха, и песни не получились такими, какими должны были быть. Я его послушал и не стал писать.

Но о таких вещах, конечно, нужно петь, потому что песня — кратчайший путь к уму и сердцу человека. Мысль в песне облечена в очень доступную форму. Главное — говорить искренне и называть вещи своими именами. Люди устали от вранья...

— Мог бы ты обрисовать свою личную жизнь в нескольких словах?

— Музыка, тексты. Гастроли. Любовь. Иногда спорт. Так и кручусь...

**Беседу вел
ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВ.**

ЧИТАТЕЛЬ·«СМЕНА»·ЧИТАТЕЛЬ

- ┌ Даете брачный контракт!
- ┌ Модель для умных людей
- ┌ Быт заедает, а не штамп в паспорте...

┌ В «Смене» № 1 за 1990 год я прочла беседу Юрия Рослого с профессором Юрием Антроповым «Нужны ли узлы Гименя?». Считаю предложение Антропова — заключать брак на 3—5 лет, а потом по желанию супругов продлевать или не продлевать его — неприемлемым. Не уверенность в будущем, незащищенность женщины — следствие такого брака.

В самом деле, я выхожу замуж, хочу свить гнездо, но у меня в душе сомнение: а может, после пяти лет совместной жизни мой супруг не пожелает со мной разделить судьбу, может, он уже имеет на примете другую подружку? Зачем тогда заводить детей — безотцовщину? При таком раскладе наверняка уменьшится рождаемость.

Мне кажется, нужно «с младых ногтей» учить людей терпимости, умению прощать, ответственности, надо больше показывать спектаклей, фильмов на эту тему. У нас же чаще на экране видишь пошлость...

Если в семьях есть дети, то разводы в судах нужно, на мой взгляд, разрешать не ранее чем через полгода после подачи заявления: пусть страсти утихнут, а супруги реально оценят

свои чувства, свою нужность детям, семье.

Единственно возможный результат внедрения модели Ю. Антропова — уменьшение статистически учитываемых разводов. Но от этого брошенным детям, семьям не легче.

ЛЮДМИЛА ОВЧАРОВА,
бывшая заведующая загсом,
Москва

┌ Мы женаты почти четыре года, растет сын. Мне 23 года, мужу 27.

А действительно, нужны ли узлы Гименя? Мы полагаем, совсем не обязательно. Во-первых, когда разводятся, не думают даже о детях, не говоря уж о какой-то печати в паспорте или о материальном взыскании, каких бы размеров оно ни было.

Сама по себе эта безобидная печать загса ничего не дает. разве может она быть помехой, предположим, для измены? Никким образом. Хоть и на лбу такую же поставь.

Теперь о любопытном парадоксе. Женщины очень часто считают мужчину своим мужем с момента физической близости с ним, а не после официальной регистрации. Мужчины же, наоборот, именно после загса за-

являют: «Теперь ты моя жена!» Значит, именно для них эта в общем-то неинтересная процедура имеет значение. Мне бы, например, больше понравилась, если бы мой муж сам купил мне кольцо, причем любое (а не мы вместе на его деньги), и подарил со словами: «Теперь ты моя жена». А в загсе сухой, равнодушный голос объявляет вас мужем и женой...

Так что получается — не нужны «узы».

Есть у штампа в паспорте еще одна негативная черта. Мужчина говорит: «Вот теперь ты моя жена». Теперь он обладает правом собственности на тебя, твоё тело, твои привычки. Нет больше той, которая еще час назад входила в эти двери, есть мужняя жена. Вот где все начинается! Мужчины в душе своей собственники. У женщины возникает ответная реакция: «Я ему ничего не должна! Получаю больше, все могу, не урод и одна не пропаду». Не пропадет. И он, возможно, тоже не пропадет.

Только не будет она одна. Человеку быть одному несвойственно. Появится в ее жизни мужчина, возможно, и не один, только счастья, спокойствия может не быть.

Так что, уважаемый профессор Антропов, мы четырьмя руками «за»! Пусть будет своеобразный контракт. Пусть брак продлевают супруги, если хотят, а если не хотят — не продлевают. Вот вы говорите, что это «модель поведения любящих людей». Нам кажется: не обязательно любящих. Это модель поведения умных людей, умеющих разбираться в себе и в других, умеющих понимать, помогать друг другу. На наш взгляд, это не обязательно лю-

бовь. Просто умный, культурный человек никогда не воспользуется такой дешевой свободой в корыстных целях. Если тот, с кем он создает семью, дорог ему, он не захочет его потерять, причинить боль. Таким людям не нужны никакие формальности. Дуракам они тоже не нужны, поскольку им все равно: если для них нет ничего святого, штамп загса тоже не святыня.

И знаете, в чем еще преимущество этой модели? Она воспитывает. Соблазн измены велик, устоять трудно: я свободен, ничем не связан. Но у меня есть совесть. И вот тут-то пойдет естественный отбор. Останутся самые крепкие, здоровые семьи, а остальные пусть распадаются. Лучшие меньше, да лучше.

ИРИНА И САША РЫБИНЫ,
Московская область

Хорошо бы создать Закон о семье, дающий право каждой семье иметь свой отдельный угол (именно семья — муж, жена и дети, а не семья — муж, жена, дети, родители мужа, жены и т. д.), а при разводе лишаящий этого права (пусть супруги возвращаются автоматически на прежнее место жительства). Заставить этот закон работать у нас весьма затруднительно. Но без него, по моему, проблемы с разводами не решит. В противном случае остается философски относиться к ней: «Коль нет цветов среди зимы, так и грустить о них не надо». Кто-то может возразить: а как же тогда за рубежом? Там вроде бы острой жилищной проблемы, как у нас, не существует, а разводов... Но ведь мы говорим о нашей, советской семье, а у нас, в Советском

Союзе, львиная доля разводов происходит именно на бытовой почве. Тут уж так называемая психологическая несовместимость отодвигается на второй план на фоне общей бытовой неустроенности. Ведь наша русская женщина в стремлении сохранить семью склонна к приспособлению, к сглаживанию конфликтов. Так что надо прежде всего спасти семью от заедающего их быта.

ЮЛИЯ СМОЛЕНЦЕВА,
химик,
Ленинград

А что, если разрешить людям самим выбирать, как им закреплять свои семейные отношения? Хотят — традиционно. Хотят — по брачному контракту на определенный срок. Вот тогда будет настоящая свобода выбора. И тогда модель профессора Антропова станет альтернативой обычной модели. Людям придется больше думать о том, как им быть, как поступить с дорогим для них человеком. Это, мне кажется, повысит ответственность за свои решения. Может, сначала кто-то попробует пожить по модели Антропова, а потом, через какое-то время, настолько привыкнет работать на свою любовь (ведь любовь — это работа, а не «вздохи на скамейке и прогулки при луне»), что и забудет о том, в каком браке живет — по контракту или без одного.

МАРИЯ КУЗНЕЦОВА,
Москва

Интересно, сколько лет профессору Антропову, если к вопросу о браке он относится антиперестроечно? Сейчас нужно возрождать крепкие браки,

ответственность за детей, которые родились в этом браке, ответственность за супруга, который может не пережить развода и всю оставшуюся жизнь будет вынужден лечиться от нервных болезней, неизбежных после такого стресса, как крушение семейных уз.

Вы призываете менять партнеров, пока молоды, а что будет в старости с брошенными супругами? И это любовь по контракту?..

Вы говорите, что раньше муж был кормильцем в семье. Но он всегда должен им оставаться, быть опорой жене, защитой. Без этого нет счастливой семьи.

Зачем нам повторять то, что делают за рубежом? Зачем нам нужны эти эксперименты, которые развращают, а вовсе не укрепляют семью, лишь дают возможность поразвлечься любителям менять партнеров?

Т. РЫЖИКОВА,
Астрахань



Рисунок АНДРЕЯ БИЛЬЖО

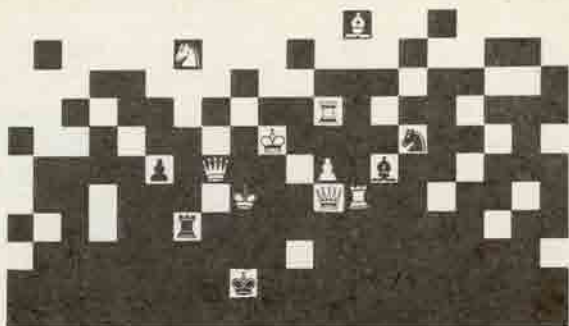


Рисунок РОСТИСЛАВА САМОЙЛОВА



Рисунок СЕРГЕЯ ХАСАБОВА





32-я ШАХМАТНАЯ ОЛИМПИАДА

Под редакцией
гроссмейстера
ВИКТОРА
ЧЕПИЖНОГО

Наше заочное соревнование любителей шахмат вступает в решающую фазу. В очередном туре читателям «Смены» предстоит отыскать верное решение четырех задач и двух этюдов. Ответ на каждое задание следует посылать на отдельной открытке. Решение нужно приводить полностью. За правильно выполненное задание каждому участнику начисляется соответствующее количество баллов (оно указывается при публикации каждого задания). Сумма набранных баллов определит, какие разрядные нормативы по шахматам покорились участникам олимпиады (независимо от количества выполненных заданий). Читатели журнала, набравшие максимальное количество баллов, будут претендентами на общую победу в нашем заочном соревновании. При равных показателях будут учитываться обнаруженные решателями дефекты в конкурсных заданиях: побочные решения, нерешаемость, дуали и т. п.

Ответы на задания следует присылать только на открытках (без конвертов!) с пометкой «32-я шахматная олимпиада. Пятый тур». Последний срок отправки открыток (по почтовому штемпелю) — 1 сентября. Ответы, посланные позднее указанного срока, рассматриваться не будут.

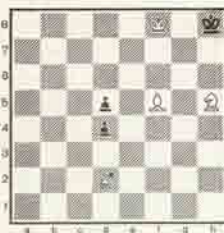
ПЯТЫЙ ТУР

I



Белые: Крe6, Фг8, Сd8, Кс4,
Кс6 (5)
Черные: Кrb7, п. с7 (2)
Мат в 3 хода (3 балла)

II



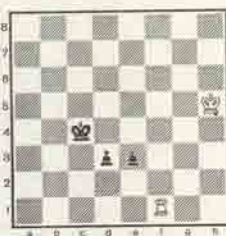
Белые: Кrf8, Cf5, Kh5,
п. d2 (4)
Черные: Кrh8, пп. d4, d5 (3)
Мат в 4 хода (3 балла)

III



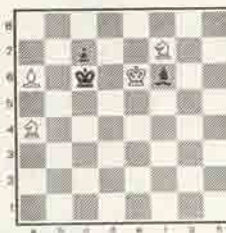
Белые: Кра5, Ла4, Сb7, Сg5,
Кf7 (5)
Черные: Крс5, Ле2 (2)
Мат в 5 ходов (3 балла)

IV



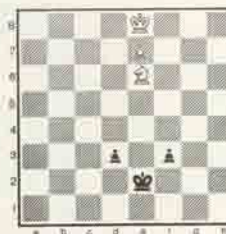
Белые: Кrh5, Lf1 (2)
Черные: Крс4, пп. d3, e3 (3)
Ничья (3 балла)

V

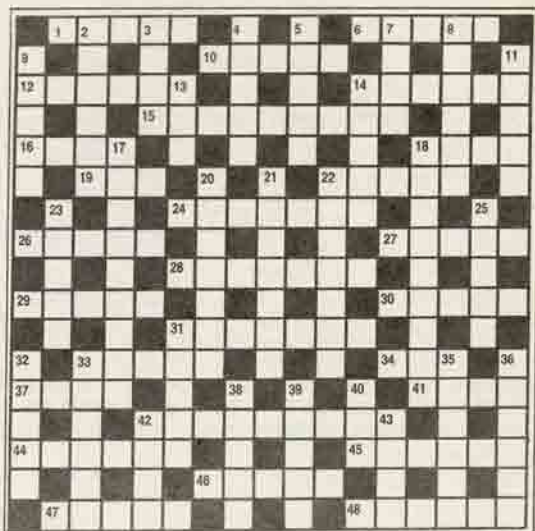


Белые: Крe6, Са6, Ка4, Кf7
(4)
Черные: Крс6, Сf6, п. с7 (3)
Мат в 7 ходов (4 балла)

VI



Белые: Крe8, Ке6, п. e7 (3)
Черные: Кре2, пп. d3, f3 (3)
Выигрыш (3 балла)



ЗРУДИТ

По горизонтали:

1. Фольклорный повод мнимой мышинной обиды. 6. Немецкий философ, чей ранний труд «Опыт критики всяческого откровения» был принят за работу И. Канта. 10. «Воронье гнездо» на мачте судна (суть). 12. Европейская страна, где в XVIII—XIX веках были совестные деньги (их анонимно посылали в министерство финансов лица, ранее уклонившиеся от уплаты налогов). 14. Главный жанр в раннем творчестве Е. Баратынского. 15. Качество, которое, пока люди остаются людьми, они ставят высоко. 16. Источник тепла в человеческом жилище, история которого уходит в тьму веков. 18. Город-рынок Галлии (Франции во времена Древнего Рима). 19. Химический элемент, открытый Б. Куртуа в 1811 году. 22. Герой повести Э. Т. А. Гофмана, в которой автор осмеивает общество, принимающее уроды за красавца, бездарность — за талант, тупость — за мудрость, недочеловека — за «украшение отечества». 24. Чернокнижник. 26. Антилопа, молоко которой не скисает. 27. Насекомое, которое в одном из стихотворений И. А. Бунин спрашивает: «Ты зачем залетаешь в жилье человечесь?». 28. Работа «фигуриста» с рубанком. 29. Звуковой инструмент бекаса в токовом полете. 30. Воспитанник русского училища, где при выпуске присваивали звание подпрапорщика или подхорунжего. 31. Столица XIV зимних Олимпийских игр. 33. Предмет моды, ради которого в дворянских домах в XVIII веке были пудренные комнаты. 34. Самый популярный молдавский танец. 37. «Черный ящик» с живым содержимым. 41. Зверь. Наконечники стрел из его кости, по восточному поверью, заражают рану и не дают ей зажить. 42. Власть, которой необходимы темные массы. 44. Понтийское торжество в честь Юлия Цезаря, когда в процессии несли надпись: «Пришел, уви-

дел, победил». 45. Человек, не бывающий счастливым, если он по-настоящему талантлив. 46. Перед ним резче скрипят сани, крупнее кажутся звезды, яснее зори. 47. Имя, под которым по приказу Петра Первого была пострижена в старицы царица Евдокия. 48. Царь-камень.

По вертикали:

2. Пушкинский «воитель смелый, мечом раздвинувший пределы богатых киевских полей» 3. Человек, «заводящийся» с пол-оборота. 4. Оружие террориста из «Народной воли». 5. Овощ, помогающий охранять капусту, если его посеять возле нее. 7. Единственный месяц, когда в Йеллоустонском национальном парке в США не наблюдали снегопада. 8. Тростниковый плот, где на долю Ю. Семёвича выпали немалые испытания. 9. Причина наводнений в Ленинграде, одолеть которую якобы и должна печально знаменитая дамба в Финском заливе. 11. Грубая одежда молодого парня в рассказе А. Чехова «Счастье». 13. Самая первая книга С. Городецкого. 14. Хребет вдоль самого теплого моря, названного Н. Гумилевым «акульей ухой». 17. Пушной зверь. Полав в капкан, часто не только отгрызает собственную лапу, но и съедает ее. 18. «Ночное светило русской поэзии» (Д. Мережковский). 20. Ленч — это второй ... 21. Парадная одежда кавалерист-девицы Н. Дуровой в бытность ее корнетом. 22. Духовная организация, основная родоначальница классической музыки. 23. Сладость, мастеров приготовления которой в Иране называют кандалачи. 25. Русский поэт, еще в конце двадцатых или начале тридцатых годов предугадавший «зыбь Арала в мертвой тине». 31. Герой греческих мифов, которого А. Камю в блестящем эссе об абсурде назвал пролетарием богов. 32. «Броуново движение» в человеческом быту. 33. Афинский стратег, время правления которого было самым щедрым на человеческую гениальность за всю историю цивилизации. 35. Пряность, которую человек узнал раньше соли. 36. «Соль жизни» М. Метерлинка (жанр). 38. Чин, полученный украинским писателем И. Котляревским уже после ухода с армейской службы. 39. Родина княгини Ольги. 40. Кустарник или дерево, из веток которого часто строит гнездо малая выль. 42. Анис дикий полевой, козловка, королек, чернушка (основное название). 43. Птица, символ России.

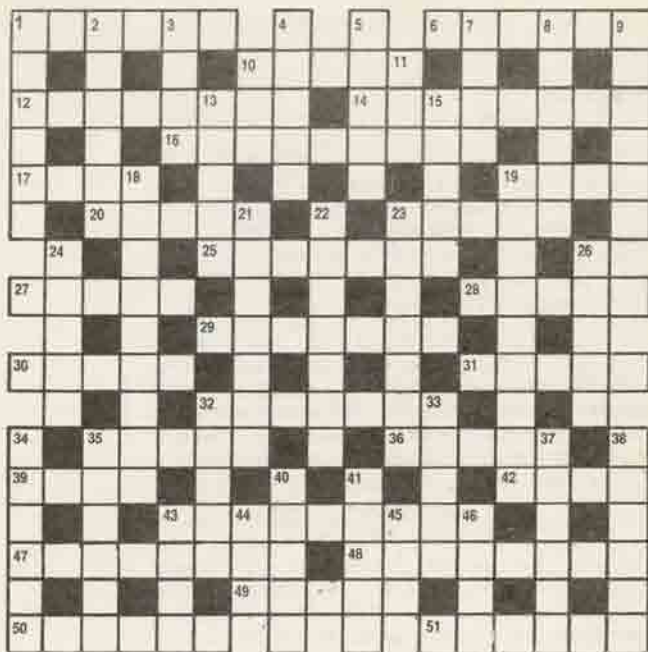
**ОТВЕТЫ
НА «ЗРУДИТ»,
НАПЕЧАТАННЫЙ
В № 4**

По горизонтали:

1. Брандо. 6. Алехин. 10. Сабля. 11. Мандарин. 12. Свекор. 13. Мцыри. 14. Людвиг. 16. Комета. 17. Деревня. 21. Асс. 23. Марстон. 24. Пианистка. 26. Батеньков. 28. «Юморина». 29. Ярд. 33. Челеста. 37. Неслух. 38. Иванов. 39. Шприц. 41. Коньки. 42. Везувиан. 43. Жерех. 44. Мякина. 45. Отрава.

По вертикали:

1. Бемоль. 2. Аонида. 3. Дравид. 4. Канцлер. 5. Флоренция. 7. Левкой. 8. Хоккеист. 9. Нарвал. 10. Сим. 15. ...герольд. 18. Даная. 19. Осоед. 20. Ономити. 21. Астра. 22. Скань. 25. Робеспьер. 27. Тростник. 30. Ленивец. 31. Уникум. 32. Пушкин. 34. Август. 35. «Энеида» (Вергилия). 36. Званка. 40. ...цех...



КРОССВОРД
Составил
В. ИВАНОВ,
Ковылкино
Мордовской АССР

По горизонтали:

1. Художник Высокого Возрождения, сильно повлиявший на творчество Рубенса, ван Дейка, Веласкеса, Рембрандта и Пуссена. 6. Жительницы крупного острова в Малайском архипелаге. 10. Огнеупорный кирпич. 12. Страна, где аратов стало меньше горожан. 14. Кубинский Остров Молодежи. 16. Форменная одежда русского консула на Мадере, в которой он посетил фрегат «Паллада» (по И. Гончарову). 17. Дерево. Из него были сделаны гусли былинного Садко. 19. Королева ужей в балете Э. Бальсиса. 20. Профессор Петербургской консерватории. С него И. Репин рисовал обнаженного по пояс запорожца в знаменитой картине. 23. Рыболовное отверстие во льду. 25. Спортивная игра с резиновым диском. 27. Ткань с шероховатой поверхностью. 28. Творческий почерк писателя. 29. Одно из «3000 иностранных слов, вошедших в употребление русского языка» А. Чехова, означающее «произведение, получаемое от умножения строк на число, редко превышающее 5». 30. Болотная птица, способная пересечь Атлантический океан, не садясь. 31. Дворянин в средневековой Испании, не снимавший шляпу в присутствии короля. 32. Бездельница. 35. Титул правителя Кайтага (области в Дагестане) в XVI—XVIII веках. 36. Вид спереди. 39. Пластинчатый доспех. 42. Белая шапочка Раджива Ганди, символ его принадлежности к партии. 43. Специалист в счетоводстве. 47. Радужный хозяин. 48. Одно из народных названий клюквы. 49. Ковшовый элеватор. 50. Богиня

греческих мифов, ставшая созвездием Девы. 51. Небольшой поселок в Сибири.

По вертикали:

1. Лекарственное растение. В средние века изображение его стеблей, окруженных пчелами, было излюбленным украшением рыцарских шарфов. 2. Царь Николай I по отношению к сочинениям А. Пушкина с сентября 1826 года. 3. Первый гвардейский корабль русского флота. 4. Предписания в йоге. 5. Анархист, персонаж «Думы про Опанаса» Э. Багрицкого. 7. Обязательный атрибут танцовщицы в испанской малагенье. 8. Сильное напряжение. 9. Национальность жюльерного Немо. 10. Немецкий ученый, автор трудов о провансальских трубадурах. 11. Храм Фемиды. 13. Ручной насос. 15. Имя знаменитого капитана Беринга. 18. Население африканского государства, правительство которого всячески поощряет эмиграцию. 19. Способ учения пианиста Г. Нейгауза в Петербургской консерватории. 21. Добавка к дефицитному кофе. 22. Грибник с «поплавком». 23. Отчаянная женщина за рулем автомобиля. 24. Тоскливое настроение. 26. Обоюдный захват боксеров. 32. Баньян, инжир, сикомор (родовое название). 33. Железная связь в каменной кладке. 34. Одна из одежд Оксаны в повести Н. Гоголя «Ночь перед Рождеством». 35. Музейный город в Нидерландах. 37. Умозаклучение, мнимое доказательство. 38. Столица европейского государства, где нет личных автомобилей. 40. Яд, выделяемый опавшими листьями грецкого ореха. Убивает сорняки. 41. Страна, где Сервантес провел пять лет в плену. 43. Главный архитектор Комиссии для восстановления Москвы после пожара 1812 года. 44. Инструмент для чистовой обработки цилиндрических деталей. 45. Дерево жизни у древних греков. 46. Совет на Украине.

**ОТВЕТЫ
НА КРОССВОРД,
НАПЕЧАТАННЫЙ
В № 4**

По горизонтали:

1. Щеглов. 5. Чардаш... 9. Бисса. 11. Узбой. 13. Партер. 15. Сшибка. 16. Телевидение. 17. Ивик. 20. Хота. 22. Норов. 23. Целение. 24. Канат. 27. Афганистан. 28. Бальса. 30. Помидор. 31. Мореход. 35. Есеник. 36. Фолькетинг. 38. Копал. 40. Акведук. 41. Мираж. 44. Осот. 47. Тира. 48. Протактиний. 50. Ватсон. 51. Модель. 52. Лиана. 53. Софит. 54. Тенрек. 55. Тамада.

По вертикали:

1. Шепкин. 2. ...гарнир. 3. Обет. 4. Вирен. 5. Чосич. 6. Айше. 7. Дублин. 8. Шпагат. 10. Стереоскоп. 12. Зрение. 14. Либерал. 18. Вожак. 19. Конгломерат. 20. Халькопирит. 21. Тараф. 25. Эндивий. 26. Галерея. 29. Кольчугино. 32. Демос. 33. Горелки. 34. Ягуар. 37. Юкатан. 38. Корвет. 39. Понтон. 42. Ривера. 43. Жальба. 45. Ерник. 46. Лимит. 48. ...поле... 49. Йота.

СТРЕЛОК, ДОЧЬ СТРЕЛКА

286 **АНДРЕЙ БАТАШЕВ**
Фото **АНДРЕЯ ГОЛОВАНОВА**

На Олимпиаде в Сеуле студентка Грузинского института физкультуры Нино Салуквадзе завоевала две медали: золотую в стрельбе из малокалиберного пистолета и серебряную — из пневматического.

Уже при первой встрече мне показалось: Нино изо всех сил старается, чтобы разговор наш не сводился к воспеванию ее олимпийских успехов. И через несколько минут я знал, что Нино неправильно держит пистолет, оставляя значительный просвет между ладонью и рукоятью, и что она не умеет спорить. И если сравнить Нино с ее отцом, то сразу станет ясно: она не обладает никакими особыми талантами.

— Даже сейчас, без тренировки он может взять пистолет и с ходу

выбить несколько «десяток»!

...Выстрел. Миг, после которого уже ничего нельзя изменить, итог целой цепочки действий; каждое совершенствуется годами. Тренировка стрелка длится 4—5 часов в день. Большая часть времени уходит на обдумывание. Поэтому иногда на один выстрел Нино тратит около десяти минут.

— Сначала, — рассказывает она, — я стреляю мысленно, тщательно контролирую все элементы техники и обязательно представляю, как пуля вонзается в «десятку». Надо напомнить себе, когда поднять и когда опустить руку, когда сделать вдох, а когда задержать дыхание, когда закрепить ту или иную мышцу, когда ее «выключить». Даже моргнуть не вовремя нельзя.

А за 2—3 секунды до того, как нажать на спуск, — продолжает Нино, — стараюсь ни о чем не думать. Теперь то, что я мысленно

увидела, должно стать программой, управляющей каждым моим мускулом. Только тогда можно надеяться, что реальный выстрел будет столь же точным, как и воображаемый...

В эти мгновения мир вокруг нее начинает стремительно сужаться. До тех пор, пока в нем не останется всего лишь два ориентира — мушка и прорезь прицела. «Сосредоточение — это всегда как бы некое сужение, концентрация в одной точке». Эти слова Нино Салуквадзе выписала в дневник из статьи о культуре Индии. Выписала потому, что увидела в них необычайно точную характеристику психологического состояния стрелка.

В 13 лет она впервые пришла с отцом в тир. Познакомилась с тренером Отаром Квирикашвили. На первых порах Отари помогал Нино; спустя несколько месяцев все трое поняли, что единственным наставником девочки должен быть отец. (Пять лет назад Вахтанг еще принимал участие в соревнованиях, но в конце концов ему пришлось уйти: стало подводить зрение. Нино же на огневом рубеже становилась все зорче и зорче...)

В 1984 году Салуквадзе выиграла оба упражнения (малокалиберный и пневматический пистолет) на Спартакиаде школьников. Через два года 17-летняя спортсменка заняла третье место во «взрослом» первенстве мира (малокалиберный пистолет), а в 1987 году в Сеуле во время предолимпийской недели установила два мировых рекорда в стрельбе из этого оружия — 595 очков из 600 и 695 из 700.

На счету у Нино множество побед. Но, оказывается, она одержала их, не слишком-то стремясь выиграть.

— Да я, как правило, не горю

желанием стать первой, — говорит Нино. — У меня другая цель — показать тот результат, на который способна.

Почему же она отгоняет мысль о победе? Может быть, потому, что считает, будто это нечто вроде просьбы, обращенной к судьбе? Просить же Нино Салуквадзе не позволяет воспитанное с детства обостренное чувство собственного достоинства. (Я слушал Нино и вспоминал, что Вахтанг Салуквадзе говорил мне то же, когда я просил рассказать его о секретах психологической настройки.) Она восприняла от отца и его главную цель в спорте — победить на Олимпиаде, и потому промежуточные рубежи — победы в тех или иных соревнованиях — теряла свою значимость. Нино всегда оставалась спокойной. Ненужное волнение не могло помешать ей сконцентрироваться на двух ориентирах — мушке и прорези прицела...

На одном из сборов Нино познакомилась со знаменитым стрелком из Эстонии, семикратным чемпионом мира Владасом Турлой. Нино держалась в почтительном отдалении. Владас-сам к ней подошел и стал делать замечания по технике стрельбы по фигурной мишене...

— Если бы Турла не открыл мне эти нюансы, — говорит Нино, — я вряд ли могла бы рассчитывать на успех в Сеуле. Владас сказал, что это его личные наблюдения и он не хотел бы говорить о них всем. «В тебе же, — заметил он, — я вижу человека, который живет стрельбой и потому сумеет оценить мои советы и следовать им». Поэтому, с благодарностью используя секреты Турлы, я не считаю себя вправе раскрывать их...

В Сеуле спортсменки сначала соревновались в стрельбе из ма-

локалиберного пистолета. Первая половина упражнения — 30 выстрелов по круглой мишени; вторая — 30 выстрелов по фигурной. Восемь сильнейших встречаются в финале, где каждая должна сделать 10 выстрелов по фигурной мишени.

Первую половину упражнения Нино выиграла с результатом 297 очков. Казалось, беспокоиться нечего. Ведь в стрельбе «по силуэтам» она не раз набирала 298, 299 и даже 300 очков. Однако сейчас выбила лишь 291...

— Возможно, на меня подействовал мой любимый зеленый цвет, — говорит она. — Мы стреляли на открытом воздухе, и все вокруг было зеленым, словно в лесу... Очень приятное ощущение. Но в нем есть опасность. Когда после долгих тренировок в закрытом помещении выходишь на свет, взгляд «убегает» вдаль, к мишени. Это ошибка. Сосредоточиться на трех ориентирах невозможно. Поэтому мы не можем даже на секунду выпустить из поля зрения мушку и прорезь...

В итоге опытная Ясна Секарич из Югославии настигла Нино. И теперь в финале у них были равные шансы.

О чем думала Нино в долгие минуты перерыва? Как заставила рассеяться тень неудачи, так неожиданно приблизившуюся к ней?

— Мне всегда приятно вспоминать деревню Вердигора («Гора роз») в Западной Грузии, где живут мои бабушка и дедушка, — рассказывает Нино. — Там на небольшой вершине растет старый грецкий орех. Его ствол, наверное, и два человека не смогут обхватить, а крона — это целый мир, где в сочетании линий можно увидеть все, что тебе захочется...

На склоне горы — домики, которым, может быть, больше ста

лет. Не из бетона — из темного цветного камня... А дальше — виноградники и луга, испещренные фиолетовыми и желтыми цветами.

Утром, когда я встаю, меня встречает дворняжка по имени Чёрна. Она не дает и шагу ступить, пока я ее не приласкаю...

В селении много работы: нужно ухаживать за виноградником, кукурузой. Трудно старикам справиться со всем этим. И как только выпадают свободные дни, я приезжаю и помогаю им. А вечером поднимаюсь к старому грецкому ореху. Это мое любимое место. Там можно сидеть часами...

Слушая Нино, ясно представил себе это пространство, ограниченное горами и воспоминаниями, пространство, в котором есть все, чтобы она могла размышлять о своей соединенности с прошлым и с будущим. Неудивительно, что даже воспоминание об этом дарит Нино душевное равновесие.

В финале она набрала 99 очков. Секарич отстала на пять. Когда Нино вручали золотую медаль, нашла взглядом отца. Тот улыбался ей...



МУЗЫКАЛЬНАЯ АНТЕННА ПРЕДСТАВЛЯЕТ:

ИГОРЬ ТАЛЫКОВ



ИНДЕКС 70820 70 коп.